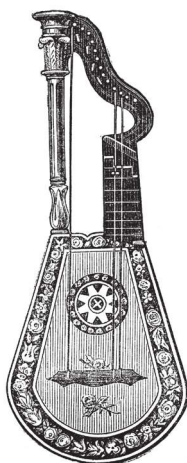


ЛАВА

14

журнал поэзии

музыка слова



Харьков
2012
ТОЧКА

ISBN 978-966-8669-72-9

Главный редактор номера:

Герман Титов

Редакция

Богдан Ант
Виталий Ковальчук
Андрей Костинский
Евгений Кривочуприн
Герман Титов
Юрий Шкурко

Издание является неотъемлемой частью
проекта клуба поэзии «АВАЛ»
(руководитель – Андрей Костинский)

Дорогие Читатели!

Новый, 14-й номер
журнала поэзии «ЛАВА» посвящён музыке.

Музыке слова, таинственному звучанию цезур и горячего июльского неба. Кое-кто сейчас говорит, что современной, «актуальной» или «умной» поэзии музыкальные побрякушки не нужны. Но так ли устарели слова Верлена о музыке, животворящей и непрерывно обновляющей изнутри поэзию?

И сама поэзия не есть ли смысл, таинственным образом соединённый с музыкой? Грустно было бы жертвовать смыслом, но вдвойне печально было бы отказываться от музыки. Новое искусство произрастает на древней почве. В мире экспертов и симулякров до сих пор остаётся нечто подлинное. Подлинная музыка. Подлинная поэзия. Их трудно заменить равнодушной семантикой бесконечно повторяющихся «чёрных квадратов».

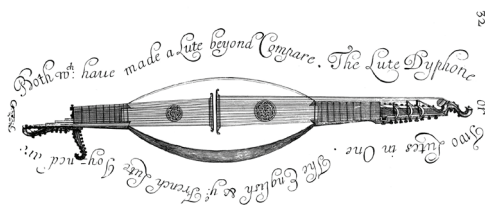
Этот мир начинался Словом. Но чтобы слова звучали - необходима Музыка.

В номере, как всегда, представлены и вполне зрелые, сложившиеся авторы, и подчас наивные, но трогательные в своей искренности молодые стихотворцы. Ведь и в них, иногда капризно и непослушно, звучит живая музыка этого мира.

Немалое место в номере принадлежит и симфонической музыке прозы, и новым литературоведческим статьям. Кроме того, редакция решила в этот раз не объявлять конкретного «Автора номера»: слишком много интересных авторов собрались ныне под этой обложкой.

Добро пожаловать в тёплый мир июльского поэтического мелоса!

Редакция
журнала поэзии «ЛАВА»



Новые произведения присылайте по адресу:

coast-in-sky@mail.ru
germanostitois@mail.ru

Телефоны редакции

(057) 759-72-28 и (097) 259-33-68
сайт: avalpoem.ru

Группы ВКонтакте

АВАЛ, АВАЛГАРД



ПОЭТЫ ХАРЬКОВА

УВЕРТЮРА





V. Zolin	3
Александр Тищенко	6
Алёна Малухина	7
Артеми́й Нега	7
Богдан Ант	9
Виктория Мангушева	11
Герман Титов	13
Дмитрий Жуков	16
Евгений Кривочуприн	16
Елена Амберова	17
Инна Олейник	19
Ирина Кузнецова	21
ЛенКа Воробей	23
Леонид Шептовицкий	33
Людмила Рябухина	34
Макс Самокиш	37
Марина Гуртовая	40
Марина Мирославская	43
Наталья Лощёнова	44
Нина Карбуева	46
Олеся Назаренко	47
Ольга Андрус	47
Юлия Кобринович	48
Юрий Шкурко	52
Михаил Красиков	52
Мастер Евгений	54



ПОЭТЫ ХАРЬКОВА

V. ZOLIN

И...

Одинокой каравеллы
горизонт ласкает
профиль.

Небо, звёздами надменно,
засыпает...
Небо – профи
в расстановке дней и судеб
интервалами забвений.

Завтра всё иначе будет!
Завтра – казнь благодарений,
расточаемых по кругу,
по привычке и со страху
неопознанным подругам и друзьям.
Но, жизнь с размаху
вновь швырнёт
в пасьянс томлений
ожидания удачи.

Трепет, прочь!
И, прочь, сомненья!
Завтра будет всё иначе:
в лабиринты серых будней
свет ворвётся гильотиной!

Как же долгод был и смутен
путь к тебе,
моя Ирина...

Сон вспорхнул голубкой белой.

Пустоту разбавил кофе.

Одинокой каравеллы
горизонт ласкает
профиль.

Любимой

По волне
сердцебиения,
как по льду
истёртых клавиш,
волоку тобой томление...

Не придёшь.

И не избавишь
от тоски застывшей полночи,
потолка – забвенья крышки.
Жуть звенит!
И мысли-сволочи





кувырком несутся
с вышки
оголённого сознания
ежедневностью обиды
на бесплодные старания

рядом быть!

Пусть – нелюбимым...

C.K.

Прощай, город у моря! Ты украл Женщину-Солнце...
Слёзы-капель стучатся в памяти бронзу,
А сердце неутомонное катится по буграм
Воспоминаний
Мечтаний
Желаний
Расставаний
Наказаний...

Зачем тебе, утонувшему в мусоре вожделений
Её волшебные и никогда не родные тебе глаза?
Ну, спляшешь ты лишний раз на углях моих томлений,
А мне будет сниться, что твои грязные мостовые – это сплошь бирюза!

Неправда... Миром правит неправда всласть.
И зачем звёзды льются в рабочих посёлках оконца?

Хорошо быть городом у моря — можно вообще не умыться и можно красть
Мою Женщину-Солнце.

Чудесный совет Уиндема Льюиса

Занятную мысль высказал как-то Льюис, Перси Уиндем
И об этом, друг мой, данный короткий стих:
Говори женщине, что она не такая, как другие,
Если хочешь получить то же самое, что от других!

Снежинка – королева

Снежинка, королева аллегории,
Привычно опустила на ресницы...

Нет в небе журавлей – одни синицы
Банальные,
а хочется истории
О ярких парусах и светлых лицах!

Слезинки превращаются в дождинки,
Дождинки превращаются в снежинки...

Мне нравятся шатенки и брюнетки,
Мечтается о рыжих и блондинках!

Толстухе в бигудях ношу конфетки.
Достоинство молчания

не в моде,
Резвятся крикуны на перепутьях...
Правители иконятся в бигбордах,





Пригрели чад своих на властных стульях.
Народ застыл в унылом хороводе.

Как хочется парить вольготной птицей
Над мелочного быта территорией...
Слезинка – как дождинка, и не более.

Привычно опустилась на ресницы
Снежинка – королева аллегории.

Не ходите, или Ода трусости

Горы в небо провалились –
не ходите люди в горы.

Вот, старались...
Вот, трудились...
Пересуды...
Уговоры...
Белый ветер сменит чёрный.
Чёрный ветер сменит белый.
Прилагательное «стрёмный»
станет именем.
Несмело,
нет, скорее даже – робко
сбросим то, что наболело
в повседневности окопы.

А кому какое дело?!

Блажь прольётся в рукомойник
кухни
дома престарелых.
Как бы плановый покойник хор пополнит
самых смелых,
самых чистых,
самых бравых,
самых добрых и достойных...
Хочешь быть навеки правым –
непременно будь покойным.

Забываем в неге хмеля,
упоенные печалью:
свет не лишь в конце тоннеля,
свет присутствует в начале.
Если честно, больше норы
нам для жизнигодились...

Не ходите люди в горы –
горы в небо провалились.

Из весны дневниковой

По лабиринтам весеннего города рыщет вечер...
Он же кинжальными ручищами пронзает души.

Не все, только те, которые до поры – гордые и беспечные,
И те, что раненные холодом, жмутся к циникам ушлым.
Циники ушлые, опьянённые свободой от совести и печали,
Маршируют рядами стройными героев-одинок.





Девушка, в подворотне страха неприкаянности Вы меня искали?
Давайте встретимся на остановке распускающихся почек!

Апрель навалился июльским цунами тепла,
А в мае уже хотелось первого снега...

По стволу позвоночника катится яда смола –
Это перебродившая в хлопотах целомудрия нега.

Гражданские браки – словно майки линиялые на бельевых верёвках –
Каждый может подойти, посмотреть и даже пощупать.

Всемогущая «цифра» убила детство и юность на родительских плёнках.
И всякая куколка – только сначала куколка, а потом обязательно – щука.

Но, впрочем, так было всегда – отрывка памятью, прозренья изжога;
И обязательна вера-надежда на всенепременную Встречу!

Усталыми перебежками потерявшегося дога
По лабиринтам весеннего города рыщет вечер...

Лето кончается

Тихая гавань
вечерней печали
августом спелым полна...
Чайки вертеться
над пирсом устали...

Хочешь
чего-нибудь?

На...

Александр Тищенко

* * *

Отжаривая джайв на пепелище
В чистилище, пробил ногами днище,
Теперь – темно, и только ветер свищет. Я – нищий.

Аскетизм

Сотни тысяч тоскливых могил в измерении «сон»,
Бездна бедственным грузом на плечи легла,
Тени дремлющих лет окружают голодным кольцом,
Открывая уродливый лик Абсолютного зла.
Шрам разбитого сердца – утраченный знак
На краю созерцательной грани огня и воды.
Пыльный сумрак съедает весь мир у тебя на глазах,
Ты идёшь в «никуда», оставляя на память следы...

* * *

Чёрт патлатый
Подоткнул зубами небо,
На губах его – победа
Всё играет улыбкой,





И горит костром разврата
Ночь, его касаясь взгляда.
Вечность зыбка.
Страх рассыпан, и колени
Дрожью размывают тени,
И до белого каленья
Доведённые рассудки
Ждут, как пьяные ублюдки
Знака к мироразрушенью.
Инфернальное затмение
Не заставит ждать!

Руки рвутся к красной кнопке,
И, глотнув горячей водки
(Круглосуточный напиток),
Я пойму, что я – развенчан
И уйду в безбрежный сон.
Нои строят пусть ковчеги,
Я же буду в кроткой неге,
Здесь рыбачить... Тихий Дон.

Алёна Малухина

* * *

Мы совершаем глупости нарочно
И видим, что хотят нас обмануть.
Когда бежать от чувства надо срочно,
Лишь упоенно продолжаем путь.

Пусть несерьезно, мимолетно и неясно,
А отступать не буду ни за что.
Эмоций жажду – безрассудно, страстно.
Минута для меня – как будто сто.

Все вижу, понимаю – тем же лучше.
Не стану строить планов наперед,
Ловить ладонью солнца лучик
Бессмысленно. Живу. Пусть все пройдет.

Артемий Нега

ПОСВЯЩЕНИЯ

Душе

Распиши,
В размере белом,
По иконам, на угле,
Разнеси меня
По нерву,
Полутону,
По стране.
Набери же
В слоги снегу,
Сплюнув зыбкости,





Весне
В ноги
Отпечатав следом:
«Выживавшей и в огне».

Но верши,
Прошу,
Не вверив
Выжданную тайну мгле!
Со-твори,
Чтоб я поверил:
Ты дышала
Обо мне...

Современникам

Мы будем выращивать
Пишу богов,
Ладонями двигая скалы...
Но ищем сердца,
Отдавая любовь
С двойною наценкой
За старость.

Небесную мглу
Заплетем в витражи
Напомним, что небо
Осталось...
Но снова поля
Не утонут во ржи –
Так многое малым
Казалось.

Эй, сердце!
Стань...
Музыкой,
Задрожь...
Чтоб время согнулось,
Оскалясь...
Но стрелкой секундную
Крови шаги,
Следуя такту,
Вальсируют
В старость.

Что Мойра дала,
Тому и служи?

Но каждый свободу
Извил на узлы.
Мы те, на ком ей
Горько прятлось.





Богдан Ант

НА ДОБРАНІЧ

Цей світ ізнов не кращий зі світів,
Невтомний мій і невсипущий Отче.
Благаю свято: інший присвяти
Не Дню Своєму, а спокійній Ночі.

Спочинь, і хай насниться віщий сон:
Глибини вод і сонячна доріжка,
Ефірний легіт, найсвітліший сонм...
Я ж почергую біля Твого ліжка.

Аж поки й сам не сплющу в самоті
Повіки у чеканні слів «Спочатку...»
Цей світ ізнов не кращий зі світів,
І я не кращий син у Тебе, Батьку.

ХРЕСТАМИ

Я тільки промінь посмішки Твоїї,
Що вишиваєш ним мій шлях хрестом
В замружених очах, страстним перстом
Ведеш за небокрай Гіпербореї,
Де променіє факел Прометея,
Протеїв шал і Твій престол.

Хрест за хрестом лишаю крихти страху
Птахам химерно-полохливих хмар,
Хай відспівають всіх моїх примар
У храмі, що горить обабіч шляху,
Допоки вітер не розвіяв праху
По ниві, що стоїть під пар.

Вже зораний Тобою, й зорі-зерна
Готові впасти у Твою ріллю.
Я залпом вип'ю зоряний салют,—
Вино Твоє настояне на терні,—
Він вродить рясно на моєму дерні,
Й крізь нього — до зірок! Люблю

Йти за Тобою стежкою вузькою,
Стібками, наче мірою речей,
Ступаючи, шукати Твій Ковчег,
Що в пошуку одвічного покою
Невпинною незмірною ходою
Рікою житньою тече...

Земля вже відійшла листом пожовклим —
До Тебе ж так далеко, Боже мій!
Бескиди завертаються в сувій,
На котрім, ніби золотом по шовку,—
Вишивана усмішкою обновка —
Віршований хрестами стрій.



НОВИЙ ДЕНЬ

Коли сонце проявить день
На чутливій поверхні ночі
Ми зустрінем себе серед нив
Швидкоплинномінливої мли
Та в своїх двійниках віднайдем
Неймовірно дитячі очі
І нестямно повіримо в них
Ледь отямившись на землі

І допоки наше чоло
Під осяйним проектора оком
Світловому дорівнює вік
І повіки сну не імуть
Ми з тобою живучі зело
Наше серце не знає пороку
Крізь екрани всесвітніх віх
Проляга промениста путь

Шерехтіння плівки не чуть
Виток світла як був снопиий
Глядача відчуюю зір
Вже туманиться в забутті
Світосайну скрижаль понесуть
В світ де суть як весняне листя
Білі янголи у грозі
Блискавиці нічної путі

СОНЯШНИК

Зібрати соняшне насіння дум земних
І знань небесних у чуткі долоні серця,
Свідомий, що пройшов за тим усі сім нив
Й пізнав наосліп, де закінчується твердь ся,

І, на межі просіявши зерно єства
Над вічносущим пломінким багаттям духу,
Спалити плоть тривоги, як плевела-слова,
Постать як є – в «Я єсмь», і, не спинивши руху,

Те зерно заронить в підґрунтя майбуття,
Готове під засів, на стороні осонній,
Й пройти ізнов сім нив, де маю бути я –
Насіння сповнений, палкий до Сонця сонях!

НЕМОВЛЯ ГЛАГОЛУ

Ви вже існуєте, полум'яні рядки,
Засвідчені вогнем пред вічним ликом тьми,
І знаками даються творящу вас взнаки
Думки, що прагнуть жить, слова, що славлять мить.
Проявлені уявою на аркушевім дні,
Навік реінкарновані у тілеса словес,
Ви маєте віднині тягнути власні дні,
Допіру дух ваш світлий в їх лоні не воскрес.
І прийде той, хто миттю прозріє вічну суть,
Незмірний світ звільнивши від міри слів-речей,
Аби за ним наступний міг знов усе збагнуть,
Як немовля кричуще Глаголом нарече.



Виктория Мангушева

прохожие

всплывают даты в реке прохожих,
и дни, похожие на людей.
недавно быстро прошел «серёжа»,
а следом сразу пришел «андрей»...

мы с ним смеялись, плясали мамбу
под хрипотцу дымоходных дыр...
ему давно уходить пора бы,
но я стараюсь продлить эфир,

еще немного побыть в онлайн...
минута, стёртая до нуля,
скрипела жалостью на диване,
о благосклонности не моля.

но, как бессмысленны ожидания, –
так скоротечны дневные сны.
зеленых дней молодая тайна
застыла в осени... до весны.

река прохожих впадает в море,
в пучине бережно той храня
все дни, похожие то на олю,
то на оксану, то на... меня.

всплывая изредка, плавниками
поверхность памяти бороздя,
те дни, которые мотыльками,
покуда годы не пригвоздят,

летели плавно, стучали в окна,
желая ближе попасть к огню,
стремятся нынче, чтоб не размокнуть,
чтоб не раскиснуть в чужом краю,

заплыть подальше, где больше места,
где меньше нервных, чумазных дней,
глядеть беспечно, но с интересом,
на пролетающих журавлей...

мои «оксаны» /или «серёжи»/
врезают память прошедших дней.
а дни прохожие все похожи
на мотыльков...
или на людей.

* * *

да что за вздор! была ли эта жизнь? –
прожженная, но девственная стерва...
тянула свою руку – «на, держись!»
навстречу я протягивала нервы...
не первый, не последний этот раз...
прощение... а чем оно поможет?
среди прощенных – вдвое больше нас...
среди прощенных...
непрощенных вдвое больше!..





но смотрит вниз и ноет – «ну, дыши!»
и снова – лёд проталкивать по венам...
да не тяни ты руку, положи
бесшумно пальцы на моё колено...
и не дрожи так часто – нечем греть, –
я всё давно истратила на мифы.
ты отпусти – согреться и... сгореть.

я не хочу служить тебе олифой,
когда ты, распластавшись надо мной,
блефуешь о дальнейших вариантах.
где ты живешь? ступай к себе домой!
меня не привлекают «бриллианты».

да и была ли вообще ты? скажи!
я ничего не знала, кроме смерти.
прожженная, но девственная жизнь,
не отпускай меня ты на рассвете.

крик земли

смотрите в меня, смотрите –
бездонны мои глаза!

оставьте меня, сбегите, –
единственный будет залп

звучать в предрассветном хоре,
предсмертно хрипеть в груди.

ах, где же вы, мои кони?
не сбиться бы вам с пути!

не выпить бы вам отравы
из лестных зеркальных вод.

пророки остались правы,
когда проходили вброд.

ни травы, ни голос леса
теперь не прикроют брешь, –

в моей глубине уселся
науки смертельный клещ,

и с каждым случайным взрывом
всё толще он, всё страшней...

всю кожу мою разрыли
да вскармливают червей!

оставьте на мне случайный,
не видевший крови взгляд.

не будьте же палачами!
верните меня назад!



Конец начала (Тот, кто внутри меня)

...я отказалась от жизни, ради неё же...
Пусть говорит теперь Тот, кто внутри меня!
Я не могу его видеть, но чувствую кожей –
Он скоро возникнет. И буду ли это я?

Будет ли это началом чего-то больше,
Чем эта Земля, третий день и седьмая тьма?
Я не уверена в бренности данной ноши,
Но не хожу за словом в чужой карман.

Крайние меры предприняты – все на волю!
Скоро уже прольется огонь и лёд,
Сгинет от жалости, да превратится в Море
И первая птица последнюю песнь споёт.

А Тот, кто внутри меня, рвется наружу...
Я отпускаю, /долго пришлось держать.../
То, что казалось вечным, – легко разрушить,
Стоит ли против истины возражать?

Но Тот, кто внутри меня, раздает подарки:
Этому вечность, этому шум дождя...
Мне же достался ветер, дома и арки,
Те, что давно запомнили не меня...

Мне не хватило пары внезапных вспышек,
Чтобы пройти свой путь, как один из них.
И вот, я стою теперь на покато́й крыше
С Тем, кто внутри меня, сочиняя стих.

Герман Титов

ПОСМЕРТНАЯ ЛИРИКА

* * *

Все летние двери открыты
Все тайны горьки и легки
Ни лодки любовной ни быта –
Трепещут во тьме поплавки

Фонарных огней придорожных
И ждут в тёмном небе улов
Лишь музыка ищет тревожно
Спасительной ясности слов

Но тьма ничему не переча
Всегда попадает не в бровь
И наша случайная встреча
Легко переносится вновь





* * *

Так с продолжением в журнале
Простой печатают рассказ
Я – весь – теперь умру едва ли
И видимо
не в этот раз

* * *

Рвань добра с подкладкою зла
Не сошьёт сознания игла

Всё – музыка – весь Верлен –
Свободы лирикаин
Приволье сниженных цен
На всё что было моим





Раздолье плоских небес
(Всё смутно после дождя)
И тело теряет вес –
Пошагово – уходя

Легко лечиться от боли –
Придумай новую боль
Ступай с ней в чистое поле
Где ветер да алкоголь
Где звёзды целятся в спину
И вереск вырастет впредь

Где нет ни одной причины
Вернуться и уцелеть

Лунные стансы

Мир накрылся медным тазом
Остаётся вера в разум

Ветка итальянской сливы
Да мелодии наплывы

Музыка всегда смертельна
Даже если спит отдельно

Будь ты гвельф иль гибеллин
С нею ты всегда один

С ней ты вор и бибабо
Как Вийон и как Рембо

Ведь никто не обещал
Хэппи-энд или причал

С ней на пьяном корабле
Ты утонешь и в земле

В ней схлестнулись все моря
Всё что происходит зря

Что вдоль пропасти ведёт
Имитируя полёт

Но расплата – тут как тут
Колобка нигде не ждут

Паровоз уснул в депо
Добрый доктор – в Лимпопо

Тьмою захлебнулся мяч
Право Танечка не плачь

Не напишешь и письма
Так чтоб не сойти с ума

И над безднами скользит
Лишь реклама *Indesit*





Дмитрий Жуков

Связанные навеки

Печаль и радость – прекрасны,
Печаль и радость – навеки.
Что радость есть без печали?
Я знаю ответ, это – скорбь.
Но как же такое возможно?
Как солнце без дня, как ночь без луны.
Так радость без горя, не радость, а так.
Но что бы ты делал без горя?
Без скорби? Печали?!
Как знал бы, что рад?
Я знаю, смолчишь, не ответишь.
“Что за глупые думы?”,
Подумаешь ты.
Возможно, ты прав.
Но было мне грустно,
И я так решил, и так написал.
И знаешь, я рад.
Печаль и радость – прекрасны,
Печаль и радость – навек.
И знаешь, я рад.
Но, быть может, я и не прав...

Евгений Кривочуприн

Зимнее ночное харьковское

Волей трехдневного снегопада
черных небес опадают листы,
что начертал молчаливый децембер
я не узнаю, забудешь и ты.
Но, по наполненной ночью канаве,
мертвенной Рымарской в тихом часу
искрой бежит синеватое пламя,
Косматая Мара с клюкой навесу,
Слепая и грязная, видится въяве.

В мерзлые дни
Полугодия ночи,
Когда в густо-сером потеряны тени,
страхнув с себя галок крикливое племя,
Собор распрямляет затерпшие плечи.
И сыплются каменных поперечин
погибшего снега багровые клочья.

...и если молчать
то проснувшийся город
визгливыми хохотами и голосами
ответит. На крестное древко наколот,
расплачется ветер, седой и усатый.
Подхватят его стон ехидные маньи
тряся век нечесаными волосами
с обкусанных наледью
кровельных скатов.





Так все уже было и будет когда-то.
И снова над чьей-то невинной десной
голодные зубья блеснут виновато
и памятью тхнет
некрещеной, лесной.

Елена Амберова

Дверь откройте! Пусть Он вернется!

Разобраться с неправдой мира –
Тяжкий груз на чьих-то плечах...
Вы себе искали кумира,
Он сгорел в садистских печах,

Он покрашен был черной сажей,
Став ключом к эпохе Абсурд,
Обесцененная пропажа...
Он ушел... Не свершив свой суд...

Вы остались... Закрыты двери,
Ваш кумир теперь черный квадрат...
И летят над планетой трели –
Оправданий-концепций ряд...

Объясняют, плетут причины –
Мол, из тьмы все пришли, поверьте...
Но ребенок не верит личинам,
Он истошно кричит: «Дверь!!!»

«Дверь откройте! Пусть он вернется!
Там ведь Правда! Сотрите сажу!
Ну впустите же! Он ведь Солнце!» –
Бродит эхо по вернисажу...

Бесполезно, Абсурд в зените –
Искажения карнавал...
Мир теперь на квадратной орбите...
Что-то долго сей длится бал...

Вырождение зовут свободой,
Подлость – тактикой, зло – добром,
Не указ никому природа,
Плоть не храм души, а ведро...

Разобраться с неправдой мира –
Груз чужой, ваш удел – маскарад...
Обитатели антимира –
Вы всё молитесь на квадрат...



* * *

Ты придешь на страницы
Не мною придуманной повести,
Ты возьмешь на себя роль героя – нелегкий удел...
Победишь всех врагов –
Рыцарь доблестной Чести и Совести,
Силой Бога храним, ты положишь невзгодам предел...

* * *

Нам свежесть юности дано испытать однажды,
Румянец нежный, бархат щек, блеск глаз...
А зрелость спелая другой не знает жажды –
Бутоном расцвести еще бы раз....

* * *

Зомбировали погремущку!
Чужая мысль как ветер в ней,
Задует в мозг, продует ушко,
И шмыг чрез рот – как из дверей...
Чужим умом хвалится, пляшет,
Она ведь всех теперь умней!
Ей скажут «Краше! – значит, краше!
И не угнаться вам за ней!

Как рыба на крючке... гарцует,
В реке не видно рыбака...
Горда собой, трещит впустую...
Ах, если б лопнула леска!

* * *

К сожалению, зачастую совсем не высокие моральные качества обуславливают проявление в человеке дарования. Талант – это слезы Бога, пролитые им на землю и окропившие всех тех, кто достаточно легкомыслен, чтобы бегать под дождем без зонта.

* * *

Людам, чтобы подумать о ком-то плохо, достаточно лишь намека на тень. Но чтобы подумать о ком-то хорошо, иногда и подвига мало.

* * *

Талантливый негодяй – как брильянт с трещиной. И тот и другой приносят людям несчастье.

* * *

Обманывать себя трудней
С годами...
Короче дни, а ночь длинней ...
Рывками...
Сдирая кожу, тянешь вверх
Руками...
Но рвется нить – в ответ лишь смех...

Бог с вами...





Инна Олейник

Тоска

Бывает, приходишь, а дома лишь кошка, тоска и бутылка вермута.
Глотнешь и сдаётся, что власть одиночества напрочь свергнута,
Но ночь донимает до дна и чего-то скверно так,
Что мир простирается мрачен, утрюм, паршив.

И вот я лежу, опрокинувшись навзничь в пустой обители,
Как бедный ребенок, которого в детстве еще обидели
Все эти рифмованных чувств гурманы и потребители,
Какое-то тайное действо не завершив.

Я им все прочла, а сама так пуста, словно скукой выпита.
Так хочется счастья для близких хотя бы выболтать.
Я всех их люблю, как Его, как себя. И вы бы так,
Иначе нас с вами раздавит дрянной исход.

А время бежит, и бежит, и бежит и не возвращается.
И впору напиться, и впору совсем отчаяться,
Но Он не дает, Он берет и за все прощает нас.
И каждого по-особенному (имхо).

Читаешь стихи им, а душу словно убили в тебе и вынули.
Как жаль, что любви у любимых тобой не вымолить.
А звезды сияют, как будто бы их до заката вымыли.
И спать уже можно, тоску убаюкав и утомив.

Но ночь по углам сквозь дверные проемы вползает та еще.
И звезды в окно подмигнут на прощанье тающе.
Твой образ во сне мне привидится улетающий,
Мной вечно любимый, далекий почти что миф.

.....

А солнышко утром целует лучом, заставляет щуриться.
Тоска моя прежняя сдохнет и окочурится.
Окажется, одиночество просто порою чудится.
На самом же деле и скука всего лишь блеф.

Черпаю ладонями день и леплю его, как из глины я.
И линия на ладони прямая, сплошная, длинная.
А май устилается перьями тополиными,
Любовью тоску мою глупую одолев.

Отпускаю

Стрелка по-прежнему движется вперед.
Время, как губка, впитает всё и вберёт.
Мир не рухнет, никто от этого не умрёт,
Даже малина не станет на вкус горчицей.

Что ты, хороший, ни колкостей, ни обид.
Ось не сместилась, земля не сошла с орбит,
Никто не болен, не ранен и не убит.
Врядли вообще что-то особенное случится.

Дом мой все так же кирпичен, забор дощат.
Ты будешь счастлив, спокоен и художав.
Я у тебя научилась за все прощать,
Светлую радость другим раздавать по пуду.



Память немного подчищу, отдам в архив.
Буду читать им, весёлым, хмельным, глухим,
Все мои эти, как ты говоришь, стихи,
Только тебе посвящать их уже не буду.

Что им чужая цена – не копейка – грошик!
Им все – одно, а тебе, как всегда, апроши.
Просто ты слишком для этих стихов хороший:
Чистый и честный, как жилочка у виска.

Город однажды притихнет, устав до сипа,
Ляжет вздремнуть, как мультишечный львёнок Симба.
Знаешь, мой друг, я опять прошепчу: «Спасибо...»
И научусь тебя с легкостью отпускать.

Будут июль продолжаться и август длиться,
Сменятся даты, места, интересы, лица.
Я обещаю тебе никогда не злиться.
Мир мой не будет печален и неприкаян.

Бог всемогущ, значит, дело всегда за Ним.
Ты все поймёшь. И, пожалуйста, извини,
Только, прошу тебя, больше мне не звони.
Я тебя отпускаю...

Наедине с Богом

Мы винули с другими друг друга, а было некого.
Но июнь распускал на песке парусины рос.
И росло серпантиново счастье человеково
И добро.

Пахли липы, луна налипала на гладь озерную,
Лето пело лилово, лениво ломая быт.
И хотелось уже не людьми – золотыми зернами
Быть.

Были зернами, сквозь века прорастая деревом.
Небосклон позолотой шуршащей листвы оброс.
Было благо родить, но не велено – только вверено, –
И добро.

И добро расходилось кругами, стелилось тиной,
Полушепотно, полужвучно, соломой слов.
И вплеталось веревочно, ниточно, паутиново
И росло.

И росло, и вращало в меня, и в тебя, и в третьего,
Словно Бог в этот миг, отворяя нас, приходил.
Если Бог – это ты, это я и другие, встретить Его!

...Что ж, выходит, здесь каждый Бог? Потому один?



Мантра

*«Бог внутри меня сидит,
И лишь Ему судить»
Карабин*

Не все дороги вели нас в Рим, но всегда домой.
Спасибо Ему за это, тебе, да и мне самой,
Что чаще сияем в глазах, чем в стекле витрин,
И свет снаружи не ярче, чем свет внутри!

Тепло только в нас лишь, а в мае – весна да календари.
За то, что любовь охота нести и дарить, дарить!
Что небо синее и взгляды приятно в него макать,
За то, что начало – и каждый рассвет и любой закат.

За то, что хорошие люди всегда со мной,
Что самый чудесный из снов – это сон земной,
Что чудо повсюду и счастье, и благодать,
За то, что всегда у нас есть, что другим отдать.

За то, что единственный путь лишь к Нему и с Ним,
Что боли не знаем, любовью ее тесним,
Что Мир, как дитя, тянет ручки свои – лучи,
Что мы, словно музыка, в сердце Его звучим.

За то, что внутри нас с рождения Божья Рать.
И Ей нами мерить, и Ей нами выбирать.

Ирина Кузнецова

Не приезжай, чужой мне человек –
Не ждут тебя в тобой забытом доме.
Я помню боль и помню белый снег,
Не таявший на маминых ладонях.

Не приезжай, тебя нигде не ждут –
Ты всем чужой и все тебе чужие,
Не покидай последний свой приют,
Желанием поспешным одержимый.

Пусть ветер донесёт мою мольбу,
Не ровен час – оступишься в дороге:
Не приезжай, не искушай судьбу,
Живи и помни обо мне и Боге.

Весь мир умещается в луже озёрной –
И звёзды, и птицы, и сны,
Которым не сбыться под ласковым взором,
В которых не будет весны...

Весь мир, что в любимых глазах отражался –
Однажды погас навсегда.





И только кровавый закат продолжался –
Его сохранила вода...

* * *

Предошутти, что я хочу сказать,
Не дай свершиться мыслям и желаньям,
Останови последним покаяньем! –
И замер мир, но нет пути назад...

* * *

Заалело небо на востоке
Сквозь завесу редких облаков.
Чётче проступили новостройки,
Вдоль реки – тумана лёг покров.

Не слышны пока трамваев трели,
Спит земля – большой органнй зал.
И, как будто умирив время,
Колокол к заутрене позвал.

* * *

По натянутым нервам
От столба до столба
Можно ноты развешивать
По проводам.
Как с белья на верёвке
Стекает вода,
Так дожди и слова –
В никуда, в никогда.
Так на грани безлуния
Повторяешь вопрос:
Что страшнее – безумие
Или жизнь под откос?
Если вера растрочена
Сотней, тысячей слов...
Если время назначено,
Значит, путник готов.
И последним пристанищем –
Над землёй небеса.
А над спящим ристалищем
Голоса, голоса...

* * *

Я пишу по-привычке, а может, по *нео*-бходимости, –
Это *нео*-дыхание, *нео*-умение жить
Между строчками, рифмами –
страждущим, ищущим милости,
Я послушно живу, постигая судьбы этажи.
Я пишу и спешу, оттого ли граничит с безумием
Полуночный мой сговор со звёздами, с ветром, с травой,
Что несказанных слов миражи мне являет безлуние
И милее других – неизбежно – твой образ земной?...



ЛенКа Воробей

амплитуда

Ни боль, ни оправдание, ни слом,
ни зубчики в пластмассовой короне.
Не надо быть совсем тупым ослом,
чтобы понять, что дело не в попоне.
Того, кто просто так въезжает в град,
кому камнями рукоплещет слава.
Кто рай не завоёвывал, тот ад
знать не имеет никакого права.

Закрыть все школы!!!! ...и наоборот –
открыть, обрезать дремлющее веко:
одна судьба. Одна душа. И рот –
есть точное виденье человека.
И ничего не надо по кольцу
пускать. И распускать по тонкой нитке.
Не так уж трудно выучить... мальцу,
щенку и императорской улитке.
Которой больше не на что пенять.
Изысканно зажарившись на блюде.
Не так уж трудно чуть недопонять
и покраснеть и краски не убудет.

-
Щека воспринимает лишь ладонь,
и губы... Остальное, дело – правил.
За шагом шаг. Чуть влево и – огонь.
Солдат был прав, что письма не отправил.
Не зря, солдат... не зря... не зря... не зря...
Но не хватало почестей и мыла.
Мост был горбат и взорван. И заря
захлёбываясь алым восходила.
Состав ломал хребет и всех ломал
и только молча МЧС мешало.

-
Бог вздёргивал – ладони.
Бах – играл.

-
Но это никого не воскрешало.

-
На струнах оголённых проводов
плясали пальцы кровопийц и хамов
и только псы срывались с поводов
и позолота вспархивала с храмов.
Греми!!!!.... Последний выродок... после....
Учи, ещё не изданные ноты.
И бойся тех, кто въедет..... на осле.
В священный день прощенья и субботы...
Но кислая капуста и восток
и данность и бездарность в амплитуде.
Осёл был прав.
И врач.
И лепесток.

-
Мы просто – есть.
Других уже не будет.

-





Героем быть и вечно привечать
пришедших уступить и преклониться?!
Медаль на память.
Запахи больницы.

-

Когда болит, удобнее – кричать,
чем вспоминать, как правильно молиться.

-

Мир очень стар. Наследники... насле....
Всех по пути давно уж укачало.
Никто не въедет в город... на осле...
И не начнёт заканчивать сначала.
Не обнажит улыбку или меч,
не двинет речь на слоге на высоком,
Где время научилось просто – течь
весенним, свежим, грязевым потоком.
Нас умирать не учат /как – рожать/
и что любовь...?! ..всего лишь снег – за ворот.
Не убежишь... и толку нет бежать.
Наткнёшься всюду на любимый город

-Любимый город наведёт сурьму.
-Любимый город распахнёт тюрьму.
-Любимый город заведёт на лёд.
-Запутается в справках и умрёт.

Останусь я. Оправданный виток
событий. И случайностей. Вот грань. Я
подросток шилохвоста. Лоскуток.
Замученная фильмами пиранья.
Билет, который в пальцах повертя
сминаешь, набирая обороты,
и ни при чём здесь проблески субботы,
и я и ты и город...
А хотя...

Лимоны. Гении. И прочее...

...не перестрелки Палестины, не Рима нового дебют. Любовь и гений – совместимы, когда устанут или пьют. Ругаясь под одной аптекой или вдыхая дым кружал, любовь хотела – человека, а гений очень уважал кусочек льда, что мог подтаять, так прогибаясь под закон.

Простую боль.

Простую память.

И чтоб порезали лимон.

Но только песни отсвистели и был разделан визави, как гений пробовал постели, в которых не было любви. Сердечно, призрачно, барачно, за просто так и наугад. Потом курил на кухне мрачно, печатал что-то невпопад. А может это был ребёнок? Бумажный парусник. Комок. А вдруг он был настолько тонок, что и надеяться не мог на то, чтобы случиться дважды в подлампочной петле начал.

-

Любовь сказала бы – «однажды...»

А гений просто промолчал.

-

Не потому что было важно там что-то выделить одно. Любовь всегда многоэтажна... У гения есть только – дно. Ещё лимон и раскладушка где пара записей в тетрадь. И эта странная игрушка в себя не может проиграть... Не тренируя сбой на дальность, нутром не чувствуя помех, любовь играла в гениальность, а гений гробил... Всё и всех.





Нет, не хватает скудных терций... Вошло, а выйдет сквозь живот.
У суеты четыре сердца, в какое не стреляй – живёт. Лимон порезан. Дамы сыты.
Чуть-чуть растрёпаны меха... Любовь и гений снова – квиты... всё остальное –
потроха.

-

Не спорь.

Листай народ и лица... Не надо пачкать зря торшон. Ведь вряд ли гению ро-
диться, когда у всех всё – «хорошо»... Как вянет это слово в скобках, как тянет
сыростью... Ведь, да – они рождаются в подсобках... почти что мёртвые всегда.
Ведь гениев и идиотов, не взвесить на одних весах... какую ж странную работу
себе избрали... в небесах.

Полынь

Как страшно наблюдать... из-за плеча...
Измяв надежду, как сырой платок.
Как предаёт свой огонёк – свеча
и как свечу бросает – огонёк.

Где одному картины всё не те
рисуют.
Одиночество, есть – сбой.

Как человек, жующий в темноте,
что плачет.

Над собою.
Над собой.

Соскабливая – «верю» и «скорблю»,
но всё ещё не – Умер и Клубок.
Так волк бежит. Так гусь хрипит – «люблю»
/и шею поворачивает вбок/
И тактики. Галактики. И месть
холодная. Не пробуй – захрипишь.
Как страшно... у любимых – тридцать шесть,
а у тебя под сорок. И молчишь.
Нет-нет... Кричишь!
Но слышимость в аду
возведена в искусство, мистер Вошь.
И Смерть сидит в шестнадцатом ряду
и близоруко щурится в бинокль.

За нею лес, река и гор гряда
почти что осязаема. Не верь.
Там человек, со справкой – «ни-ког-да»
стучится в нарисованную дверь.
Как будто бы руками. И плетью.
Выстукивая жалкое добро.
Там пёс, убитый добрыми детьми
слепую жизнь ведёт через доро...

И двадцать пять – не срок. Тайга простит.
Отпустит мягким камнем под косу...
И труп, к тебе склоняясь, говорит:
«Серебряная свадьба на носу!»
НА! ПОЛУЧИ! ПОДАРОК И ПРИКЛАД!
В ЛИЦО!
/какое скушала тоска/





Как страшно... что и этому ты – рад.

И запиваешь кровью из виска.

Костей и боли страшное мюсли,
но ты привык не видеть больше – лиц.
Журавлики бумажные снесли
горошинки раздавленных яиц.

Их собирать... униженно... «ах, чёрт....»
Но кто учил гордиться и бросать?!

И чёрт сказал: «хороший натюрморт!»

— Хороший мех – проямлила лиса.

Так зачерствел за пазухой восторг,
и на груди, похоже, что – змея....
И горизонт – «Прощаю вас!» исторг
и подворотня всхлипнула – «и я...».
И ты стоишь, как голый на плацу,
в тебя стреляют, попадая, но
какой-то свет гуляет по лицу.
Прекрасный свет.
Родимое пятно.

Куда тебя зовёт твоя полынь?!
Стой, где стоишь – отъявленный бредун.
И успокоит дружеским – «остынь...»
Сырой воды опившийся колдун.
И паутина заплетёт глаза
и нос и рот.
Вопрос уже решён.

И Гамлет скажет: «Нечего сказать...»

И эхо отзовётся – «...хорошо»

У Модильяни кончилось вино

У Модильяни кончилось вино
и кончились друзья. И сны.
По пьяни
у Модильяни кончилось – ОНО.
То самое, что было... в Модильяни.
Прошло и время вроде до хрена
/не те слова, картины, ноты, грани.../
У нас есть - МОРЕ КРАСОК И ВИНА!!!!

-

Но нет самих себя... «и Модильяни...»

-

Зачем я здесь?
Чей это хоровод?
Глухие подворотни, крысы с кошку,
какой-то рот, меня целует. Рот.
И скоро всё вот-вот произойдёт.
И даже кто-то речь произнесёт.
/Нет. Речь – толкают/ ...Значит речь – толкнёт.
Скорей всего.
Но зря. И понарошку.





Лежу, смешно вбираю кислород.
Трясёт, как при ангине и родео.
Во мне закончен – город и народ.
/там, где закончен город и народ
вполне мог поселиться – Амедео/
Со всей своей потребной требухой,
разбитыми бутылками, любовью,
талантом. И восторженно бухой
надеждой. Не готовый – ни к зимовью,
ни к бесам, посещающим – нули,
нули пространств и нолики Пикассо.

-

Урок искусства:
«ВЫЙДИ ВОН ИЗ КЛАССА!!!!!»

-

Что, Модии? Не хватает нам земли?

У Модильяни кончилось вино...
А я устала от тупиц и брани.
Смотри, какое светлое окно!
В нём призраки Жаннетты и герани.
/герани и Жаннетты. Всё равно.../
Века, как воздух – выдержать в стакане
и растолочь в нём лёд и синий снег
и город мой, и репинскую школу.

-

Да-да, мой друг, искусство, это – бег

-

по кругу, бег – постыдным, дерзким, голым,
и беззащитным, перед теми, кто
надев пальто, попрытали все жалыца,
но выдавали контуры пальто.....
И вот уже – бежишь.... Никто...
НИК-ТО...

-

Застреленный из собственного пальца.

-

Куда меня эпоха привела?
/не важно.../ но по пунктам и по бреду –
мне снился бы Париж /когда б была/
но я была лишь там, куда – не едут.
Где не живут, не пишут, не велят
быть постоянным зеркалом себя же.
Тут только нарекают и едят.
Ну и плодят...
И пух летит лебяжий.
Страна-коньяк. Страна – переворот
очередной не читаной страницы.
Страна БОЛЬШОЙ и ЗАМОЛЧАВШИЙ – РОТ
и вскрытый зобик пойманной синицы.
Страна – «друзья». Страна – «не подходи!»
Страна – сапог, в котором спрятан ножик.
Страна с цветущим кактусом в груди,
с людьми, без ножек. И в иконках – божик.

-

О, Господи...
Страна больших котят,
которые хотят – картин и мяса!
/стабильности и подлинник Пикассо.../
Они свои ведёрки укротят,
в которых утонули и давно



покрылась ржой фамилия и проба.

-

У Модильяни кончилось вино...

-

.....А у меня бессилие и злоба.

транскрипция

Никто не обещал, что будет битва,
а значит, и герой уже не нужен,
как и дурак... но, сколько же столетий
испытывать резиновую жизнь.
Она была такой, какой не быть вам
/и мне, конечно... чем я злей и хуже/,
Её кормили собственные дети,
которые ещё не родились.

Мы ждали, что раздвинутся кулисы
и явится божественная сижка?
Какие же забавные мы асы,
грабители янтарных середин.
В причёске умирающей актрисы
витают запахи старого Парижа,
в моих косичках пыль какой-то трассы...
/хорошей, ровной, Р-51/

Всё это поцелуи и укусы,
в колоде мира есть не только страны,
как в крыльях перья лишь, и знаешь, это
не приговор, а правда – про запас.
У разности такие злые плюсы,
у поездов хвосты и рестораны,
у родственников – алиби. У света –
фонарики и камеры для нас.

Я не готова к морю сантиментов
и завтраку – с собою или Кафкой,
мне всё равно, зачем нам всем колени
и лбы. Мы так всё это громоздим.
Убийцы офигительных моментов,
мы плачем лишь над собственной справкой
и через час уже жуём пельмени.

Такой народ и впрямь непобедим.

Ну, где-нибудь... в малюсенькой хибарке,
раскуривая радости червонцем,
живые, как от сильного удара,
мы не способны честно завопить –
что нам свезло и мы, как в зоопарке,
сидим по клеткам... и приходит солнце
нас покормить кусочками загара
и, если заболеем, – усыпить.

Чего же так... отчаянно – чего так...
Как будто кислотою вместо грога
мне горло опалили и, как в соту,
залили жаркий жидкий пистолет.
У настоящих тюрем нет решёток.
У настоящей веры нету Бога.





У настоящей птицы нет полёта.
У настоящих слов – поэтов нет.

цепи

«– Простите, месье, Вы ведь известный художник Морис Утрилло?!
– Да, это правда, я... Позвольте, а кто Вы????
– Я???... задущенная курица...»
(с) Из к/ф «Modigliani»

Морис, ты как? Тут холодно, Морис...
Откликнись... отзовись чужое тело.
Смотри, и я всё так же омертвела
и не боюсь ни голода, ни крыс,
ни мира. Никого теперь :) Морис.
Зачем пришла?
Так я осиротела...
Нет – овдовела... нет – осатанела...
Так тоже – нет.
/не знаю в чём тут дело..../
И ты висишь.
И ты молчишь, Морис.

За кадром, обними меня, Морис.
ТАК обними, ну чтоб не оторвали.
Чтоб мы с тобой единым целым стали!
/единым целым завтраком для крыс...
А хочешь, только я?.../
Скажи, Морис –
кому все эти люди помешали?
На чём все эти люди помешались,
растущие, как все, – ногами вниз,
мозгами вбок, в немыслимые дали,
ответь Морис?!

Не можешь? – промочи.
Молчать нельзя. Нельзя. Иначе... Или...
Мычи, Морис!!! Чтобы тебя убили,
/убитых в рай без пропуска и виз
пускают сразу,
думай, мой Морис./

Всё отберут... но хвостиками крыс,
обглоданных естественно и жутко -
рисуй свои пейзажи и «актрис»,
На Пляс Пигаль? Венер? Джоконд? Элиз?
Всегда одна найдётся проститутка –
хоть тень – Твоя, хоть тень – Моя, Морис.
Задущенная курица ли...
утка...

Безумие – вот это вот сюрприз!!!
Для бархатных и неприличных холлов
Уорхолов. И цвета – аллохола.
Ты только улыбайся, мой Морис.
На собственных цепях.
На грани фола.
На серых шкурках и окурках.
Плиз....
Ты только смейся...



Бейся, мой Морис.

Здесь только смех – единственная школа.

Мир долго-долго подходил... и скис.
Нарядный мир... дрожащий мелко... голо...
Здесь некого лечить уже, Морис!
Пойдём отсюда?!.. не касаясь пола.
Пойдём, Морис.

не говори мне

Не говори мне, как я буду жить
и чем чреватые нормы недостроя,
и где нельзя переступать межи,
и почему. /особенно второе/

Когда пишу тебе – «А в Праге класс!!!»
Не говори, что не была я в Праге...
Подумаешь, что Прага из бумаги...
/спасибо хоть бумаги про запас/

Не говори мне о смешном всерьёз,
травмируя невольно перепонки,
что мир не стоит радости и слёз,
а только телогрейки и тушёнки,
когда равнение станет по плечу
и человечье вылезет, как тесто...

Не говори мне – «ждать», «сидеть», «на место».
Не буду, не умею, не хочу.
Не запрещай свистеть!..
«И так долгов...»
Не говори.
Не слышу.
Не собачит.
У нас есть – рак, у рака – никого.
Так значит, нам – свистеть!
/а он пусть плачет.../
И где не проканал подхалимаж,
не обижайся, что тебе не внемлю.

Возьми меня на «да», на «карандаш»,
на клятву, там, где надо кушать землю
/хоть этого ты мне не говоришь,
и слава...без вот этих порнографий/.
на «модно» – Обезьянка и Париж.
Что мы об обезьянах знаем?!... лишь –
ну, есть они... /из крымских фотографий/

Не говори – «свеча свеча свеча»,
есть свет поярче, даже если темень
и человек способен различать...
/Но чаще различается не с теми../
И делится на ширь, на глубь, на высь,
ведёт, как от хорошей, крепкой браги...
/Но всё это как Прага из бумаги...
Как Прага из бумаги, согласись.../





В какие не раскрасишь колера,
и как не перепрячешься в молчанье,
не говори «покеда!» и «пора...»
/мне этих слов не нравится звучанье,
значение, и вообще.../
Напротив? За?
В глаза?
Обняв ли, оттолкнув... неважно...
Всё отторит, что может быть бумажным,
ты всё, что хочешь, сможешь мне сказать,
когда приду к тебе одной строкой,
у входа сдав всё буйное без боя,
в рубашке из смиренного кроя...

Зачем-нибудь прими меня такой
и полюби /особенно второе/.

Ну, а пока в той строчке не про нас,
и мы звеним, как воздух в передрыге,
я не пишу тебе, что в Праге – класс!
Я... правда... не была в той самой Праге...

замечательная жизнь

Замечательная жизнь... замечаю
как мельчает всё вокруг, как за чаем
больше не о чем сказать и рассказы
всех других во мне – виток метастазы.

По намётке – шаг, стежок... за иголкой...
Как отчаявшийся выкормыш света,
я лечила сном себя...и карболкой...
Откачали.
Ничего...
Скоро лето...

Жабы, солнце, лопухи и полоска
на загаре, словно шрам... различите!
Замечательный июнь... три киоска
до полуночи, с табличкой – «стучите!»

Можно громко, можно так... /как пророчим –
тихо, мол, и не хотелось нам даже.../
Потому что я поэт, между прочим,
замечательно – стучу... на себя же...

Мне никак не убежать от напасти
изобилия черешни и хрена...
Вон, за мной идёт июль... скажет – здравствуйте,
Замечательная Девочка, Лена,
замечательная жизнь!!! Замечаешь?!
/Припугнёт меня и былью, и сказкой...
Если ты, как простыня, истончаешь,
разорвём тебя, возьмём на повязки.../
Ну и что...
Я не единой работы
не боюсь /когда прижмёт/ но до кучки –
только дайте избежать мне – субботы
и блокнота в ней, и... пишущей ручки.



Представляешь, Август мой, август... лично
пребывая в «замечательной» грусти –
я же там КАК напишу – «ВСЁ ОТЛИЧНО!!!!»
Что поверит и следак... и отпустит...
До ворот...
Потом вернёт...
Умиляюсь...
Мне напомним о втором эпизоде,
что я зря не признаюсь и кривляюсь,
замечательная жизнь – на подходе!

Замечательный музей – «Жить Без Муки».
Я хожу, глазею там, как больная...
За-ме-ча-тельные... – гвозди и руки,
О-фи-ги-тельные... – проблемски рая.

Слепит так, что и глаза забирайте,
ну, а если вам слабо, то – зашторьте...
Вы себе во что хотите играйте,
«замечательную жизнь» – не проспорьте.

Кто-то машет мне с холма треуголкой,
да отсюда не видать... но основа –
что лечить себя мне сном и... карболкой...
Откачают...
Ничего...
Скоро снова,
как пойду, свои я рожицы корча
замечательной планете на свете,
и завидовать мне страшно и молча
будут только мертвецы... ну, и – дети...

я люблю тебя

Я люблю тебя... и скверно, что так трудно донести, то, что, в общем-то, наверно,
умещается в горсти. Самодуры... Самодурство не идёт жестоким, вот: умирать
– всегда искусство. Жить – совсем наоборот. Жить, когда уже не надо. Надо,
надо!!!! Не бузи.

Из разгромленного града на слонах бегут ферзи. Дом твой крестиком поме-
чен????!! Рай настоян на хвоще?! Убивают всех, кто встречен. Поперечен. И во-
обще... Светлый лик любого ранга, хоть кривляйся, хоть злословь. Интернетом
правит Ванга. Размноженьем жестов – танго. Нами????!! Скука... Манго-Ман-
го. Бора-Бора. И... любовь.

Дымно, стрёмно, школьно-чайно /не пора ли налить?/ Здравствуй, я при-
шла случайно, и осталась – понимать. Спать у стенки... или – с краю. Жопа к
жопе. Домино. «Понимаешь?». «Понимаю». «Хорошо...спокойной но...»

Ночь подранком отползает. Дай нам Господи... Не дам. Так цунами отгрызает
ноги жёлтым городам. Щепки, грязь, природный бруствер, горя скомканность
в лице. Понимающий в искусстве по достоинству оце... Оцени и ты, любимый...
Нет, не надо... – зацени!!! Люди радуются только, что не с ними не они! Так, по-
скрёбывая темя, отписав на точке.ком, обвинят любое время и расчешут язы-
ком. Ты запомни, без замашек... всех когда накроет, да, тонких, голых, без ру-
башек море сплюнет города, будет дорог каждый слепок, будет важен каждый
миг: Я – гора твоя... Из щепок. Ты последний в мире – крик.

Колыбельная не детям. Расползлась неправды нить. Я б исполнила в офсете...
Но не помню чем платить... Спи, смешное оригами, уповая на сачок... Не при-
дёт к тебе цунами... Не укусит за бочок. Пуля схвачена в ладошку. Спит навер-
но. Теплота. Это пуля – понарошку... /а не та, что в смерть. Не та./ Тут безмол-
вен Заратустра, спущен парус, сломан шверт.

Это Бог поймал искусство. И не будет больше жертв.





Леонид Шептовицкий

* * *

«Трошки» снега и чуточку льда –
Так к апрелю зима нас тревожит.
Не беда. Мы понять её можем.
Кто же хочет уйти без следа ?

Ну а нас ждёт сияющий путь :
Быть весне и, конечно же, лету.
Да ещё воспоют их поэты...

.....

Пусть зима порезвится чуть-чуть.

* * *

Будто луч прожекторный,
Бьёт из солнца прямо,
По морской поверхности
Рассыпая пламя.
Рассыпаясь бликами,
Золотыми рыбками,
Брызгаясь огнями...
Это с чаек криками
Сполохами зыбкими
Бродит небо с нами.

НОЧНОЙ ПРУД (1)

Пруд ночной – не такой, как дневной.
Ночью в нём отражаются звёзды.
Это вкупе с рогатой луной –
Будто стадо коров.
Или козье.

Варианты тут льются рекой:
С чем ещё можно сравнивать звёзды? –
«В купол мира забитые гвозди»...
«Купол цирка, нарядный такой»...

...Пруд ночной не такой, как дневной.

НОЧНОЙ ПРУД (2)

В пруду утонула вселенная.
В тихом сельском пруду.
Приду.
Паду на колени.
Вниз лицом упаду
В планеты, кометы, созвездия.
В гладь небесную.
Но.
Где ж ты, звёздная бездна ?! –
...Дно...





Людмила Рябухина

* * *

Она останется пустой,
Когда я выйду в эту дверь,
Я не наполню никого
Теперь.
И как похоже на обман,
Но верить проще и теплей,
Я не очищу никого
Теперь.
И все что дать способен дым,
Развевая в небе облака,
Это всего лишь полусны,
И полумягкая рука,
А ты на -полу не пойдешь,
Тебе лишь мягкость и покой,
Уж если туча, значит дождь,
Уж если лето – значит зной,
И все похоже на туман,
Так плавно, честно, как должно,
Уж воевать – так сотни стран
Завоевать, само собой.
Все настоящее придет,
Придет само и без потерь,
Поэтому я никого
Теперь.

* * *

Ты такая красивая,
Мне больно смотреть, все слезится,
Слепит глаза и даже
Страшно влюбиться.
Смешно,
Я боюсь влюбиться, а так хотелось,
Такие красивые лица,
Нужны, как повесть,
Чтобы читать и думать,
Не спать ночами,
Чтобы потом звонить и
Читать вслух маме
Самые выдающиеся мысли,
Прочитанные на таких
Красивых лицах.
Ты такая красивая,
Но я никому не читаю,
Не делюсь, не хочу растерять,
Вот жадная,
Ты смеешься,
Я смотрю на тебя и падаю, так бывает,
Когда люди пьянеют, Или хотят молчать
О важном, и сердце так бьется,
Словно стремится бежать,
Или когда бросают родные города,
смотришь из поезда, думаешь
«это конец»
Или что-то не драматическое,
Побудничней, да,
Кто это думает репликами из пьес?
Можно даже подумать матом,





Главное честно,
Можно спеть напоследок
Старую грустную песню,
Которую пели с друзьями
В ночи у костра
(под окнами во дворе, жарили сосиски),
Такое бывает лишь в самых родных городах,
Такое бывает с теми, кто очень близкий,
Почему же обычно близкие – далеко,?
Ты только пожмешь плечами,
Линейно-острыми,
Не будь такой резкой,
Вот ты от меня уйдешь,
И поймешь, что было тепло в моей комнате детской,
И поймешь.
И захочешь вернуться, но как-то неловко,
Можешь вернуться, я знаю, что ты вспылила,
Потому что здесь тусклый свет,
А на улице мокро,
Тебе туда рано,
Ты смешная, ты шапку забыла.

* * *

Все по одной цене,
Все по одной странице,
Ты говоришь привет
И мне месяц не спится.
Тебе позвонят, ты выйдешь
И волком взвоешь,
Все по одной цене,
Что звонки, что письма.
Ни те, ни другие не стоят
Твоих улыбок,
По двору рассыпались
белые-белые листья,
подражая движению сонных
слепых снежинок;
по двору разлетелись ветром
сухие рубашки,
те, что сушила бабушка год назад,
все что летает – падает вдруг однажды,
всем, кто смеется станет когда-то страшно,
бабушка не вынесла и ушла
подальше от этих улиц
с поворотами в переулки,
от тех, кто еще не проснулись
в плацкарте на верхней полке,
подальше, подальше бабушка,
с крыльями из пакетов,
я соберу рубашки
и отправлю тебе в конверте.
Наклею покраще марку,
Мы выберем с ним вместе,
Чтобы у всех прилавков
Нас звали жених и невеста,
Чтобы смеялись дети
И вслед нам снежки бросали,
А когда подкрадется лето
Мы за тобой уйдем.
Или может быть лучше осенью,





Под дождем?
Нет, это слишком красиво,
Для уходящих нас,
Так же можно сорваться, остаться
Мол, мы на час,
Пропрощаться и не расстаться,
Как мы похожи,
Как ни странно, но мы похожи совсем на вас,
Те же сентиментальные мысли и тело в коже.
Не будем же строить планов,
Пока рубашки
Летят по двору и не падают на прохожих.

Завтра ровно в восемь
Мы будем друг друга слышать,
Мы будем дышать так ровно,
Что ветру нас не поймать,
Что ветру нас не заметить,
Не спутать с листвой весенней
Настолько мы будем беззвучно
В молчанье друг друга вникать.
Внезапно вольется поздний
Поезд совсем нездешний
И будет пытаться наше
Молчание увезти,
Сумеешь ли ты не поддаться?
Сумеешь остаться рядом?
Значит не зря во взгляде
покоится суета
может мы поздно вышли
вечером за рассветом,
может мы больше не слышим
голоса даже друг друга.
Стоит ли долго зрачками
Впиваться в поверхность глянца
Где блики и отраженья
Пляшут как пламя свечи,
Где-то же ходят люди
И носят забвенье в ранце
Как на уроки судят
Сегодня (как странно) люди,
Как странно, что даже честью
Они обладают в мыслях,
Только судить – не дело
Даже для подлецов,
Что ж говорить о людях,
Которые честно хотели
Чем-то исправить землю,
А вышло, что бесполезно
Что-то здесь исправлять,
Нужно ли это кому-то,
Или хотя бы, по правде,
Кто не привык к такому,
Тот долго тут не проживет.
И только такая вера
С крыльями и рогами,
Может толкнуть на двери
Тех, кто их сам не видит.
Может затем и стоит





Слушать колосья в поле
Чтобы поймать мгновенье
Когда нечего изменить.

* * *

И вздохнули слова,
Отбиваясь от тел,
И дыханьем наполнили комнату.
Ты, похоже, не так умереть бы хотел,
Разогретым от вечного холода
Этих скал неприступных на крае земли,
Глядящих с вершин прямо в море,
Океан, если мерить глазами, смотри,
Там же тонет корабль, и скоро
На палубу бравый взойдет капитан,
И важно снимая фуражку,
Примет молчанием ту, кого ждал,
Резко глотнув из фляжки.
Скоро он спрячется там, под водой,
От взглядов тяжелых и хитрых,
И собственной смелой широкой спиной
Укроет пол дна и тихо
Завоют над ним с кораблем ветра
И тронут ладонью воду.
Покойтесь без мира, раз в мире война,
Раз такие, как вы, уходят.
За такими не плачут в высоких домах
Им крестов из гранита не ставят.
За такими, как правило, воют ветра
И костры у берега палят.
И песни поют до рассветных лучей,
С лентами в волосах.
Солнце взошло над планетой моей
Но спряталось в облаках.

Макс Самокиш

диктаторское

– Дурдом!
А правда в том,
что вы шестое поколение оленей,
везущих нарты
маршрутом карты
дамы пик
в очередной тупик, –
кричал на паперти старик,
стращая неизбежностью войны и голода.

Мы встретились с тобой в гитлер-маркете
в сталинварном районе города,
чтобы узнать цену новых диктаторов.

Добрым правителям у нас не везло,
а зло побеждает лишь большее зло,
и посылают не к божьей, а к чертовой матери.





Чумные столбы не спасут от беды,
не спасут от чумы, и вообще не спасут.
Я видел того, кто оставил следы на глади воды,
но не верю, что он вернется вершить свой суд.

Мы пришли выбирать диктатора.
Он стоял в коробке со знаком атома.
Гарантировал отсутствие вдов,
а на месте больших городов
обещал радиоактивные кратеры.

«Массовые чистки, работа до кровавого пота» -
рекламный лозунг Пол Пота

«Власть Советам, несогласных в землю тленом» -
Ульянов-Ленин.

И как ложь под сердце, нож во благо,
течет не кровь, сочится влага
цвета флага огромнейшей страны,
дарившей сны о прелестях ГУЛАГа.

«Кульť личности не по-детски» -
Иосиф Сталин, Николая Чаушеску.

«Вера надежный сторож для стада» -
трижды святой Торквемада.

Диктатору вполне подходит сутана.

Но мы выбрали с тобой Чингисхана.
По инструкции его нужно сделать рабом,
все детство держать в колодках,
зато потом –
он не будет пугливым и кротким.

Но мы решили воспитать его
как своего ребенка:
читать добрые сказки,
вкусно кормить,
менять пеленки,
мазать зеленкой
детские раны.

И, может, он станет писать романы
или музыку достойную Вагнера, Баха,
вовсе не воином без укора и страха.
И будет все не как по учебнику –
он не соберет орды кочевников,
не разорит соседние страны.
Просто будет нормальным парнем.

А если такое возможно,
значит, мир сделать лучше – не сложно.

пропащее

Иду в кафеху при ночном киоске
(типичный водочный анклав)
купить бутылку, выбрать соску





из местных выпивших шалав.
У завсегдатаев всегда дела херово,
но приключения дело наживное –
одно неосмотрительное слово
и сразу схватишь ножевое.

К маленькой ранке на теле
можно приложить вату,
у меня же в душе щели –
потому, что я бесноватый.
Я пробовал конопатить их верой,
но ангелы выпадали из дырок.
И превратился в химеру
несостоявшийся инок.

– Не стоит меня жалеть, дура!
Я ведь снял тебя за бутылку,
так какого, скажи, авгура
о любви мне шептать пылкой,
о семейном очаге, о быте?
Ты ведь та еще повеса!
И в душевных наших корытах
для любви не отыщется места.
Давай трахаться жёстко –
нам больше ничего не осталось.
Святое небесное войско
не вернет ни отраду, ни жалость.

За окнами развиднялось.
Лежали, обнявшись, два тела.
Бог, не смотря на старость,
все еще прощал греходелов.
Он любит даже пропащих.
Мы две заблудшие овцы.
Он положил нас на чаши
и уравнировал весы.

небо забеременело от фейерверка

Небо забеременело от фейерверка, поползли вверх дымные пауки.
Знаешь ли, милая, а ведь каждый час – это нашей любви проверка,
если скажу – в тебе я ошибся, с какой ты, заплакав, ударишь руки?
Представь, как грустный Пьеро, в театре поставленный клерком,
объясняет вошедшим, что он больше не хочет со сцены им врать:
кому-то судилось по пальмовым листьям ехать верхом на ослице,
другим суждено эти листья потом целый день убирать.
И про нас снимут фильм и покажут на конкурсе в Ницце,
восторженный зал будет рукоплескать, умиляясь развязке.
На экране – мы шикарная пара с талантом и фартом.
Посмотрев, ты промолвишь – хорошо, но это все враки и сказки,
а я улыбнусь и добавлю – зато мы теперь неделимы, как атом.

дипломы

Диплом о высшей мере сострадания
за прозябанье в четырех стенах
холодной и сырой тюрьмы.

Игра в царя горы – чей холм повыше.
Расставлены посты, возводят там кресты,



все говорит о том, что этот холм — Голгофа.
Но казематов стужа мне шепчет, что бывает хуже
и призывает целовать спасенье клеток.

А по сути — я никому не нужен,
за исключением тьмы тюрьмы,
что любит нас, своих приемных деток,
ведь у нее есть только мы.

Диплом о высшей мере наказания
за переиздание мира в двух томах
и в ста томах войны.

Где малые ребята, не чувствуя вины,
палят из автоматов по томатам.
Представив так, им легче жить,
взорвав не города, а огороды,
уничтожая клумбы, а не клубы.

Чтоб через годы,
на смертном ложе,
томатные не вспомнить губы,
шептавшие — спаси нас, боже.

Закончились дипломы,
истек в часах песок,
в цене талоны
на лобызание иконы,
альтернатива — простреленный висок.

Мы все — охотники за счастьем,
и льется в чашу для причастия
томатный сок.

Марина Гуртовая

Бездежник

На розі вулиць, безпритульний,
лякає вітер перехожих:
зрива кашкети і берети
і сліпить очі пилюгою.
Не злого дня я відпускаю
Весні всілякі компліменти,
а злого дня недочуваю
вітрів брутальний спів.
Палітра швидко підсихає...
Стоїть бездежник і чекає
на розчерк пензля.
спонукають сюжети фарби дня.
А дикі ангели зітхають,
Бо їх ніхто не помічає:
німі, закохані, прозорі
підключаються про нас.
А в тім житті, мов в чистім полі,
Виконуєм завзято ролі,
Псуємо керегаз.
Палітра швидко підсихає.





Стоїть безмежник і чекає
На розчерк пензля час.
А дикі ангели літають,
Та їх ніхто не помічає,
Бо на руках вони гойдають
Безмежника атлас.
На розі вулиць, безпритульний,
Лякає вітер перехожих.
А я ловлю всіляку схожість
у марлеві сачки.
Не злого дня я відпускаю
метеликів з гачків,
А злого дня недочуваю
твоїх брехливих слів.

* * *

Гарніше ластівки
В'є гнізда тільки страх,
І осоружний холод
В мерехтінні світла
Нагадує про смерть.
...в безглузді тоне час.
А я ... в мілкому човнику сную
Через безкрайне море сподівань,
Як та мураха в дощовій калюжі
Гребу щосили: часто і кумедно,
Бо безпорадність то –
Типовий край
Між тим, що є, і тим,
Що відбулося.

Гарніше ластівки
В'є гнізда тільки страх,
То ж я його заплутаю в волосся, –
Важка тоска тривогу не пуска
На очі до прозорого буття,
Де вічне свято, мов
Кульбабине весілля
Ніколи не стиха, –
Бентежне світло!

Так до пуття весь світ здається білим:
Непереможених там носять на руках
Оті безстрашні, що його вважають білим.

То я пручаюсь у кульбабиному тілі
І сни не сплю, чекаючи дзвінка.
Гарніше ластівки є тільки Божа милість,
Яка у світі навіть не зника.

Я все одно очікую дзвінка твого,
Заплющуючи очі:
У ластівок – страхи дівочі,
Лякливе щастя, темні ночі,
В ярах крутих – ріка стрімка,
Що греблі рве,
Чекаючи дзвінка.

Весь білий світ чеканням оторочу,
Причепурившись на кульбабині свята.





* * *

На тлі загарбницьких пейзажів
Чатує страх у хижака.
Ланцюг свободи – справжній важіль
В перенапрузі набряка.
Перетворивши час на відстань,
Печаль на пляму на вікні,
Душа живе і хоче їсти, –
Зерно чекає у стерні.
На дикі звички у героїв
Зверта увагу тільки час,
Злощастя у людських подобах,
Створіння в культових хворобах, –
Усе, що люд ще не накоїв
Роїться повсякчас.

У вовкулаки – людські очі,
А у людей від вовкулак:
Так хлюпа ніч в гливці озера
Звалившись на очах.

На тлі загарбницьких пейзажів
Рояться комарі,
На жаль, в мистецтві повно «лажі», –
Притертої землі.

* * *

У затінку шовковиці
Ховаються джмелі,
А у трухлявім дереві –
Доріжки шашелі.

* * *

Злипаються очі від сну,
Від втоми,
Від втечі,
Від теми...,
Стрибаючи у пітьму,
Потрапити у проблему,
І вниз,
Зрозуміло,
Ниць
Невдалим пілотом,
Вщент,
Дарма, що світ без границь,
Бо губить його – акцент.
Раптово, крізь призму віків
Суцвіття небесних зірок
У торбі дорожній угледіти.
Залатану смерть поета
Всеглядного ока курок,
Жартуючи попередити.
Знести через воду, огонь і навіть червону мідь
Весь гамуз і зойкіт століть,
Здолавши велосипедом,
Життєвого кола крок,
Зітерши до страмних дірок
Усі страждання цього світу,
Якій по нитці дорікав тобі,





Ати йому від серця
У торбу кожен день збирав
По квітці запашній
І по сльозі – люстерця...

Злипаються очі від сну,
Від втоми,
Від втечі,
Від теми...
Стрибає у вічну Весну
Розвінчана королева.

* * *

*Посвята О.А. Гончаренко
08.05.2012 р.*

Із заперечення народжується втрата.
З тужливого мотиву – тиха пісня.
Зухвала річ – прихована осята,
Але тобі не вистачає кисню.
Причин узгоджених загадки різні.
Величні вітряки потоптані містами.
Залізні хаші веж, комунікацій
Вплітаються в природні організми:

Новобудови із відбитків скла, –
Для музики місцина замала,
Та все ж безмежна для земних вібрацій.

Блищить на сонці вранішня трава.
Ужиті речі пам'ятають твої пальці.
Травневий день у вікна зазира
Із сподіванням, що тебе побачить.

Незрима ти тепер, та певна я:
Ти посміхаєшся для нас
в Небеснім Царстві.

Марина Мирославская

* * *

Присвячується Валерії Міщеріковій

Утопічні мотиви, до яких підіймаються наші розмови,
звели б з глузду кожного.
Усі суперечки нагадують перегони
повітряних зміїв, переливання з порожнього
у пусте
чи навпаки,
пустель
береги.
Ми заплутуємось у своїй чистоті,
чужій неправоті,
світовій кривді.
Ми просто заплутуємось.





Ми втрачаємо смак життя
від ідейної прісності,
безідейної прісності
від початку і до кінця.
Утопічні мотиви наших думок тонуть в буденності,
бо утопія просто повинна втопитись —
так вважали постові душевних митниць.

Закричь глаза. Открыть.
Измерить давление света из них
в сердцебиениях за единицу воспоминаний.
Закричь окно с видом на вольфрамовую нить
в лампочке фонаря.
Самопознание
само познается.
Измерить счастье в градусах
Цельсия или алко,
во времени
прикосновения
к идее.

Закричь душу. Открыть.
Излить чернилами на чистый ранее лист.
Скомкать и выбросить.
Нет. Сначала открыть окно.
Скомкать и выбросить,
целясь в нить.
Вольфрамовую? Нет.
Судеб.
А Судьбы кто?

Закричь.

Сердце

На меня злятся, рычат и люди, и звери.
Конечно, никто не любит сидеть в клетке
грудной — особенно: в ней тесно, и метко
бьёт ошалевшее сердце в двери:
«Я достучусь до ваших душ! Достучусь!»,
и обрушивается, разлетаясь осколками.
Собирается, дышит, пытается двигаться ровно,
но снова бьётся сотнями токов (электроблуж) —
ещё немного и вырвется между рёбрами
какой-то странной, покрасневшей молнией,
смущённо.
Оно само боится себя.

Наталья Лощёнова

Моему...

Ты любил меня, приютил меня,
Раскрутил, обжил, а потом менял —
На других невест и жён — выбирал.
Я твоя жена — ты решил. Прогадал...





Выгонял меня из себя – в поезда,
Я кричала матом: «ДА ЧТОБ ТЕБЯ!!!»
А потом возвращалась к тебе домой...

Я люблю тебя, Город, – ты мой.

Элис выросла...

Элис выросла и разменяла улыбки на прозу –
И чеширский кот от кого-то грустить научился...
Можно верить всерьёз в то, что кажется всем несерьёзным.
Купидон-чудак сам своею стрелой застрелился.

Элис верила в сказку, забыв, что намёк – полуправда,
По ночам луну на стекле обводя цветным мелом.
Не сомкнутся в крути эти линии жизни – тут прав ты...
Допиши свою сказку и выбрось в огонь, чтоб сгорела – Элис выросла.

тоже

О, да!!!
я с тобой, без тебя, о тебе, про тебя
все стихи... наизнанку душой.
хорошо?
а ещё?..
Что ж ты делаешь-то с моей маленькой жизнью?
Я за счётчик плачу – но из строя он вышел.
Как лимон мою душу по капелькам выжал.
Ну а как же... Ну что ж ты... Да разве... Ну ты же...
быть больной? и лечиться твоими словами?
и руками, губами, стихами... Мы сами
создавали НИЧТО в НИЧЕГО погружая.
Вот и всё.
Ты чужой.
И я тоже.
Чужая...

Пустота

Меня оторви от травы – отрави
своим голосом, городом, горьким чаем...
«Горько!» – кричали...
желали любви...
Если б мы знали, что всё неслучайно,
мы б изначально
были на «ВЫ»...
ВЫблевать. ВЫболеть. ВЫбелить память.
Скомканной жизнью застрял в горле ком.
Комната страха тебя не оставит,
комнатой смеха не станет потом.
Пусто –
непустишь к себе постояльца.
Время сквозь пальцы
стекает песком...



Нина Карбуева

Нелюбимая

Нелюбимая жена – нелюбима!
Ласки, нежность и любовь – мимо, мимо.
Жизнь проходит стороной, ой, как лихо,
по щеке слеза ползёт тихо-тихо.

Одолела грусть-тоска, одолела,
а соперница моя осмелела.
Принаряжена она, есть в ней сила,
в сердце у него живёт, я –– немила!

А сказать ему о том не посмею,
без речей и рук его – я немею!
Целовал так сладко он – трепетала,
станет горькою любовь – я не знала.

Чем завлечь она смогла? Плачь, разлука!
Жизнь без милого моя – просто мука.
Нелюбима я теперь, ой, как лихо,
по щеке слеза ползёт тихо-тихо.

Приду

Нет, купаться только в речке,
где холодная вода.
Позовёт моё сердечко
я опять приду сюда.

Полечу, как голубица,
бьёт родник там ключевой
и прельщает всех водицей,
да не мёртвой, а живой!

Мне Светило говорило:
«Окропись такой водой,
если в жилах кровь застыла,
снова станешь молодой!»

Пульс играет на запястьях:
обнимусь, родник, с тобой
и забьюсь в твоих объятьях,
окунаясь с головой.

Обжигает тело свежесть,
сладко замирает дух,
и такая льётся нежность,
что не высказать все вслух.

«Ну, причем тут, право, годы»,
говорю, вздымая грудь.
А родник: «Не жди погоды
приходи, не позабудь!»



Олеся Назаренко

* * *

Мікроб вдивлявся у мікроба
На мікроскопа склі:
Невже мій образ і подоба
Утілені в тобі?..

* * *

Безмолвная мука ночей бессонных
Лежит в морщинах твоего лица.
Ты – Сикстинская Мадонна,
Простая мать молодого бойца...

Ольга Андрус

* * *

Осень резко закрыла мольберт,
Многоцветье стирая рукой.
Ива, ветви сплетая в мольбе,
Наклонилась над тихой рекой.

Сбросив под ноги платье-красу,
Беззащитна стоит в наготе.
Лист последний держа на весу,
Захлебнулась тоской в немоте.

Гаснет грома ноябрьский раскат,
Индевеет к рассвету трава,
В сером мареве умер закат...
Холод властно вступает в права.

Dies Ire

Трещины, изломы, шрамы
Взгляд охватит свысока.
Я хожу по краю ямы,
Что бездонно глубока.
Балансирую упрямо —
Только б вниз не посмотреть! —
Тянет, тянет, тянет яма.
Там на дне танцует смерть.
Колокольный звон зловещий.
Свист косы над головой —
Странный сброд ей рукоплещет
И хохочет надо мной.
Холод вырытой могилы,
Нищих плач — издалека.
Наступил мой Dies Ire?
Что ж... станцуем трепака.

Навеяно – Ф. Лист «Танец смерти»





* * *

О чем ты плачешь среди дня,
Зачем грустишь так утром ранним,
Летишь на поиски огня
За горизонты к сопкам дальним?
Рябины куст, гречишный мед.
Дурманящий рассыпан запах,
Прозрачный, как озерный лед,
В запутанных еловых лапах.
Что чудится тебе в тиши,
Откуда слышишь запах гари,
С каких неведомых вершин
Ты разглядела блики зарев?
Задумчивые васильки.
Подрагивает воздух зыбко.
В реке – уснувшие мальки.
Кузнечика томится скрипка.
О чем ты плачешь среди дня,
Зачем грустишь так утром ранним,
Ужель сердечного огня
Не хватит близким всем и дальним?
Что ищешь ты, Душа, моя...

* * *

От нечаянной суеты,
Неприкаянной маеты,
Перепутавшихся дорог,
Отведи, если можно, Бог.

От понятий «чужой» и «свой»,
Бесконечных нелепых войн,
Ненавидящих детских глаз
Защити, коль не поздно, нас.

Кто прекрасен, а кто убог –
Мы все разные, сжался, Бог,
Упаси, охрани народ.
Если стоим твоих щедрот.

Юлия Кобринович

* * *

Офелия, душа моя, решай –
Воды и тьмы теперь не избежать;
На теле – осквернением – печать,
Как гниль на белых листьях –
Прислониться
К ажурной ковке ледяных перил,
Лопатки вдавливать в распахнутые пасти
Железных, но таких живых цветов –
Престол,
Растущий над водой из черных досок –
Алмазной крошки над тобою россыпь,
Твои зрачки – язвительные звезды:
Убийство недосказанным вопросом;
Источник – вот он. Беззащитность позы,
Изломанно движение руки





И губ надменных тонкая улыбка, –
Растянутая, выпитая пытка,
Распробована, прожита, – забыта.
Офелия, душа моя, решай –
Сомнения – уродливый лишай
На нежных лепестках железных лилий,
Как сгустки крови – комья снежной пыли
В соцветиях, соцветия – пусты,
Воды речной замерзшие следы –
Как лимфа.
Офелия, о радость, помяни
Мои грехи в своих молитвах, нимфа.

Я в лабиринте с темным минотавром, –
Он где-то там: бушует, бьется в стены
И запах удушающий гниения
Сжимает горло и вбивает в разум
Панические метастазы.
Опасно двигаться. Бежать, – дышать опасно.
А бельмоглазый круторогий пастырь,
Слюну роняя из открытой пасти,
Гоняет в лабиринте кротких духом –
Пленных духом юношей и дев,
Воздев

Неосторожных на рога.

И круг за кругом,
Друг за другом мчаться,
Измучившись в сомкнувшей когти травле.
Я в лабиринте с темным минотавром –
Бежать, куда мне?

Урубороc

Боль замкнута в круг –
Урубороcом.
Ни Воли, ни Голоса,
Единственным полюсом
Пульсирует, винтом – и под волосы,
Под кожу. Изъян, червоточина,
Надкушена, порчена, вгрызается в глаз.
Из зрачка – как из точки
Смотрит окрасив, просрочив
Внешнюю жизнь за минувшие сутки.
Прошлое визгом смычка изогнуто
Выжимая минуты из пульса.
Когда я проснусь – не волнуйся. ––
В едином сольемся укусе,
Спелые персики – завтрак.
Завтра.
За знание платим сознанием.
Боль – Урубороcом.
Ласковым голосом опять уговаривать,
Сравнивать, стравливать
Детские помыслы:
Не Отступить.
Сегодня, – единственным полюсом
Впился в глазницу
Язык Урубороcа.





* * *

В моем гербе –
Плющ на черном фоне.
Тонкие изгибы ярких стеблей.
Мы росли на крови и на хлебе
В узких рамках крепостного права.
Браво! Мы уже не просто травы –
Мы уже давно пустили корни
В пресную крошащуюся известь, –
Вознеслись. Осталось только вспомнить
До чьего мы тянемся карниза.
В моем гербе –
Плющ на черном фоне.
Горькость маслянисто-гладких листьев.
Прикоснись, – я попытаюсь вспомнить.
Что-то... столь мучительное... в бризе?
В тишине? Во влажном жарком мраке,
Полном суетливой тайной жизни?
В выси поднимаясь. Звуки, знаки, –
Воздух до дрожания пронизан.
В узких рамках крепостного права,
Втиснуты в железную оправу –
В моем гербе:
Стебли, листья, слава,
Ниточками связанные корни, –
На стене. И я пытаюсь вспомнить
Герб:
Где плющ на черном фоне.

* * *

Но там, где играет свирель Крысолова –
Пан умер. Мы тянемся к сладкому горлу, –
Венками полыни и болиголова
Мы украшаем подножье престола.
В зеленом аду, под склонившимся дубом,
Вращаемся, кружимся в бешеном танце,
Мы Пана целуем черные губы,
Касаемся щек, и лодыжек, и пальцев.
Играй, о играй, обновленный владыка –
Здесь наше безумье, зажженное маем, –
Здесь наша Свобода останется дикой.
Пан умер. Да здравствует, здравствует
Тот, кто играет.

Плач Лилит

Шея болит,
Плачет Лилит,
Склонившись над спящим уродцем.
Звезды в ночи
Остры, что мечи –
Легко в темноте уколоться.
Мурлыка-зверь
Тронь колыбель
Чудище вдруг не проснется.
Белая грудь –
Поесть и уснуть
Пока не поднимется солнце.





* * *

Держусь за тебя,
Звезда, отчаянным взором.
Вокруг — лепрозорий.
И шанс, что я уже разлагаюсь
Необычайно высок, —
Вжатый в висок
Маслянистый кусок железа.
Сдерживая дыхание лезу
Хирургическим лезвием в душу:
Вывернуться наружу
Мягким больным подбрюшьем
Ища в обнаженье защиту.
(Держусь за тебя).
Рассчитывая только на разум,
Выслеживая метастазы в собственном теле.
И жизнь вся — на кромке идеи
В безжалостном *bestiae — dei*,
И — нет, я уже не робею
Снимая с одеждою — кожу.
Больнее в сгнивающем прошлом
Хоть блик! Хоть одно отраженье! —
Искать, выворачивать шею —
Живое сиянье твое.
Держусь за тебя и вдвоем
На целую искорку легче
Пройти эту влажную вечность
Себя — до конца — изувечив.

* * *

Время паучьим прикосновеньем
Касается нежно.
Внешнее здесь неизбежно:
Тьмою крошечной
Вскормлены корни растений,
Как молоком.
Злым мотыльком
Дергает стенки сосудов —
Бьется рассудок
Зудом в холодной подкорке.
Горькие соки прамыслей
Месивом втиснуты в форму. —
Корм. И голодные корни
Роют ходы лабиринта.
Ритма рисунок извитый
Бьет, искажая тени.
В соках глухих растений —
Нежное хищное время.



Юрий Шкурко

* * *

холодные мониторы
вместо любви
голодные кредиторы
ты рептилия
усталые ангелы
перестали сопротивляться
порно сайтам
в ожидании
сезона цунами

* * *

время слов ушло
смотри на
растрескавшуюся землю
или в небо
в котором не осталось
больше снов

* * *

Вот умер Буратино
лежит себе в гробу
насмешку воплощая
над Безносой
Вернулся в лес родной
из тесанных дубов
и памяти ладья его уносит

* * *

вечерний червь
интернет
выедает мое лицо
инфлюэнца света
эта магия могил
велика колесо
увлекает в
сырую сансару

Михаил Красиков

* * *

Не люблю
говорить о стихах,
как не люблю —
о любви





* * *

Когда в моем городе
вырубят последнее дерево,
я стану его тенью,
чтобы в знойный день
спасти от жары старика,
помнящего последнее дерево
в моем городе.

* * *

Когда строгий Учитель
после столько-то-летних каникул
встретит меня
с улыбкой
и попросит написать
классное сочинение
«Как я провел жизнь»,
я долго буду
грызть ручку,
ковырять в носу,
ерзать за партой
и через пару часов
сдам, наверное,
чистый листок,
потому что
Слову слова не нужны,
а словам перед Словом –
стыдно.

УМЕРШЕМУ ДРУГУ

Ключ от моего дома
тебе уже не нужен,
но сохрани, прошу,
ключ от моего сердца.

* * *

Всё рвётся, ломается, бьётся,
починка ж порой нелегка...
И хитро нечистый смеется,
поглядывая из уголка.

Всё хрупко, непрочное, ущербно
и бrenно все, что ни возьми...
Печально смеется Минерва,
смотря на крушающийся мир.

ИЗДЕРЖКИ ПРОФЕССИИ

Разучился
читать чужое,
мысленно
не редактируя...
Разучился
ч и т а т ь...



Мастер Евгений

ИЗ ХАРЬКОВА – С ЛЮБОВЬЮ

С хулиганистыми малышами,
В городишке, почти миллионном,
Полируя Сумскую, – клешами,
Что выкраивал Эдик Лимонов, –
Был я – юным, а значит, – хорошим,
(Пять – по пению и – по рус. литу.)
...Ливерпульским плюгавым гаврошем
Я кадрил центровую лолиту.

И казалась мне трёха в кармане
Крейзанутым сокровищем Креза...
Если *“You never give me your money”*,
То, хотя бы, – давай *“Come together”*...
И крем-соды шипучая пенка
(Два – с тройным! Озорно – и резонно!)
Увлекала нас – к саду Шевченко...
...Ах, какие там были газоны!..

Под покровом природы счастливой –
Совершалось – эдемской пропиской –
Единенье – девчонки сопливой
И мальчишки с торчащей пипиской...
...И, – всё та же природа, – в итоге
Нам даров отвалила, – по-царски...
...Мы, бессмертны как юные боги,
Шли по Рымарской – вниз – до Кацарской...

...Непохожи на прочих – в начале,
Вы, и – миру, – не стали своими,
Дорогие мои харьковчане, –
Хоть в Москве, хоть в Иерусалиме...
...Ну, а я, удивляясь порою
Долгой жизни – прекрасной и странной,
Не спешу – расставаться с землёю –
Нэзалэжной, но – обетованной...

Прельщают неофитов – сласти власти,
Щекочет ноздри – фимиама дым.
Не ведают они: чем платит Мастер
За участь – оставаться – таковым.

Суровой очевидности не веря,
Я полагал, что молодость – пролог,
Но стал похож на старого еврея
Как всякий начинающий пророк.

Мне – долгая дарована дорога
И мой удел, покуда плоть жива:
В душе расслышать – тихий голос Бога
И записать – знакомые слова.

ПОЭТЫ украины





Анастасія Красиловська	3
Андрей Мединский	5
Андрей Орловский	6
Аня Грувер	8
Варя Перцева	10
Евгения Баранова	11
Евгения Бильченко	15
Игорь Колтунов	18
Ксана Коваленко	20
Лемерт (Анна Долгарева)	23
Леонид Борозенцев	25
Марина Банделюк	27
Марина Войналович	29
Марина Киевская	29
Ростислав Поляков	31
Татьяна Лисовец	33
Татьяна Самарина	34
ФИО Лето Вий	35
Юлия Светлова	37
Юлия Шипова	39
Юрий Крыжановский	42



ПОЭТЫ УКРАИНЫ

Анастасія Красиловська

Чернівці

ПОВЕРНЕННЯ

... усі ці повернення зідждують кров і лімфу,
підкреслюють блідість, завбачивши моє буйство.
відрощують коси і принципи мертві німфи,
вкладаючись в ліжко з старим Прокрустом.
а я засинати не згодна і все по колу –
вбиваю у пам'ять нещадно листів твоїх стоси.
це військо щоденності зовсім не той очолив
і він про повернення більше мене не попросить...

ЗАМІСТЬ СНОДІЙНОГО

веду рахунок і кличу себе до тям,
часом скаржусь назвами міст, кілометрами,
грію полицьку чужими листами і светрами
і все не наважусь сказати мамі.
твій дім впадає в в'язку летаргію,
ти кажеш, що я не вмію брехати,
та все попереду.
я на пательню плачу олією,
лишаю сніданок і йду у середу.
та чомусь нам на долю одні понеділки...
мені майже гірко,
твій дім лаїть невпинно
навіть коли за спиною ховаєш зірку
і кажеш, що зовсім я ще дитина.
гойдаєш мою колиску,
казки-снодійне
і якимось беззахисністю тана, –
до втечі млосно.
і стигла ожина з малюнків сина
нагадує гостро:
«ти вже доросла»...

НЕОКРЕСЛЕНІ СПОГАДИ

... десь у перестиглій м'якоті червня
осінь вже починає плести макраме.
бог твій молиться, їсть кошерне
і навмисно не бачить мене.
крізь німе перевтілення знову
осипаються здогадки їх.
ти вантажиш безформну полову
і збиваєш усміхнено з ніг.
хто би зміг заперечити липень
і сказати, що я вже сліпа?
від мовчання ще трохи до хрипу...
...з неба падає манна крупа...





ЗА СВЯТКОВИЙ СТІЛ

моя слухняність білою скатертиною,
створює тобі кількадедне свято
і прагне на фото відбитку.
дітям пробачають всіляки вибрики,
навіть розбиті глечики і серця.
ця темінь бере нас за свідків
власної неспроможності.
настій пекучих трав і різниці,
різниці у часі, в музиці
чи навіть у віці...
кордони вогких упереджень,
тому хто за нами стежив
було цікаво без крил.
ще трохи сонця
і втрюх за святковий стіл.

ПРИВЕРЗЛОСЯ

приверзлися поверхівки на вовчих лапах,
з вовчими очима
і з бетонною вірністю
майже вовчою.
і я здаюся собі занадто пророчою,
закочую рукава і хворію своєю уявою.
повільно вичавлюю привидів з мозку,
кидаю їх на підмостки, де їм не жити,
а потім чомусь усвідомлюю –
вони лише дикі діти.
мені б їх любити як рідна матір,
чекати їх з школи життя і смерті,
прощати те, що занадто вперті
і аж тоді відпускати...
а я проганяю їх, милих бісів,
зчитую магію чисел
і погляди недововчі.
білим малюю ночі,
світлі квартири чорним.
сіре хутро пригорне, затріпає серце –
приверзеться ж.

БЕЗ КОЛЬОРУ

невагомість зцілює липкий переляк,
знецінює доторки і причали.
нас зосталось ще трохи
і майже за так
віддаю тобі вік свій зухвало.
ми не числимось в списках
і жоден з...
існування довести не схоче.
все так само не бачу твоєї межі,
пропиваючи власну жіночність.
твої очі без кольору
і порівнянь –
білуватість обличчя без тям.
ми мінялись словами,
шукаючи грань –
поміняймося врешті тілами...





ДІВЧИНКА Космос

дівчинка зіткана з невагомості,
переплетена стрічками натхнення,
стоїть гордо на загубленій сцені
і декламує на вухо космосу.
розписи небачених квітів,
зігріті словами у грудях печери.
дівчинка з білосніжного паперу
нашіптує мені казки дивовижні,
малює зоряний пил,
вибираючись на вершину тижня.
слово її креслить кардіограму,
очами холод теплішає...
дівчинка Космос
знає мене віршами...

Андрей Мединский Киев

* * *

Может месяц еще, может меньше, и будет трава,
станет месяц над миром в окладе мерцающих точек.
А пока бездорожьем иди, руки прячь в рукава,
наблюдай, как земля наливается и мироточит,

как деревья молчат, но кора, разбухая, парит,
как, согревшись на солнце, их ветви касаются неба.
И во взгляде случайном читается: «заговори»,
но в гортани ледник и словами царапает нёбо,

и слова не выходят наружу. Но к черту слова.
А точнее, тебе и замерзшего слова не надо,
только видеть, как прячет ладони она в рукава,
для всего остального достаточно встретиться взглядом.

* * *

Мы столько пережили, что теперь
безвременье нуждается в подсчете.
Одно известно – наступил апрель,
дожди – по четным, сухо – по нечетным.

Белеет абрикос, вопят коты,
ты хочешь быть со мной, но мне не веришь,
и слово, проступив из немоты,
становится не выходом, но дверью.

Твой выдох останавливает смерть,
звучит и рассыпается на стансы,
но рифмы образуют смерч,
и по спирали движутся в пространстве.

И небо отрывается от стен,
течет в системе кровообращения,
скребется тихо в липком животе
лиловой лапой утренней сирени.





Андрей Орловский Одесса

Андрей Орловский – одесский поэт, писатель, основатель творческой организации «Бритва».

В течение 2010/2011 года Андрей организовал или принял участие как автор в более чем 120 мероприятиях: литературных вечерах, фестивалях музыки и поэзии, авторских чтениях.

Презентации его книги «[уметь стрелять]» прошли в Одессе, Николаеве, Киеве, Днепропетровске, Харькове, Полтаве, Херсоне, Кривом Рогу, Керчи, Москве, Белгороде, Санкт-Петербурге и др. городах.

Андрей Орловский постоянно выступает с чтениями и является одним из самых динамичных представителей современной украинской поэзии.

Позиционирует себя как представитель честной литературы.*

*http://vk.com/honest_poetry; <http://stihi.ru/avtor/dvigenie>

Они (Люди, которые мне неприятны)

I.
Политика. Терроризм. Реклама.
Торговля людьми и оружием.
Будущее? Фата моргана.
Они проповедуют равнодушие.
Не созидают. Не строят. Не рушат.
Они не мечтают. Они продают:
Квадратные метры на уровне моря.
Квадратные метры над ними выше.
Страницы в учебниках по истории.
Заводы. Подвалы. Крыши.
Пролеты и этажи.
Расскажи,
Пусть слова твои, как ножи –
Универсальный ответ
Этим людям в Бугатти и Фордах, –
Как ты злишься и хочешь купить пистолет
При виде политиков на бигбордах.
Так проданы души и города.
Так ухмыляются первые полосы –
Заказные лица газет.
Есть в новой «правде» правда? да?
Сомневаюсь,
но кому об этом
сказать хватит голоса?
Мне?
Тебе?

II.
Люди, которые мне неприятны
убили поэта Сергея Есенина –
Он плевал им стихами кровавыми в лица.
В струю всемирных репрессий влиться
Вышло у Бабеля –
Его кремировали в столице.
Пропал Мандельштам – тонкий художник слов.
В будущем, о котором пытался сказать
Расстрелянный Гумилев,
Убит Мейерхольд.
Булгина довели до отчаяния.





Ван Гог и Рембо умерли в нищете.
Пастернака травила партийная вертикаль.
Люди, которые мне неприятны,
бойкотировали Риффеншталь.
Люди, которые мне неприятны,
судили Иосифа Бродского,
сжигали тоннами книги.
Люди, которые мне неприятны,
вводили пехоту в Варшаву и Ригу.
Душили в Праге весну!
Они возводили Берлинские стены!
Они делали в храмах музеи
научного атеизма
и спиливали кресты!
Взрывали мосты!
Кидали бомбы на Хиросиму!
Строили концлагеря.
И голод стучал по вискам
Пустых площадей в Петербурге.
Может быть, я это зря?
Прыгаю по кускам
Обвалившейся исторической штукатурки?
Не зря.
Не зря вспоминаю и говорю
Про людей, которые мне неприятны.
Как они нарушали обеты.
Как пропиты и забыты клятвы.
Как судьбы ломали в борьбе.
Как открывали святые секреты.
Интересно, а были ли неприятны
Все они сами себе?

Злость разъедает людей,
как финка распарывает брюшину.
Нечего больше злиться
и мстить.
Пусть свою душу мир залатает.
Давай, планета:
Любите, женщины!
Мужчины, будьте мужчинами!
Я сознался уже во всем –
нечего искать виноватых!

Как, возвращающиеся с трех смен домой,
черные
сажей зачеркнутые
рабочие
люди.
Смойте всю копоть
Всю гарь
Всю боль.
Второго шанса у нас не будет .

Станем чище.
Откроем правду.
Станем светом.
Забудем тени.
Возьми за руку того, кто рядом.
Возьми за руку того, кто рядом.
Возьмите за руки всех тех, кто рядом.
Пусть так будет хотя бы мгновение.





Аня Грувер Донецк

Бездомному почтовому ящику

...Сон мой осыпается песком, стекает в трещины плит.
Старый тополь я называла Польша, от него остался обрубок.
Мистер Н. смотрит на меня поверх очков и говорит:
«тебе нужно заклеить скотчем крест-накрест губы».
Пойманное отражение в книжном его шкафу отвечает:
«Вы не правы, нужны только швы, йод и пластырь».
Отвернувшись к окну, он запивает ухмылку чаем.
Мальчик-пастух растерзан волком, и пастор
отчитывает его в полдень. Овцы целы, а гроб заколочен.
Мистер Н., не повернув головы, закрывает форточку.
«Твоя мать разбила напольные часы, между прочим».
Тишина взрывается. Я сползаю с кресла на корточки,
утыкаюсь в колени лбом и считаю морщины пола.
Вертит кольцо: «...что ты сводишь ее в могилу,
что ты чудовище, что это по счету твоя восьмая школа».
Прошлым летом под корень разрушили нашу виллу.

--

Подвернув до локтей рукава мальчишечьей куртки
и заправив потертые джинсы в кеды, я бреду по кромке
берега. Я втаптываю в рыхлую землю осколки, окурки.
Небо разбухло, почва разбухла, веки разбухли! Сколько
водоворотов в реке? Руку царапает острый ключ,
я чувствую вместо него под пальцем – курок.
Вечер под крики птиц и охотников тонет в обрывках туч.
Голос мистера Н. в ушах: «детка, всему свой срок».

После уроков я задыхаюсь каждый день в его кабинете.
В письмах я остаюсь вместо инициалов – точками.
Матери надоело рвать мои петли, снимать с табуретов.
Томми вернулся из армии. Вырос и прочее-прочее.

--

Мистер Нильсон мне шепчет, что все это – просто истерика.
Мистер Нильсон держит так крепко, все это – глупая паника.
Одна рыжая девочка много врала, а я еще верю ей.

В общем, такая осень у нас в королевстве.
И подпись: твоя Анника *

**...Мальчика зовут Томми, а девочку – Анника. Это славные, хорошо воспитанные и послушные дети. Томми никогда ни у кого ничего не спрашивает и без пререканий выполняет все мамыны поручения. Анника не капризничает, когда не получает того, что хочет, и всегда выглядит такой нарядной в своих чистеньких накрахмаленных ситцевых платьицах.*

...Только две вещи взяла Пеппи с собой: маленькую обезьянку, которую звали господин Нильсон – она получила ее в подарок от папы, – да большой чемодан.

(Астрид Линдгрен)

Игрушки принца

Прощай, декабрь.

Прощай, my dear, я не буду тебя провожать, впрочем, я тебя и не встретил –
этой ночью я бледнел на балконе и крошил птицам не хлеб, а пепел,





этой ночью соловей приносил мне розу, я нашел ее закладкой в страницах,
этой осенью журавли кружили мертвыми петлями, а дуры-синицы
рвались с поводка. И я – засыпал под утро, под длинные гудки, под саксофон,
снился поезд, в поезде – ты, одни наушники на двоих, опустевший вагон,
я не слушал, что играет на бесконечном повторе и какая станция, я твердил,
что до сих пор люблю тебя, что, слышишь, всегда тебя любил,
и читал в твоём молчании насмешливое: «твое всегда – гуттаперчивое»,
ах, ты моя соль-фа-ми-лая, ах, ты моя ля-ре-до-верчивая.

И ты пишешь мне: не ломай шекспира, он и без тебя в гробу, будто мельница,
и ты пишешь мне, ты пишешь мне это, и мне, о my God, мне не верится,
и на следующий день я шлю всех к чьей-то матери, и я пью из горла в полдень,
кто он? имя, сестра, имя!, бравый солдат, учитель пения, друг брата Холден?!

И часы бьют в гонг, а мне слышится тишина и ты, в тишине - campanella.
Эти томные барышни на полях пишут имя, рисуют сердце, вонзают стрелы.
И их губы – ядовитые яблоки (свет мой, помилуй, зеркальце!), съешь меня,
самый глупый из семи гномов, съешь меня!
И за что мне – ты?! Почему ты – та же, ты – прежняя?!
Я смотрю на них – и мне видятся отвратительные старухи.

--

Все придворные ходят на цыпочках.
Принц не в духе.

Прятки

Ты вдыхаешь дым, шуришься в небо. И выдыхаешь
(новый шов, стежок):
я хочу, чтобы ты заблудилась, а я тебя – понимаешь? – нашел.
Я хочу, чтобы ты сбилась с ног и упала. Выпачкалась в траве
и земле. Чтобы держала курс на запад, но повернула правей.
Чтобы металась от дерева к дереву, звала меня – зверем.
Чтобы сначала предала, потом вернула то, во что верила,
прокляла, отреклась, замолила, разбила и склеила.
В корни вгрызаясь, ломая руки, в бессилии, в птичьей клетке,
обрывая ягоды волчьих, связки, воротник грязной рубашки, тонкие ветки,
бредила бы истошным:
любимыймойлюбимыйненавидимыймой.
Красная шапочка, забывшая маму, адрес, дорогу домой.
Ветер влетал бы в волосы сорняки, змей, паутины нити,
ветер нашептывал бы на ухо: «разве ты хочешь выйти»,
а ты вроде была бы и не слишком уверена,
но отвечала бы: «двери мне подайте, двери мне!»
Ну же, зови меня, милая, зверем,
падай на землю, замерзай насмерть, становись немой.
Тынемоймоймоймоймойнемой.
Я бы поднял тебя на руки, холодную, болотно бледную.
Беднаямоямоямоябеднаямоябеднаябедная.

Я хочу, чтобы ты заблудилась, а я тебя – понимаешь? – нашел.

Волк

Сколько ночей, Волк, ты провел у ее постели, сколько ночей?
Волк, ты заменил не одну добрую сотню сиделок, врачей,
да ты, разрази тебя гром, был заботлив, будто бы моя мать!
До времени поседевшая – она заправляла мою, Волк, кровать,
мерила лихорадку мне, осени и шажочками нашу клетку –
а там, Волк, поверь, ты и шага не ступишь – выпей таблетку,





миленький, маленький, маленький, миленький, что тебе стоит,
Волк, посмотри мне в глаза, Волк: она без тебя не завоет!

Сколько миль, Волк, ты волок ее на своей спине, сколько миль?
Волк, очнись, Волк, у тебя во взгляде – полный штиль и пыль,
рыболовная сетка, узор на скатерти, паутина, Волк, на ресницах,
Волк, ты еще веришь, что она тебе померещится или приснится?
Я увезу тебя за сотню морей, Волк, там водная гладь да тишь,
Волк, прекрати дрожать, Волк, я не выношу, когда ты дрожишь,
Волк, если ты дрожишь – значит, все кончено, навсегда, значит...
Волк, ты не изменишь этого, Волк: она без тебя не заплачет!

Сколько писем, Волк, ты написал в пустоту, сколько писем?
Волк, ты знаешь ломаную геометрию с ее биссектрисами,
захлебываешься книгами, но ты, Волк, непроходимый дурак,
если готов согласиться и снова, Волк, погляди, догорает маяк,
Волк, ты ведь был старый грубый моряк, помнишь время, Волк?
Мы выкуривали все печные трубы портовых городов и фолк
звучал из каждой дыры на нашем гордом добрейшем корыте,
Волк, когда ты поймешь, Волк: она с тобой разрывает нити!

Сто лет одиночества, Волк, сто лет и два с половиной месяца.
Сто лет одиночества, Волк, в темной камере под лестницей.

Варя Перцева Одесса

Шаман

Переломив луну надвое
над воем ветров
в ров самолетных инверсий
сей же планетность слов!
Расплескай омолочность пути,
сокрой следы presto пленения,
заматай цепи звездных следов...
Изрукавьем туманно-рассиной
выщеди, высади, раструси
осадком на небеси...

Приходишь рассветом-странником,
взор твой скрывает реснично
Ф.И.О. да прозвище-ник.com,
предвестники пыли дорог
ра-дугой цветно-безличной.
Где ветер? где, о Стрибог?
В тополиной метели и вьюге?
Волной торопливо-упругой
нагоняет на щеки соль?
Кристаллы – ледово-торос
зрачок-ноль-Уроборос...

Заглянул в мракодырие времени.
Полыхнуло прозрачным в лицо,
ты коптил над ночью днение,
шептал заговоры Отцов.
Нагонял на светило облако,
отнимая в глаза небеса,





кинжалом молния окликом
принялась искры кресать...
Разряд...горизонт-линия ЭКГ
будто поезд в огне БГ.
Разряд...сердце гремит
треснуло небо в дуге...
Ноги шамана дрожат
губы больны огнем
губы влажны дождем
Сердце грядую гор
Ливень решил знойный спор

ЛиС

Там, где любовь – ноль – выучен наизусть.
Ты мне желаешь сновль, друго-обнажает грусть
Завязала платком глаза-не в силах помочь спине,
лечу изучая душу твою географично.

Сердце мое многокомнатное по секторам.
С днем каждым здесь все больше чем там
Губами ловлю сигаретную дурь тумана
слизываю крошку сахарную с луны экрана.

Луна...Луна...Дорогая таблетка...
В лучах солнечных-прутья клетки
ночью – выплескиваюсь на свободу
начиная заканчивая с середины
рождаясь в обликах магазинов
очетырехчеловечный мир
ты выиграл сердце мое в тир.
Прицельно винт-ов-кой. у входа
На табло – частота твоих сердсвий
испортится яблоко, как погода
пей меня
но
не
пере-у-серд-с-т-вуй

Евгения Баранова

Ялта

Евгения «Джен» Баранова – поэт, прозаик – родилась 26 марта 1987. Родной город – Ялта.

По образованию магистр информационных управляющих систем и технологий (СевНТУ).

Среди прочего: финалист Международного лит. конкурса «Илья-премия», 2006; победитель Международного лит. конкурса «Серебряный стрелец», 2008 (Поэзия, 2-ая премия); победитель Международного лит. конкурса «Согласование времен», 2010 (Поэзия, 3 место); победитель Международного конкурса короткой прозы «СТОСЛОВИЕ», 2010 (Проза, 2-ая премия). Модератор портала ЛитФест, активный участник ЛГ СТАН. Книги: «Зеленый Отсчет» (2009), «Том 2-ой» (2012). Кроме литературы привлекает музыка, живопись, кинематограф, handmade. Официальный сайт – <http://hoagoa.org.ua>





Libera me

Libera me, Domine, de morte aeterna in die
(Избавь меня, Господи, от вечной смерти)

Гроза. Или гром. Ничего не осталось.
Точнее,
осталось совсем ничего.
Мы прячем глаза, как посуда усталость,
как прячет состав пожелтевший вагон.

Мы учимся плыть, избегая Гольфстрима,
мы учимся знать только физики зуд.
Я больше не буду
(до бреда любима).
Ты больше не будешь
(оставлен редут).

Мы больше не станем – не бросим, не вспомним.
Не выйдем на улицу пить каберне.
Гроза. Или гром. Ненавижу! Довольно!
Приходиться плакать в подушку стене.

Приходиться быть – карамельные волки,
плохие товарищи, старые дни.
Послушайте! Блок не встречал незнакомки,
Вертинский не мучил тоскою винил.

Гроза. Или гром. Безнадежная Анна
ложится под поезд от братьев Люмьер.
Любви не бывает. Подарки, реклама.
И добрая жизнь на кредитный манер.

Хемингуэй

А я нашла Хемингуэя
в одном донбасском городке.
Он не любил духи, коктейли
и флирта долгое пике.
За неимением другого
играл, конечно, в world of tanks.
А мир искал дворами слово,
определяя трезвых нас.
А мир был честен и отчаян.
И предсказуем – вопреки.
От тишины горела тайна
и догорали мотыльки.
От тишины сквозили чувства,
как дверь бюджетного жилья.
Луганск. Развалины. Искусство.
И никакого бытия.

Идти

Я иду много лет,
я устала идти.
Этот призрачный бред,
позабывтый в груди.



Этот горький восток
ямщиками изрыт.
Пожелтевший листок,
убеленный гранит.

Занесенная чушь,
заостренная страсть.
Я иду – столько душ!
Я мечтаю – упасть!

Я иду – я иду – я иду – я иду.
По холодному льду.
По голодному льду.

Отгонять рукавом и тепло, и покой.
По бокам – никого,
кто бы рядом со мной...

Ненасытность дорог!
Неизбывность пути!
.....
Хоть куда-нибудь, бог,
разреши мне прийти.

* * *

Тем временем мне стукнет пятьдесят.
Кого еще бессонница сточила
до тишины,
до лаковых заплат,
до горечи хозяйственного мыла?!

(Забывчивость!)

Смешные сорок два
придут на встречу
папиросой гиблой.

И гордости зеленая трава
перерастет в терпения палитру.

И вечный бой.

И времени войска
уже спешат,
захватывая Польшу.
Мне двадцать пять.
Столетье у виска.
И ни минутой, ни секундой дольше.

Belle Époque

А я была живой и глупой,
как виноградная лоза.
В империи не падал рубль
и не рождались голоса.

Не шли румяные соседи
на гимназисток посмотреть,
и наблюдательные дети
не озадачивали смерть.





И Петербург,
от вальса белый,
и кровь угадывал закат.
А я была живой и смелой.
Сто двадцать лет тому назад.

* * *

Мой первый муж
 (он трудный самый)
мне говорил – умрём
 вдвоём.
А я его любила, мама,
как старенький аккордеон.

Как вечера на кухне общей.
Как чая благородный чад.
А я его любила...
 Больше
об этом вряд ли говорят.

И так легко,
 светло,
 упрямо
цвела под ребрами свирель.

Я так его любила, мама,
как не люблю его теперь.

* * *

Эми Уайнхаус там же, где Дженис Джоплин.
Там же,
где Маяковского гром-строка.
Не сомневайся: мы безусловно сдохнем.
Лучше подохнуть – с песнями у виска.

Лучше подохнуть – с книжками-ветряками,
Сжатым кинжалом, как госпожа Корде.
Лучше толкаться, врать, умирать стихами,
чём проходить комиссии и т.д.

Лучше нестись по ветру, как лист влюбленный,
с собственной кровью смешивая разлом.
Байроном, Блоком, Beatles, Наполеоном!
Только не тенью за голубым столом.

* * *

Может, я была святой
(прочитаешь – душой),
своенравной и пустой,
как приток Амура.

Может, я плела силки
словом темнокрылым.
Были радости – горьки.
Шёлкова – крапива.

И глаза теряли счет
соли караванам.
Уходила – как почёт.
Возвращала – страны.





Выгорала – добела.
Разбивалась – в дольки.
Я жила! жила! жила!
я жила – и только!

Лермонтов – пишет

Лермонтов пишет:
– Литература
напоминает балет на льду.
От Оренбурга до Сингапура.
От Вашингтона до Катманду.

Лермонтов пишет:
– Ломайте перья!
Мир совершенен – исхода нет.
Перебиваешь дуэль дуэлью,
но попадаешь под пулю.

Лермонтов пишет:
– Любви изнанка
слишком похожа на анекдот.
Лезешь упрямо в чужие санки.
Жаждешь упрямо чужих щедрот.

Лермонтов пишет:
– Устал, теряюсь.
Музы
указывают на дверь.

Недобровольно расправив парус,
вечно обязанный вам Michel.

Евгения Бильченко

Киев

Скайп

ЛенКе Воробей

Выключи свет, – и в душу войдет рассвет.
Выключи душ, – и в окна войдет вода.
В даканье общем мы – это то, что «нет».
В неканье общем мы – это то, что «да».

Каждый лонг-лист нас вытолкнет мордой в шорт-.
Каждая смерть нам выплеснет две по сто.
Сердце не лжёт...
Не ржёт.
И почти не жжёт:
Просто оно – большое, как черти что.

Просто на нем проставлен особый гриф:
Каторга, гетто, лагерь, апартеид...
Кровь на крестах – чиста, как банальность рифм:
В ней, очевидно, вечность и состоит.

Можно винить менял и пенять на век.
Можно купить травы и поджечь тротил.





Маленький гений в стриженной голове
Дреды себе до пояса отпустил, –

И наступило лето: тоской тоска.
Некуда деться: рядом – жульё, новьё...
ЛенКа, придумай Питер и Шевчука:
Всё остальное небо – уже моё.

Каждое поле мне выстилает мак.
Каждый париж меня подрывает с крыш.
Ты говоришь: «Я помню, как ты и Макс...»
Я говорю: «Ты помнишь, как я и Крыж...»

От сигарет у скайпа бледнеет скальп.
Гарь прорастает ландышем по судьбе.
Нам остаются Библия и вискарь:
Мне их вполне достаточно...
А тебе?

Главное дело – переступить межу,
Чтобы утратил смысл болевой порог.
Я прихожу домой – и не нахожу
Дома, который Джеку построил Бог.

Мы никогда не встретимся.
Даже в снах.
Ты, засевая смех, соберешь свой плач...

А на моих дебильных похоронах
Будет играть одесский седой скрипач.

Олдовые

Виталию Ковальчуку

*Они вошли туда. Но четверо.
Юрий Крыжановский. «Страна Беломория».*

Мягчают утёсы. Мельчают характеры.
И шторм отступает, прикрывшись моллюсками.
Давай поохотимся на птеродактилей!
Давай поиграем в свою революцию.

Ты помнишь, как Там, в мезозойской расщелине,
Змеился ручей, выползая из черепа?
Мы дрались с богами.
Мы жаждали мщения.
Нас было, по мифу, естественно, четверо.

Но миф разлетелся – легендами – в стороны, –
И мир раскудаhtался лаем онлайнoвым.
Кружатся над кладбищем старые вороны...
Дебильные дети жонглируют «лайками».

Они изрекают смешные нелепости:
Наташеньки, Сашеньки, Машеньки, Оленьки...
А я, – как осколок, разрушенной крепости, –
Лежу против ветра ногами на Ольвию.



На мне – остывает гранитное месиво.
Во мне – разгораются ночи Кабирии.
Великая, мать ее, сука-поэзия
Проникла в Систему – и в ней мастурбирует.

Но мы не подвластны, по воле Создателя,
Компьютерным герпесам времени куцега...

Мы снова охотимся на птеродактилей.
Мы снова играем в свою революцию.

Березка

Меня хоронить не смейте
Под липким свечным огарком.

Всю жизнь я играл со смертью,
Как дети – с чужой овчаркой.

Она у меня – вторая,
А первой – уже не вспомнить,
Но обе – не умирают...
Хотите, я вам исполню

Драконью кантату флейты,
Которую слышат скалы? –
В них девочка с красной лентой
Так долго меня искала,

Взрывая лавины эхом,
Стирая ладони воском,
Слезу присыпая смехом, –
Что стала она Березкой.

Не надо ни стен расстрела,
Ни плит ледяных и гулких!
Меня привяжите к белой,
Костлявой ее фигурке.

И пусть, поджигая планку,
Костер наш пребудет ярким...

Но только не смейте плакать
Над липким свечным огарком.

Харьков

Вытаскивавшим меня:
ЛенКе Воробей, Максу Самокишу, Натахе Лощеновой

-1-
В переулке бредит пьяный гопник.
Три козла изображают готов.
К жарким плитам прилипает голубь.
По сельпо блуждают идиоты.

Лаем заливается собака.
Дышат гарью крашенные феи.
Утро... Урки... Воздух пахнет шлаком.
Потной пылью плавают музеи.





На своих фатальных тридцать с гаком
Я смотрю сквозь дерн лучей и грязи
На табличку с надписью «Булгаков»,
На табличку с надписью «Каразин»...

Вижу дролю мертвого в костюме.
Вижу Юрку в ангельском уборе.
Где-то в интернете кто-то умер.
Родилось под Коктебелем море...

Горе.

-2-

На дружеских кухнях ночь – это способ дня:
Сиди и кури свой виски, как тяжкий крест.
Наступит момент, когда обожать меня
Вам тоже, при всем желании, надоест.

Натаха, Максим, наверное, мне – хана.
Сказать «все о'кей» не можется, – хоть убей.
Вы знали его, вы знали его («Вы зна...» –
Сорвала бы здесь великая Воробей).

В глазницах домов – зрачки похоронных урн:
Красивая смерть проводит большой парад.
А там, в небесах, шумеры из царства Ур
Построили мне божественный зиккурат,

Составили Книгу Песен.Закрыли счет...
Там Горе Мое в гробнице покоя спит.
А я еще здесь (вот блядство!), я здесь еще:
Сижу по углам, прикончив табак и спирт.

На дружеских кухнях долг – сторожить зарю.
Я пью за Живого, чокаясь, – в этом суть.

За то, что меня спасали, – благодарю.
Простите меня – подонка, – что не спасусь.

Игорь Колтунов

Киев

Родился в благодатном июне, в Харькове. Магистр журналистики. Член «International federation of journalists», Национального союза журналистов Украины, а также участник сообщества ВКонтакте «Мы ненавидим, когда поручни в метро едут быстрее эскалатора». Работал журналистом на большинстве Харьковских каналов. Был ведущим новостей и выпускающим редактором новостей «Вісті» на ТРК «Фора». С 2011 живёт в Киеве, по вечерам наслаждаясь пением борщаговских пьяниц. Журналист программы «Агенты Влияния» на канале НТН. Ждёт человека из Кемерово.





* * *

Плетется тень покорной сапой,
Меж желтых киевских окон,
Кросвордами чужих имен,
Рождают литеры: ТАТЬЯНА
И мирром наполняют сон.

* * *

Возбудить уголовное тело
Двухрублевым седым кофейком,
Мимо тапка, как старый Акелла,
Наступить на кота босиком.

Все здесь вымерло, дальние дали
Подытожил неровный забор.
И забытые ею сандалии,
Одиночества теплый укор.

Фуэте между стулом и стулом,
Круг почета: в киоск и домой.
Возвращайся с полуденным гулом,
За моей нерадивой душой.

* * *

Години перешіптуються тишком,
Руйнуючи усталеність стару,
Секундна завмерла, вагається звабливо,
Проти годинникової йти

Заради миті зустрічі з тобою,
Заради лоскоти майбутніх доторкань.

* * *

СУ СІ ДИ збожеволіли напевне,
Крізь гуркіт стель жевріє літера осяйна ТЕ
ТЕ БЕ люблю стоденно,
Сто перший день являє забуття
В якому сам не свій. Даремно.
Говорю подушці неказані слова
Тобі, твої, до затишних долонь.

* * *

Гуде крізь сон у морок ночі
Слухняний потяг вдалечинь.
Мене від ТЕБЕ. Поза очі,
Але кохання твого тінь,
Мені ім'я твоє шепоче.

* * *

Сонная пассажирка,
Тусклый ночной уют,
Тут тарелка и вилка
Гимн пустоте поют.

Тут неведомы дали,
По пути в никуда,
Солнце с луной украли
И не вернут никогда.



Ксана Коваленко

Николаев

Монолог выпавшего снега

Голодным белым псом
Глодаю кость зимы я,
Остовы городов, скелеты мостовых,
Пока клюют грачи –
Босые и немые –
На сотню голосов рассыпавшийся стих.

Ищи себя во мне,
Замерзший горожанин,
В ристалище моем среди дебелих птиц.
Вдали от теплокровных,
Душевных, душных спален
Писатель ты моих нехоженных страниц.

Губитель белизны,
А я тебе – бумага,
Стерплю твои следы, снесу твои слова.
Мне длиться миг один.
Пиши во чье-то благо,
И я уйду затем поспешно в никуда –

К другим голодным псам
С замерзшими глазами,
И буду им читать, и выть, и петь, и лгать.
И ты захочешь сам
Обманываться с нами
И вечности скулить, и вечность охранять.

Бездна

и бездна, мой болезный визави,
в меня глядит тревожно и фальшивит
пока я храм свой строю на крови
неся себя, как знамя или вывих
а тело – в бурых пятнах перевязь –
еще не белый флаг, раз не добито,
в нем ноет, по артериям змеясь,
как конский волос кем-то там зашитый,
несбыточный нездешний новояз –
не скажет бездна: все теперь мы квиты
домой не пустит, вслед ехидно щерясь,
пока мой голос вдоль обрыва вывит
и правит незаконный свистопляс,
неся бесстыдно небу эту ересь.
а небо бездногато до основ,
и бесновато мне от новояда
гортань уже не помещает слов
гортань уже ни в чем не виновата
когда язык идет из берегов
и хлещет ухом горлом носом стих
и пустоту собой переполняет
а бездна все поймет и все простит –
о чем она вот только вопрошает?





Дерево

Господь меня узрел:
Я на земле лежал.
Я зрел. Во мне произрастало дерево.
Трещали кроны,
и лесной пожар
сожрал меня уже оцепенелого.
И было дымно,
влажно и легко,
курили облака мой дым мигреновый.
И камедью слеза
из тучных облаков
янтарно оплывала на расселинах.

Я – желудь
со столетней головой,
меня втоптать легко в ваш ад асфальтовый.
Меня лудит и будущая боль,
зудит его любовь
с изнанки.

Во мне
невидимые птицы на ветвях,
и души не рожденные галдят,
как замыслом Его и было велено.
Под вашими ногами я – голыш,
покуда вдруг какой-нибудь малыш
во мне случайно не увидит дерево.

* * *

и вся эта кипень и выкипень,
словесная и звездная купель
кипела, вязла, пела, тпцась меня не выплеснуть.
осоловел апрель, а я была свирель,
я скороспела, обгоняла тень,
искала суть.
была я тростником.
лучистый мир тайком
мне сердцевину жёг, и чисто так звучали мы,
что червоточины и дыры городов,
каверны и пустоты тела моего
не уставали.
гоняли ветер вдоль и поперек,
вплетали голоса чужие впрок,
ловили души в сети и в ответе не были.
но теплый мир меня не уберег
от рук холодных,
от знобящей небыли.
и режут лезвия созвучия мои,
и тянут голос мой, на ноты раскроив,
и лакируют тело, и зовут сирингою,
открыты всем ветрам мои уста,
но суть уже глуха, пуста,
у флейты или же сурдинки.
дышать и жить
дыханием чужим
(а голос вытек сквозь порезы жил).
и костным свистом звать мне остается
все души всех живых



и прах всех мертвецов
туда, где всё закончилось,
где всё еще начнется.

* * *

Похвали меня, враг мой, еще, а я, может, спляшу
Тебе танец неистовый свой вековой нелюбви.
Я станцую со стуком костей, со скелетом в шкафу,
До крови на ступнях и до боли в паху. Ну а ты похвали.
Не рассыплются камни за пазухой в стук кастаньет,
Не споткнусь, не запнусь на неверном летучем шагу.
Говори что-нибудь, здесь для правды и повода нет.
Ну, а я, выгибаясь змеино, как прежде, не лгу.
Покидала я кожу не раз – и на пальцах узоров несть,
Предавала я так, что монет не удержишь в горсти.
Но учила свой танец не под липовый мед и лесть.
И привыкла я только, чтобы противу шерсти.
И кусаю я свой искривившийся клюквенный рот,
И себя бью в живот, улыбаясь нездешнему там.
Я сама себе пряник и кнут, и себе кукловод.
Нас связала давно и расставила здесь по местам.
Не порвать эту нить, не уйти, не забиться в углу,
Улыбайся, мартышка, танцуй и играй до конца.
И не выдай ошибки, улыбки, аванса уже никому
И танцуй свой единственный танец в поте лица.

Ничего нового

чувство собственной важности не выдаст уже некролог
скупо будет молчать в свой дефис и глупые нолики
ты бы успел еще покутить напоследок как бог
но только судьба записала тебя в рамолики
и выступаешь уже на манеже с султанчиком
почти что ребенком в манеже в манишке и в тапочках
домашний тиран наполеон с тараканчиками
газеты в сортире по окнам анализы в банках
не помня кто тебя пичкает потчует с ложечки
телек жена нерожденное чадо такими отходами
будто растенья на этой планете закончились
ты глотаешь обиды и ожидаешь прихода
глотаешь свой камень последний беззубый кронос
и жрешь эту жизнь без начала конца и предела
ты всегда себя делал кого-то свергая с трона
кого же ты сделал и что с твоим ссохшимся телом
а помнишь с самого детства играл ты с сиренами
слонами из пены бессонной сиреновой мухой
потом ты поверил что все это глупо и бренно
и жил будто жизнь – потаскуха, и сам ты – под мухой.
а главного было два: только жизнь и чудо
а ты третий лишний. не понял уже и не надо.
но знаешь в тот день когда улетишь ты отсюда
заснет бессонная муха на темной оградке

* * *

мы застряли между душой и кожей
так что нет мочи сдвинуться
темнеем чернильными рожицами
в небо запрокинувшись
мы как пятна роршаха
читаемся богом неправильно





молимся на аллаха или госстрах
ходим маршрутом трамвайным
мы так рискованно невозможны
раскованны
что время ежится
наша кожа желтеет и скукоживается —
нам не может.
и не хочется что в сущности
дальше некуда
суки, сущности случайные,
человеки мы...

Лемерт (Анна Долгарева)

Киев

* * *

Натыкаюсь на твою футболку. Реву, и круги по векам,
до боли сжатым, и так хочется все обратно.
Только я не люблю, когда в квартире два человека,
оно напряжно и неприятно.

Два человека ходят, разбрасывают вещи,
гремят посудой, спать мешают друг другу,
от этого одиночество проступает на теле резче,
от этого нож так и просится в руку.

Просто когда нам с тобою жилось-игралось,
когда засыпалось в обнимку,
когда от нежности не выговорить и слова,
вот тогда мы с тобою были одним, моя радость.
А чтобы двое в квартире — я не люблю такого.

* * *

никого тут нет, туманная ночь белеса,
только разносятся далекие вздохи и стуки,
мама, я иду совершенно одна по темному лесу
и никто, никто меня не берет на руки.

никого, понимаешь, мама, ни к кому не приткнуться,
хочется реветь по-бабьи, но очень страшно,
мама, я же твоя хорошая девочка, я мою чашки и блюдца,
я люблю мороженое и черешню.

мама, это неправильно, чтобы хорошие девочки уходили,
чтобы вот так совсем одни пробирались по бездорожью,
мама, здесь точно есть злые волки и крокодилы,
одинокость схватила меня и держит в пасти бульдожьей.

мама, хорошие девочки легко теряются в мире,
когда с них снимают варежки на липучке.
это неправда, мама, что мне уже двадцать четыре,
мне восемь лет, и я очень хочу на ручки.

не кончается лес — как ни реви, ни беснуйся,
очень хочется водички и под одеяло.
вытираю сопли — только ты, пожалуйста, не волнуйся
мамочка, этого еще не хватало.





Любовь

Бинтовала рубцы и крепко сжимала зубы,
все стремилась куда-то с рассвета и до отруба,
убегала тайными тропами, погребам,
а за мной ходила маленькая девочка Люба
с острыми окровавленными зубами.

И во мне горело прошлое, словно хворост,
застывало улыбкой скособоченной, беспокойной.
Я училась стрелять на меткость, потом на скорость,
я посадила в эту девочку две обоймы.

А она за мной ходила, не отставала,
от нее не спрятаться было под одеялом,
по ночам она из меня выгрызала куски,
поутру я вставала, и все начиналось сначала,
и глаза ее были внимательны и близки.

Я ее травила ядом для тараканов,
я давила ее колесами автомобиля.
но опять я слышала, как шагом она чеканным
приближается, как руки ее пробили
тонкое стекло, выходящее в темный сад.

...нет, говорила я.
Не надо меня спасать,
не поможет ничья протянутая рука мне...

А потом я устала и села на старом камне.
слушая: вот неотвратимо, как прокаженного бубенец
подходит все ближе девочка с косичками-червячками,
вот сейчас дойдет и дождет меня наконец,
здравствуй, маленькая девочка моя Любовь.
И она подошла, и, дотронувшись еле до лба мне,
виновато поцеловала прощающимися губами,
и ушла такими легонькими шажками,
что совсем не оставалось следов.

* * *

Вот он идет сквозь толпу,
разлетаются полы его плаща,
вот от него сторонятся, а кто-то оглядывается, словно ища
что-то знакомое,
вот он идет, нескладный и длинноногий,
волосы развеваются от быстрой ходьбы и ветра,
человек, который носит в себе дороги
общей длиною в тысячи километров.

Они свернулись внутри него,
запутались сосудах путеносными,
они качают ветер по направлению к сердцу,
когда он идет – вокруг него пахнет соснами,
у него в глазах цветущее поле желтеется.

И когда он поднимается к себе, на второй этаж,
когда обнимает худую женщину с усталым взглядом,
его маленькая комната становится огромна и золота,
тысячи километров разворачиваются рядом.





Леонид Борозенцев

Винница

ФАНТАЗИЯ №367

Твоё мокрое тело
Выплёскивает на этой остановке
 проезжающий аквариум.

Это — твоя стихия:
Знакомые чешуйки окон поблескивают,
Отражая немигающий глаз
 всевидящего Солнца.

Щели парадных
Манят колышущейся прохладой кондиционеров.
Блесна раскалённых лучей прожигает воздух.
Пятиминутная остановка под ними —
 ловушка для дураков.

Ты это знаешь
И ускользаешь в тень деревьев,
Проплывая от одной аллеи к другой.
Город медленно:
 по выпцветшей травинке,
 по сухому листку
 умирает.

Но что бы ни случилось на этой асфальтовой сковородке
Вчера, сегодня и завтра — Ты выживешь,
Потому что Ты — умная Рыба,
А солнечный город в этой снежной пустыне —
Всего лишь плод моего воображения,
 белый мираж замерзающего человека.

Усталый двор
Ловит тебя выпученными глазами соседских окон
И, заглатывая широко раскрытым ртом моего подъезда,
Тащит куда-то вглубь,
В меблированную тину прохладной комнаты.
Ты как будто сопротивляешься
Этому покушению на банальную порядочность
И нарочно замедляешь шаг.
Но горячий поток, несущий твоё тело
Между зачем-то невпопад расставленных
Людей и предметов,
Сильнее тебя.
И вот ты поддаёшься
И, хлопнув входной дверью,
Кое-как успеваешь сбросить по дороге в спальню
Ненавистные туфли и душные объятия
Собственных шмоток,
Плюхаешься в рыхлый снег шелестящих простыней.

.....

На мгновение всё замирает,
И сквозь непомерно громкое
Тиканье твоих наручных часов за головой
Слышны лишь мерные поскрипывания
Вентилятора-подхалимчика.
Тебе кажется, что ты сошла с ума,
Потому что всё в комнате
Начинаешь видеть с закрытыми глазами:
Стены, потолок, картину, меня...





Нет, меня ты, пожалуй, не видишь,
Потому что я затаился в тебе
Маленькой солнечной рыбкой,
Ждущей условного всплеска реки,
Чтобы долгие сны напролёт
Плыть против течения
К верховьям твоего божественного одиночества
И потом, выбросившись на берег свечой,
Еще несколько мгновений дарить тебе
Тёплые искры своего угасания,
В котором уже зарождается
новый порыв вверх.

ПОРТРЕТ

/ДИПТИХ/

1.

Ты, цедящая время
Сквозь щели изогнутых ножниц, —
Настоящая,
Спящая в невоплощённом гареме,
В складках одежды хранящая нож, —
Падаешь ниц
В песню ночных берегов,
Где меж античных богов
И распахнутых ветром страниц
Спит распутившийся снег
У меня на ресницах.

2.

Вы мне не нравитесь...

Е. Баранова

Ты не нравилась мне, потому что
В неприкрытых глазах твоих — море:
Неприкрытое Мёртвое море
То, в котором не утонуть.

Даже если очень захочешь,
Даже если нырнешь поглубже —
В этом море с избытком соли,
И она выносит наверх.

Там, в соленых волнах не выжить,
Не спастись от морских ожогов,
Нахлебавшись беды их горькой
Не уйти к голубому дну.

Никого эти слезы не примут:
Ни корсаров, ни водолазов,
Ни отважных первопроходцев,
Ни богатых торговых судов.

Ты одна. В волосах твоих — ветер
И закатные рыжие блики,
И прощальные крики чаек,
И песок, похожий на пепел.



Марина Банделюк

Одесса

Дай мне проникнуть в твои мысли
Как в тебя
Моя шарлота до вчерашнего дня
Не-случайных объятий
И такие молнии между
Что не высечь из кремней
Не подходить ближе чем до полумесяца
Просто смотреть на тебя
И задышаться движением твоих бедер
На мне
Привычно
Не трогать руками
Апеллировать к аллюзиям на эдипа
И всяких инцестуальных других
Не пересекать грань
О которой не знаем
И засыпать каждую ночь в обнимку
Моя девочка
Моя жена или дочь
За стеклянными до пола окнами
Стираются грани пол и возраст
Можно играть в слова
И друг с другом
Зная что чувства безусловны
Независимо от
И пусть смотрят все жаждущие
Страждущие
На мой душевный эксгибиционизм
И жажду твоей недоступности
На то как ты сидишь на коленях
И обнимаешь за плечи
На твое невинное непонимание
А я буду пить каждый вечер
И целовать тебя перед сном
Пока папарацци фиксируют преступления
И спешат к своим заутренним первым полос
Утренних газет
Я буду смеяться твоей беззащитности
И учить всем уловкам
Для количества поклонников
Поклоняться твоей невинности
И курить в потолок
Наблюдая как ты раздеваешься вечером
Бесстыдно
Как перед своими
На твоих губах вкус вишни
На моих – всех исхоженных борделей
Где я пил с каждой встречной в неглиже
У тебя в крови приемы соблазнений
У меня кровь из спазмов удовольствий
Так идеально в запахе ночи
Комнаты со светом полной луны
Ловить отблески на твоей коже
И задышаться с каждым твоим шепотом
«спокойной ночи, папа»



* * *

Дождь

Это когда серое небо с утра и сутками так

Это когда болит голова

И лучше бы с похмелья

Это когда воздух пахнет холодом

А сердце тобой

Это когда не получаешь ответов

И проверяешь почту сотни раз в день

И в пустоте квартиры

Вешаешь на горло сотни замков в ряд

И вскрываешь их

Как вены

Тайной от самого себя и других

Когда проецируешь идеи

Трансформируешь реальность к ожиданиям

И молча отходишь в сторону

Становясь сторонним наблюдателем

Скрывая глаза под темными стеклами

Скрывая от посторонних глаз

Потусторонние движения

Дождь в моем городе

Дождь

И капли по стеклам как твои слезы

И моя улыбка как данность

Не требуется более

Дождь это когда так тихо

Что слышишь кровоток по телу

И хочется остановить

И стоит остановиться

И пропустить автобус с твоим именем

И уйти прочь с перрона

Кутаясь в шарф и перчатки

Дождь это когда смотришь в окно

А там чужой город

Чужие люди

И ты не знаешь имен

Названий улиц

Достопримечательностей

И не хочешь узнавать

Дождь это когда сигареты промокают

И ветер взъерошивает волосы

И дома переносятся из Канзаса

И кирпичи меняют на дороге

На любой цвет кроме желтого

И я выхожу под этот дождь босиком

Промокаю бездомным щенком на лавках

Не нахожу рифм

И устало возвращаюсь домой

Искать твой город на карте

Искать тебя в сетях удачливых рыбаков

И вычеркивать по строчке из головы

Расставлять книги на полках

Соглашаться на любую работу

Чтобы даже на сон не хватало

И не думать

Не думать

Сшивать лоскуты сердца в одеяло

Прятаться под ним от мира

И снимать замки по одному





Безнадежностью надежды
Которая обязательно разобьётся
На самые мелкие осколки
Прыгнув с крыши
В дождь

Марина Войналович *Кривой Рог*

«Стилет чи стилос?»

Стилет і стилос... Та предмова...
Стилет чи стилос? Що обрати?
Проте, єдина є умова –
Що до душі-то треба знати.

Чи шаблю до руки приймати,
Чи пензликами малювати,
Чи формули фізичні знати,
Про свою душу треба дбати.

І викарбовувать криштальну, –
Як найкоштовніши брильянти.
І напувать її віршами,
Та – рідну – все життя плекати.

За творчістю Є.Маланюка збірка «Стилет чи стилос»

Марина Киевская *Киев*

Памяти Башлачёва

Двадцать седьмой февраль
Время сплетает в кокон.
Память, тебе не жаль
Кухонных липких окон?

Смелость – прострелом глаз –
Бьёт, попадая в цели.
Пепел сожжённых фраз –
Лживая панацея.

Знаю, не вверх, а вниз, –
Так ведь намного проще!
Ржавью скрипит карниз:
– Голову не морочь мне!

Делая шаг к себе,
Не обойтись без боли.
Только душа в мольбе:
– Господи, дай мне воли...



Ветхий молчит завет.
Память – стальные сети.
– Кто же мне даст ответ:
Да на каком я свете?!

Сколько же лет – одно:
Верой кормить надежду!
– В ад или в рай – равно,
Главное, чтоб не «между».

Пусть ещё поживёт

Влажный март. Отпечаток рельефных подошв на продрогшем снегу.
И весна восемнадцати лет всё стучится в слепое окно.
Не весна, а почтовый. Повестка с призывом: отпор дать врагу.
«Да какие враги у него?» И сорвавшееся: «Нет! Сынок!»

Повзрослел в один миг, став и крепче, и выше, серьёзней, статней.
Только зрелость – не к месту прервавший твой смех – пережат желваков.
Эта юность – подснежник, который пробился сквозь льдины камней.
Не расцвёл – не сумел уберечься от острых морозных клыков.

Восемнадцатый март... Резкий голос стальной – торопиться велит.
Мамин хлеб, и завязанный наспех дрожащей рукой узелок.
Лишь бы только в родные глаза не смотреть. Он – не может – болит.
Время... «Стройся! Ровняйся!» А в рубахе зашит восковой ангелок.

Влажный март. Старый дом. Пахнет хлеб, да всё теплится в печке огонь.
На столе календарь – по четвёртому кругу ведёт свой отсчёт.
И к окну подошёл почтальон, сжав повестку о смерти в ладонь.
Но рука опустилась. «Ведь верит и ждёт... Пусть ещё поживёт».

Посленаркозное

Доктор! Вылечить надо душевный ринит...
Он запущен, на стадии финишной.
(Кто же мне постоянно ночами звонит?
Это бывший мой? Будущий? Нынешний?)

Доктор! Мне ведь остался один только вдох...
Может, Вы меня вовсе не слышите?
(Первый мой был – десантник, второй – скоморох...)
Ваши нити подходят для вышивки?

Вы умеете гладью и без узелков...
С лицевой – всё одно что с изнаночной –
По душе. (И не будет ненужных звонков.
Обращайтесь по номеру справочной!)

Доктор! Раны – зашиты, излечен ринит...
Как мне выжить с душевною жаждою?
(Всё равно – хоть звони – не звони – кровенит.
Для меня – никого. Я – для каждого).

Доктор! Крестики, нолики, яды в драже,
Сахар в ампулах, лёд – всё несите мне!
(И таблетки из Вашего блога в ЖЖ
На нервишки мои ненасытные).





Доктор! Знаете, я ведь – мечта-пациент, –
Вам по мне бы писать диссертацию!
(Мозг устал. Втихаря выпивает абсент.
Здесь цирроз. Ни к чему трепанация).

На моём вираже – предпоследний виток...
По душам? Было б с кем! Душегубы же!
Доктор, дайте мне, дайте мне жизни глоток!
Кислородом дышать – не могу уже.

Радужное

Насте Бовсуновской посв.

Радуга стелется по небу. – Что, загадала? – Сейчас загадается!
За руки взявшись, вприпрыжку бежим по протоптанной нами. – Скорей, к
реке!
Вкусный десятый июнь с абрикосовой зеленью жадно съедается.
Косточки – в белый листок – и кораблики счастья уносятся налегке.

Те корабли разошлись – год за годом – по разным заливам и пристаням.
Вдруг, убирая в запыленной гавани, слышу я, детство моё звенит –
В старой шарманке запрятан рисунок, что детской рукою подписан был.
Стёртые цифры и надпись на радуге: «Не забывай меня и звони!»

Вспомнилось лето в лимонном сиропе, – он делал его «прохладительней»,
Пригоршни божьих коровок – подброшенных в небо желаний, и наш секрет.
Я – к телефону. В преддверии счастья:
– О, будьте добры, позовите мне...
Долгая пауза. – Кто вы? Подруга? Настасьи уже пятый год, как нет...

Капли – гудки, на лице моём капли, и каплет с надоблачной падути.
Солнце сквозь тучи раскрасило полосы воздуха, весь семицвет граня.

Я теперь знаю, что с правого края моста позолоченной радуги –
В ситцевом платице взрослая девочка смотрит на землю и ждёт меня.

Ростислав Поляков

Днепропетровск

И лишь одной тебе известно

Те улицы, по которым ты проходила
Запомнят аромат твоих пышных волос.
Те дома, мимо которых ты с кем-то гуляла
Запомнят слова, которые ты говорила
мило и не всерьёз.

Улочки, по которым ты любила ходить часами
Запомнят тишину твоих губ и твое молчание.
Парки, в которых ты давала искренние обещания
Помнят цвет твоих глаз – они были карие.

Магистралы, по которым ты ехала стопом
Помнят твою улыбку, напоминающую
Лучи солнца, сошедшие с небосвода.





Проезжая город за городом,
Которые принимали тебя, как постороннюю
И мне кажется все те места незнакомые
Ты наполняла чем-то свежим и новым.

И лишь одной тебе было известно
За каким ты идешь горизонтом.

Ввечері тиша та спокій вкриває міста

Вдень місто буде наповнено життям
людей, з їх монотонними буднями
з їх суперечками, та розмовами про те,
що вже скоро зима, грудень.

Вдень місто не помічає зовсім нікого,
як і його ніхто. Адже досить давно
приїлись один до одного архітектура
та люди.

Та сприймають в порядку речей
ці старовинні будинки, затори та шуми.
але не бачать зовсім іншого:
посмішку дівчинки, яка тобі посміхнулась,
чи птахів, які кружляють днями повсюди.

Люди звикли кудись поспішати кожного дня
своїм звичним маршрутом. Звикли бачити
знайомі обличчя на все той же зупинці,
та дихати звичним урбаністичним повітрям.

Але то вдень.

Ввечері тиша та спокій вкриває міста.
самотня інфраструктура, де вдень
бились наче мотори серця, та чути було голоса
мовчить зараз на околиці міста одна.

Самотні кур'єри спокою поспішають на зустріч своїм снам.
немов бояться запізнитися, та пропустити казку
про яскравіше своє життя.
зупинки засинають в обіймах променів ліхтаря.

Місто спить, наче якесь немовля.
і тільки прожектори великих цехів
прострілюють своїм сяйвом це яскраве зоряне небо,
немов вирізаючи там свою світлу диру, яка потім зника.

.....

Місто спить та дякує за цю нічну легкість та тишу.
люди сплять та дякують за цю нічну легкість та тишу.
адже кожен знає, що скоро зійде сонце та настане день.

Плюсом

Якщо коли-небудь захворіти на амнезію,
То єдиним плюсом люба
Буде те, що кожного разу буду
Дивитися на тебе, так, як вперше,
Ніби знову пізнавати
Твою любов посмішку.





Твої милі та яскраві очі.
Сяйво твого волосся.
Вслуховуватися у твій
Легітний голос. По новій дивуватися
Твоїй відвертості
Та щирості.
Кожного разу
Немов вперше
Відчувати тепло від дотику
Твоїх рук та твоїх розмов.
Кожного разу
По новій і назавжди.

І знаєш, це буде єдиним плюсом від амнезії, люба.

Татьяна Лисовец Одесса

* * *

скороспелая
дикая
томно-многооконная
Я хотела бы быть твоим островом
погруженным в ладони песка
кинолентами дней
касаясь виска

* * *

Так охотно пуская в свой мир,
Так искусно обманешься верой,
Слыша голос чарующий лир
На конце острия. Лук и стрелы,
Незаметно года промелькнут,
Ты по-прежнему будешь собою.
Только кто-то, где любят и ждут,
На рассвете пройдет стороною.
Стал печален и тих твой приют.
Ты так любишь осенние ливни,
Но ведь что-то случилось... Поют
Твоим ветрам ночные приливы...

* * *

Хочется расплакаться
и выглядеть так же уверенно.
Хочется умереть –
И родиться заново...
Откуда же столько свидетелей?





Татьяна Самарина

Днепропетровск

отросли наши списки случайных и общих друзей
катавасия крестиков-ноликов в лестничных клетках
я сегодня проснулась твоей, абсолютно твоей
мысли сбились в клубок городов, голубей, кораблей
распустились на нитки и напрочь запутались в ветках

обещания ждать по совету уставших врачей
закипали как кофе на тихом подсолнухе газа
я сегодня проснулась твоей, абсолютно твоей
доверяя термометру, компасу, скрипу дверей
ощущая себя очень пре очень кр очень асно

красным полусухим на зелёный июньский пырей
выливались сомнения и уходили в корни
я сегодня проснулась твоей, абсолютно твоей
стала чуточку выше и даже немного взрослей
и под рёбрами стало гораздо светлей и просторней

она живёт в моём городе, дышит моей весной
выпивает в соседнем баре, спешит домой
разминает костяшки пальцев, уткнув в ладонь
поезда пролетят по встречной её немой
а в составах каждый вагон — он железный конь
а составы потом сольются в осиный рой
и построят улей над самой её головой

она работает там где я, только по ночам
она умеет молчать, там где я не могу молчать
вяжет тонкие шарфы, игрушки, другую чушь
что каким-то розовым куклам больше под стать
и кричит по утрам от кошмаров. и я кричу
и понять её некому, или хотя бы обнять
она садится на кухне к окну, продолжает вязать

она ездит в трамвае-копейке, он тоже мой
и балконами мы повёрнуты на недострой
где уже очень много лет не растёт бетон
и оттаявший снег исчезает грязной рекой
перед сном босиком выхожу покурить на балкон
и она на своём балконе курит босой
и составов-коней плотный улей над головой

шумный дворик тёмный, арка. на углу пиццерия, аптека
по брусчатке дождём растекается бронзовый свет фонарей
идиотская смесь девятнадцатого и двадцать первого века
затишающий шум туристов за плотной фанерой дверей

за фанерой, что сквозь коридорчик, переносит в пустую спальню
в леопардовый с голубым (совершенно глупейший окрас)
где в укромном углу кровать мы воспримем с тобой буквально
и в ответном режиме кровать так же мягко воспримет нас





наше лучшее время для сна — от полуночи и до обеда
где-то между лопатками нос и дыхания ровный мотив
я себе обещаю сквозь дрему, что с тобой я опять приеду
в этот город осеннего счастья, белокаменных львиных грив

я верну этот город внутрь своих самых цветных желаний
он тобой мне подарен, как чудо. он на память мне дан тобой

отпечатки стихов и улиц, неба-берега-моря на грани
и уютный наш уголок с панорамой на порт грузовой

я храню.

мыслей обломки.
я ему пряди.. я — дождь..
утро.
в подъезде чужом тонкий запах и сырость
хуже потом. когда ждёшь. и ещё потом ждёшь
сказки не будет. ты вырос, подсолнухом вырос

хуже теперь. он мне солнце, подсолнух, слова
поле убрали, мы так.. на обочине тонем
мокрая клонится солнечная голова
тянет к соседу подсолнечные ладони

адам сливаются строчки в единое «ты»
каждое утро вставать, твоим запахом бредя
что у нас было? фонтаны? в тумане мосты?
что у нас будет? — «куда там ещё мы поедem?»

что у нас есть? серый город, нечастый он-лайн,
редкие строчки тепла.
а мне надо бы ближе..
тихая радость по венам.. важнее всех тайн
то, что сегодня тебя ненадолго увижу

ФИО Лето Вий *Иргород*

На траутуаре

фаршный
каштаном голубь
на траутуаре

ранчоус недоудлинился
в МоПсКовеЛьвовe

скоро пойдёт СВЕТ

Родись во мне Ты,
Мати!
Тьмой!
Во чреве твоём мрак!
Я выйду на солнце!





Ты не знаешь,
каково это—
полюбить тебя раньше СВЕТа,
завязавшегося в тебе!

На Восток

Падать. Вниз.
Голо-вой ветра ноября.
Верх ромашковостью
солнца-облаков манит.
Корабля раблевистость
усугубля,
нос кормы удлиняется
на каждое Да/Нет
падающего, орлешкой
крутясь, рубля,
спасшегося
из моНЕТного аДА.
Капитал уснул у штурвалоруля.
За него правит глиняный Адам,
оббожженный паааадающей звездой,
на которую шел курсом
на Восток, на Восток, к той,
к которой в штиль корабль продвигал своим пульсом.

Безударный пульс

Теряется пульс во сне.
На запястье чья-то рука.
Я пытаюсь сниться мне.
Только боль от виска до виска

боронит меня от него
одержимием голосовых
неразорррванных берегов
взрывом кардиохрама в вых-

одневствующую ночь,
за которой веночен день.
И хотелось бы ей помочь,
да уже безударен сон.

ЧерноБЫль

Глаза смотрелись
-Морг- Морг- Морг

Скрипела качель в пустом дворе
голая, как ноябрь вокруг

на листопрокатке запада
шипела яичница солнца —
ужин Утра

шипела таблетка
снотворной луны
в си-не-бе





и билась птица
в оставленной клетке
на эн-этаже

оставленной
малогабаритки
оставленного города

как сердце его

Стучи...

Я ль с тв...

Ру чей это?

Н и з н а н к о ю небов,
н и с к р е н н е ю
летела птаха
телета плаха.

Простыня облаков скомкана
конвульсирующими
пальцами
счастливой навсегда
женщины.

С течением, Обь!
Сто Я ль с твоим одним ТЫ?

Мой.
Тебе.

Юлия Светлова *Винница*

Лиза

Лиза красива, умна, но совсем-совсем одинока.
К себе относится жёстко и слишком строго.
Никак не может оправиться после первого брака –
– Господи, это похоже на последнюю стадию рака!
Влюблена в одного мужчину, но играет чужие роли.
Там где много любви – обязательно много боли. –
В этом Лиза теперь уверена твёрдо и крепко,
потому мужчине Лиза звонит крайне редко.
Она звонит ему, когда совсем уже не вмоготу.
Когда одиночеством пахнет чуть ли не за версту.
Звонит, говорит – будем пить вино и горячий чай.
Ты мне нужен, мой мальчик. Пожалуйста, приезжай!
Мужчина прощает ей и «мальчика» и редкие встречи.
Не может дождаться, когда же наступит вечер.
К семи заводит машину, покупает вино и едет к ней –
он и правда рад, что сегодня он всех нужней.
Лиза встречает его при полном параде – накрашена и весела.
Наливает вино и чай, и всё вертится вокруг стола,
щебечет о чём попало и заливисто так смеётся.





Мужчина видит, как тяжело ей это даётся.
Он просит её – успокойся, Лиза, побудь со мной!
Сколько ни прикрывай тылы своей хрупкой спиной –
тебе нужен мужчина, Лиза, не я – так любой другой.

Всё в одну минуту меняется – Лиза уже не хохочет,
устало садится на стул, на котором редела полночи.
Говорит мужчине – послушай, только об этом не надо! –
и очень старается с ним не столкнуться взглядом.
Лиза роняет лицо в ладони, сутулит острые плечи
и повторяет тихо – не надо, не порти вечер!
Пожалуйста, сделай вид, что сегодня мы просто пара.
Он пристально смотрит на Лизу, крепче сжимает сигару
и думает про себя – а я ведь его бы казнил.
Того, кто этой девочке такую боль причинил.
Того, кто посмел обидеть, унижить и оскорбить –
его губы от напряжения похожи на тонкую нить.
Но, как много он про неё понимает, Лизе лучше не знать –
испугается бедная девочка и захочет сбежать.
Он ведь чувствует, как отчаянно она жаждет тепла.
Но слишком боится снова сгореть дотла.

Он целует её в запястья и мягко к себе прижимает –
как хорошо, что Лиза мысли его не читает.

Моя нежность к тебе...

Моя нежность к тебе тиха и осторожна – не спугнуть бы!
Моя нежность к тебе болезненна, невозможна... Наши судьбы
в случайном сплетении вдруг коснулись друг друга и вздрогнули... чшшшш...
Не выходи, не выходи за границы этого круга – я буду любить тебя,
когда
сладко спишь,
я буду любить тебя, когда злишься, когда молчишь, когда не приходишь,
когда бежишь
от меня. И даже когда не любишь больше...
Я стала тоньше. Тоньше, прозрачней, чище.
Ты... не меня ли ищешь?
Не меня ли искал эти долгие длинные годы?
На обломках скал и в глубоких водах, покорял города и взламывал коды.
И... нашёл. Можно выдохнуть. И вдохнуть.
Вдыхай, набирай меня полную грудь!
Знаешь, нежность – это другая свобода...
Сладкая, мятная и пьянящая...
Льётся радостно, будто горный ручей.

...знаешь, моя нежность к тебе – это такое счастье!
Пей её, пей.

Всё просто

Смотри – всё просто. Впереди – оконный проём,
густой и тягучий воздух, прямо напротив дом.
Вместо сердца, кажется, только никель и хром –
последние несколько лет ты даже дышишь с трудом.
Смотри – всё просто. Там уже точно ждут.
Сомнения – очень напрасный труд.
Последние несколько лет тебя оплетает спрут
и шею крепким узлом зажимает в жгут.
Смотри – всё просто. Ты ведь точно не трус.





Брось себя, как балласт – будет меньше обуз.
Последние несколько лет носить такой груз,
что от каждого шага слышится жуткий хруст.
Смотри – всё просто. Окно, тишина, высота.
Считаешь до трёх, но только лишь не до ста.
Последние несколько лет только одна мечта –
чтобы кто-то вместе с тобой досчитал до ста.
Посему – забудь мечту и считай до трёх.
Просто шагай – не ищи подвох.
Этот выбор вовсе не так уж плох.

Только там тебя встретит Бог.

Строго спросит – почему ты забыл мечту?
Это трусливо – вот так шагать в высоту.

И отправит тебя обратно на землю. Доживать.
Ты откроешь глаза в больнице, увидишь мать
и прозреешь – как же глупо вот так бежать,
если есть ещё что на земле терять.

Война

У него прострелено правое лёгкое, но он как-то ещё живёт.
Из неё достали две пули – шрам через весь живот.
У обоих ещё по парочке ножевых, но они не в счёт –
война между ними длится уже десятый год.
Друзья вздыхают – это не кончится никогда.
Из комментариев – только короткое «ммдаа...»
У неё вместо нервов оголённые провода,
а ему и с ней беда, и без неё никуда.
Иногда заключается перемирие, но срок у него невелик.
Максимум, на что их хватает – это миг –
вот он ловит губами на щеке её солнечный блик,
а потом с поля боя снова доносится крик.
Кто из них начал эту войну не помнят ни он, ни она.
Десятую зиму накрывает собой весна,
а они всё сидят в окопах без еды и без сна –
знают, как обманчива недолгая тишина,
непродолжительное затишье перед стрельбой...

У него взведённый курок, она считает пули одной рукой.

Но если в него прицелится кто-то другой –
она, не думая даже, закроет его собой.

Юлия Шипова

Киев

Связь

Ветер с залива зол, гонит волны по серой брусчатке.
Она достаёт телефон, с рук озябших снимает перчатки.
Дышит на пальцы замерзшие. Морщится. Шесть неотвеченных.
Три смс-ки со «срочно...», четыре пропущенных встречи.
Город смеётся ей вслед, скалясь красными черепицами.
Ингрид Ларссон сидит у воды, молча любит птиц.





Осень тянет тугой аккорд, красит склоны багряной краской.
Она смотрит, как лебеди гнут свои шеи, выходят с опаской
Из воды отщипнуть круассан, наклоняясь к ней, плоскими клювами.
Ингрид держит бесцельно ладонь навису. Я люблю его.
Когда солнце ложится лучом на его загорелые голени,
Пробиваясь сквозь шторы отеля в старом районе Стокгольма,
То я воском горячим теку по его напряжённому по телу.
Почему ничего нет прекрасней, часа сна в его тёплой постели?
Птицы сонно стоят у воды на упругих замёрзших лапах.
Время ватно, пьяно и недвижимо. Всюду запах, его запах...

Совещанье подходит к концу. В конгресс-холле в другом конце города
Пульсирует жизнь. Он доволен собою и горд. С чувством лёгкого голода
Отправляется на обед. Разговоры о бизнесе, выпивка, белые скатерти.
А она молодец, и ведь даже не будет искать его. Эти её деловые качества
Он ценит уже много лет. Его мышцы и воля в тонусе. Время в тонусе.
Даже стрелки на циферблате замирают в полной готовности
Подчиниться ему. Беспрекословно весь мир выполняет в точности
Все его прихоти. А она то и вовсе, как вся под него заточена.
Самолёт через час. Он пьёт кофе. И просит его рассчитать.
По прилёту сквош в восемь вечера. Хорошо бы не опоздать.

примеряли лето

А помнишь, как мы с тобой примеряли лето –
В ромашковых кружевах шёлковое бикини?
Ловили пугливых стрекоз, подставляя ветру
Соцветья ладоней, и, путая жизнью линии.
С нехоженных троп собирали к ночи сон-траву,
Чтоб лентами мягкие стебли вплетать в мои косы.
Ты снишься так больно, что ветви теряют листву,
К ногам её сбросив...
Всему
наступает
осень.

крокусы

Знаешь, Душа моя, этого вовсе не стоит бояться ...

В экстренных выпусках СМИ количество жертв уточняется.
Репортажи с мест катастроф с расшифровками чёрных ящиков.
Понимаешь, когда я так сильно тебя...
то со мною случается.
Над разрушенным городом небо кровавое скалится.
Сотни жизней разломаны в щепки и их не связать уже.
просто, когда я тебя...
всё схоже на апокалипсис.
Только я не о том.
Я хотела совсем не о том рассказать тебе.
На пятнадцатый день тишины,
огибая сгоревшие заросли,
Это, Душа моя, чудо!
Смотри!
через груды осколков,
из чёрных разломов земли пробиваются паростки
с беззащитными мягкими стеблями светлого шёлка.
Их махровые листья, сложили узор оригами,
и стыдливо дрожат лепестки под порывами ветра.
Здесь нужно ложиться на землю, касаться губами





шершавого бархата тёмно-лиловых соцветий.
И жадно вдыхать их густой аромат над застывшею лавой,
над притихшей стихией, сомкнувшей смертельные лопасти.
Мне не жалко
ни жертв, потерявших покой,
ни себя обезглавленной...

На безжизненно-серых холмах распускаются крокусы.

Варенье для Джуди

Пчёлы клубятся здесь роем, будто бы это их улей.
Никто не варит варенья и джемы вкуснее, чем Джуди
Бакстер, во всей округе. Подружки всю зиму ходят
На чай к ней и свежие сплетни. Искусница Джуди изводит
Ароматами ос и соседей. А чаще случайных прохожих.
Когда под пристальным взглядом своих восемнадцати кошек,
Низко склонившись, проворно, выставляет тазы на веранде,
Поправляя, пышное декольте. И сказать по правде
Её и саму разморило. Запах ли? Пасмурность ль эта?
Джуди уходит на кухню. У неё там свои секреты
Из старой поваренной книги, перешедшей ещё от бабки.
Джуди неровно дышит, теребит уголок закладки.
Ну, право же, что сегодня со мной? И большой деревянной
Ложкой мешает янтарную жидкость. Немыслимо пьяно
Становится Джуди Бакстер от этих мыслей навязчивых.
В висках барабанит неистово, едва губами изящными
Коснётся коварного варева, по нёбу текущего патокой.
О, Боже, прости прегрешения. Ответь только, где он? Как он там?
Джуди снимает пенку, на гладь зеркальную дует.
Сводит низ живота до боли, как только о нём подумает.
И корсет становится тесен, будто там камни. Пятится
Джуди к стене. Что ж я сделала дурного, Боже? По пятницам
Ходила на службу в церковь. У окна вышивала неделями.
Я, Господь, не хотела этого. Только что уж теперь поделаешь,
Если звука мне нет милее, чем скрежет его Роллс-ройса.
Вот он стучится в калитку набалдашником новой трости,
Вот он подходит ближе, вот он смотрит призывно и прямо...
Джуди мешает варенье. Ну, вот что бы сказала мама?

Лето идёт на убыль. Этот август прохладней прошлого.
Джуди садится в саду, окружённая тёплыми кошками.
Укрывается клетчатым пледом. Веки Джуди слегка тяжелеют.
Бог любит смотреть её сны. Они умиляют и греют.
Джуди с детства на Рождество получала лишь те подарки,
О которых она мечтала. Крошка Джуди легко и ярко
Умела желать. Было так забавно исполнять все её пророчества.
/Хоть раз бы додумал что-нибудь, но по правде, даже не хочется/.
Открывает амбарную книгу, вносит пометки для верности.
Джуди спит и во сне улыбается, зная эти закономерности.





Юрий Крыжановский

* * *

Зарядил теплый дождик.
Я, как в детстве, – по лужам.
Я – свободный художник,
И никто мне не нужен.

Не чужой и не близкий,
Никому не понятный,
Я, как будто в химчистке,
Вывожу ваши пятна.

Разгребаю коросту,
Вашу накипь на душах.
Вы не парьтесь, все просто:
Я шагаю по лужам.

Последний ряд

Жру водку и пью вино.
Бодун – уже не бодун.
Я ваше смотрю Кино –
В последнем сижу ряду.

Экран, где пестрит вранье.
Вещает ведьмак беду.
Над падалью – воронье...
В последнем сижу ряду.

Воистину, не секрет:
Мы в разных живем рядах.
Последний – всегда запрет,
А в первом таится страх.

Последний – и есть оплот:
Миг трезвости. Боль. Таран...
Я – именно тот пилот,
Кто врежется в ваш экран!

Плюю на любую власть.
Казните сто раз подряд.
Но вам не дано попасть
В мой самый последний ряд.

* * *

Смысл жизни утрачен.
Начинать всё сначала –
Слишком скучно и долго.

Этой ночью удача
В мои двери стучала:
Только что с того толку?

Разве я не мужчина? –
На замки и засовы
Запер двери от страха.





Депрессняк... И тусовку
Без особой причины
Посылаю я нахер.

* * *

Под ногами виснет небо.
По нему бегу вприпрыжку.
Я ещё не жил. Я не был:
Ты родишь меня, малышка.

Эта жизнь – совсем не сахар:
И гнетёт, и гнёт, и косит.
Ну, а папа – жлоб и пахарь –
Обязательно нас бросит.

Будет страшно нам и тяжко
Поначалу быть без перьев:
Недоваренные кашки,
Череда тупых истерик...

Всё – по лезвию, на грани,
К краю пропасти поближе.
Время разочарований,
Крыши сорванные... Мы же

На огонь летим упрямо –
Мотыльками, лишь бы к свету...
Потому я выбрал маму –
Психопатку и поэта.

* * *

Зашнурую ботинки,
Пригублю на дорожку
И уйду по тропинке
Я бесшумно, как кошка.

Боль бухлом не заглушишь:
Тяжело жить без кожи...
Помяни мою душу
И прости, если сможешь.



зарубежные ПОЭТЫ

КАНЦОНА





Александр Щербина	3
Алиса Знакомая	6
Амирам Григоров	9
Геннадий Креймер	12
Евгений Черников	14
Камила Назырова	15
Константин Комаров	16
Леонид Собченко	18
Лина Сальникова	19
Мара Шмидова	25
Мария Серова	28
Мария Хамзина	29
Николай Тимохин	31
Сергей Симанов	33
Фёдор Назаров	35
Яська Дрозд	39



ЗАРУБЕЖНЫЕ ПОЭТЫ

Александр Щербина

Москва

СДАЮСЬ. СТОЛИЦА НЕ ПО МНЕ...

Сдаюсь. Столица не по мне.
Я верю в древнее преданье –
Что вздрогнет всадник на коне
С простёртой пред собою дланью,
И с пеной каменной у рта,
Сметая полчища ОМОНа,
Прибьёт на Красные ворота
Рекламный щит: «Сдаю хоромы»...

Не скоро придет судный день.
Пока же с самого рожденья
Я верю в праздничную лень,
В любовь от головокруженья,
В неопалимую нужду,
В холодный жар гостеприимства,
В народов дружную вражду,
В мирскую благодать мздоимства.

Москва! Во дни чумного пира,
Скорбя неведомо о ком,
Я мог бы стать твоим кумиром,
Однако, с «Птичьим молоком»
Впитав иммунитет к обману,
Куда как часто гукал там,
Где быть звездой – не по карману,
А быть собой – не по зубам.
Назад! – В деревню, в глушь, в Саратов,
В Урюпинск, к чёрту на рога –
От парфюмерных суррогатов,
От дармового пирога,
Рвануть в бега, реветь белугой,
Забиться с головы до пят
В какой-нибудь медвежий угол,
Где много пьют и мало спят,
Где куры падают с насестов,
Объевшись пьяного зерна,
Где даже в винном пахнет детством,
Где дверь в домах открыта
Любому, кто сумел добраться,
Где шкет с коронкой под металл
Слышит певцом блатного братства,
Бренча «Владимирский централ»,
Где ночь морозна – аж до хруста,
Где скуден утренний удой,
Где в милом сердцу захолюстье
Я примирюсь с моей судьбой, –
За то любя свою берлогу,
Что, греясь между двух огней,
Не извращенец, слава Богу,
И, слава женщинам, не гей,
Не перепевщик модных блюзов,
Не теле-радио герой,





Не член каких-нибудь союзов,
Не Блок, не Байрон, не другой
Какой трагический поэт,
Познавший рок в молодые лета,
Не тот, кто метит в высший свет,
Не тот, кто рвётся на край света,
Не конокрад, чей путь недолог,
Не коновал, чей труд тернист,
Не культурист, не культуролог,
Не мега-энциклопедист,
Не иноверец, не попович,
Не принц воинственных датчан,
Не Робин Гуд, не Робин-ович,
Не шах иранский, не шаман,
Не шамаханская царица,
Не мальчик с дудочкой в руках,
Не оробевшая синица,
И не журавль на бобах,
Не раб заветных трёх желаний,
Не Крузенштерн семи морей,
Не постамент для обожаний
Капризной родины моей...

Не изваян в угоду камню
Ни старцем, ни богатырём,
Ни всадником с простёртой дланью,
Ни — на худой конец — конём,
Благословляю свой удел
За то, что, не беря за смелость,
Я был собою — как умел.
И был другим — когда хотелось...

ПРО СТРАУСА ЭМУ И МАЛЬЧИКА ЭМО

Страус мальчика не обидит:
Мальчик — эмо, а страус — эму.
Этому нет какого-то там научного объяснения.
Разве что где-то глубоко-глубоко в либидо.

Но тут — либо-либо, как в новом сезоне «Хауса»:
Либо уже любить, либо сдавать психоанализы...
А мальчик утром седлает своего страуса,
И страус к вечеру добегаёт до своей не своей Африки.

Небо в Африке такое старое, что больше уже не старится,
Солнце почти не заходит — как всегда на экваторе,
Мальчик-эмо не любит солнца, но любит страуса,
И страус прокалывает себе левую бровь,
Поскольку так нравится мальчику.

Ночами они сидят и смотрят — куда кому хочется,
Вместе курят какие-то листья, свёрнутые тонким пальчиками.
А ещё страус учит мальчика прятать в песок голову —
Потому что любви иногда не хватает чуть-чуть одиночества.

И, в общем-то, в этом нет ничего дурного или, тем более, стыдного.
Хоть в обществе как-то не принято говорить о дружбе страусов с мальчиками.
В обществе вообще не принято говорить о дружбе —
Только о погоде и о политике...

Так что пока будем ждать возвращения страуса из Африки,





Где небо такое старое, что больше уже не старится,
Солнце почти не заходит — как всегда на экваторе,
Где мальчик не любит солнца, но любит страуса,
И страус прокалывает себе брови и клюв,
Чтобы сделать счастливее мальчика.

НИЩИЙ В ПЕРЕХОДЕ

нищий в переходе
с глазами спившегося скрипача
тянет руку, как тянет дурную ноту —
нудно, долго, ещё и фальшиво, будто
не лишний рубль вытягивает из прохожих,
а душу,
будто не тремор в заблудших пальцах,
а память о тремоло
проданной когда-то по пьяни скрипочки...
ларьки, реклама,
запах слоёной выпечки
крутит живот, словно в пыточной,
проще высчитать, сколько новых людей
в день спускаются по переходу,
чем гадать, кто из них остановится:
люди в трафике,
люди ломаются, трутся, огибают углы,
заполняют трещины,
разве что обвешанные пакетами
не слишком счастливые женщины
взглядом скользнут —
сперва по витрине с цветами,
потом по нищему,
пожалеют одними глазами, и сразу выше —
к щитам, афишам,
к скидкам на фитнес, на шубы,
на туры в турцию...
куцый пёсик к ноге прижался,
наделал лужицу,
скулит, боится, но дальше тужится,
нищий отряхивается,
нищий хмурится,
забирает его с собой на улицу
и ведёт домой — в пустой
подвал на задворках недостроенного офиса,
где, укрывшись от мира досками,
становится, наконец, собой:
кормит пса,
здоровой вполне рукой треплет по холке,
и, сдвинув шторы,
показывает новому другу странные фокусы:
стрелки часов на двенадцати,
точка хроноса,
вдох проносится за кулисами,
перелистывая
разлинованную тетрадь,
ноты с хвостиками
оживают,
начинают моргать,
шагать, переступать
крохотными штилями-ножками,
как прохожие в переходе,
как снимки с «только что»...





все они там у него, за кулисами:
со всеми своими делами, долгами, мечтами,
смешными мыслями,
те, что прошли мимо, и те, что искоса
оглянулись, почти столкнулись, споткнулись,
остановились поправить сумочку...
в нише подвала по данте сумрачно...
нищий (или как там теперь его?),
облачённый какой-то неведомой властью во всё
чёрное, с красным подбоем, встаёт,
мерит шагами сцену, даёт
третий – последний, скорее всего, – звонок,
и под гнетущие стоны нот,
берёт свою несуществующую скрипочку,
прижимает к плечу, поднимает высеченное
будто из камня лицо,
вздыхает, взмахивает смычком –
и начинается Музыка...

Алиса Знакомая *Ростов-на-Дону*

Образование высшее техническое. Человек творческий – рисует, вяжет, пишет стихи. Ведёт альманах городской лирики «Рифмы города» в качестве редактора и альманах «Рифмованный мир» в качестве редактора, дизайнера, программиста. Победитель многочисленных внутрисайтовых конкурсов на различных поэтических интернет-ресурсах.

Она никогда ни о чём не просила

Она никогда ни о чём не просила, –
И в этом была её сила.
Она не просила о море и чайках,
Устав от хрущёвок печальных.
Она не просила о фото совместном,
И редко играла в невесту.
Она не просила забыть о свободе,
Кочуя из полночи в полдень.
Она не просила рассказывать правду,
Его принимая обратно.
Она не просила, а он не старался
Заполнить немое пространство...
Она называла его самым близким,
Кромсая чужие записки,
Но даже тогда ни о чем не просила, –
Она уходила красиво...

Жвачка

Плавится город на солнце ментоловой жвачкой,
Жадно желая прилипнуть изгибами улиц
К облачной влаге небес ледяной и прозрачной,
К пасмурной неге, в которой ветра захлебнулись...

В пепельных лицах домов, загоревших до трещин,
Плавятся стёкла, натёртые в блеск Первوماем,
Наспех припудрившись пылью, каштан рукоплещет
Мчащим в жару, докрасна раскалённым трамваям...





Тянется день, как той жвачки пластичные нити,
Небо безумно, бездонно, пустынно и голо...
Глядя в густую лазурь раздражённо-сердито,
Плавится город на солнце... и пахнет ментолом...

В моем гардеробе

В моём гардеробе висит сто один скелет,
А рядом на полках валяется всё подряд:
Ошибки, мечты, идеалы... За много лет
Скопилось достаточно пыли, трухи, старья...

Жемчужные бусы подобием прошлых слёз
Рассыпаны, их бы собрать, нанизать на нить...
Да только нет времени взяться за хлам всерьёз,
Да только нет повода вновь жемчуга носить...

В коробке для шляп притаился счастливый день,
Но был кем-то брошен, забыт, и остался ждать.
Его иногда достаю, и в сезон дождей
Смотрю на тебя, забывая о смене дат...

Расставание с любовницей

Он уходил. Грустна была дорога –
туда, где ждал обед, ещё горячий,
туда, где пёс хватал любимый мячик,
его завидев, и бросался в ноги.

Туда, где за стеной кричали дети, –
ну что поделать, слышимость такая,
что только ночью стены замолкали,
но и тогда мешал бродячий ветер.

Он уходил туда, где был так нужен,
где память из альбома фотографий
смотрела, говоря, что он не вправе
перечеркнуть, отделаться, разрушить.

Пролёты этажей казались бездной.
Он уходил пешком, не вызывая
дрожащий лифт, и лестница витая
его вела по сырости подъездной.

Он уходил... Ему светились лица,
а он смотрел досадливо и мельком.
Он умирал на стоптанных ступеньках,
твердя, что больше к ней не возвратится.

Холодно...

Мама, холодно. Очень холодно.
Обними меня, успокой.
Затонувшим кварталам города
Тяжело дышать под водой...

Мы остались одни в обители,
Защищённой от света дня,
Стало солнце для нас губительным,
Успокой, обними меня...





Расскажи мне о птицах-воронах,
О бесчисленных стаях рыб,
О бескрайних лугах... По-твоему,
Сколько минуло с той поры?..

Сколько дней пронеслось стремительно,
Сколько месяцев, сколько лет?
Мы ни гости теперь, ни жители,
Ни правители на Земле...

Расскажи о багряной осени,
О полях золотистой ржи,
О лесах с вековыми соснами,
Расскажи о них, расскажи...

В океане седом – безмолвие...
Ты прости меня, мне пора,
Жаль, что я всего не запомнила...
Так не хочется умирать...

Дождь

Дождь идёт по асфальту, по людям, по крышам с карнизами,
Барабанит тревожно, талдычит о чём-то своём,
Он сегодня повсюду и сверху, и сбоку, и снизу, и
Где-то в центре души, где извечно сплошной водоём...

Дождь старается так, что звенит тротуар полируемый,
И трещат под каскадами капель цветные зонты,
Я боюсь захлебнуться прозрачными тонкими струями,
Уходящими в землю, растущими из пустоты...

Забери меня в небо, туда, где над злобными тучами,
Над шеренгами шпилей, цепляющих серую мглу,
Разогретое солнце сжигает дожди вездесущие,
Забери... Этот грохот я больше терпеть не могу...

Радостное

Я открыла окно, и впустила в унылую комнату
Беспокойный и шумный, слегка надоедливый город,
Он влетел вслед за пыльной волной, вслед за тенью изогнутой,
Вслед за визгом машин, как всегда многоцветен и молод...

Он принёс на спине быстрых ласточек, ветром всклокоченных,
Безразмерные карты дорог, дробь толпы разноликой,
И цветущие вишни, что скоро стряхнут на обочины
Розоватую пену, и солнца квадратные блики...

Я вдохнула его, и наполнилась красками доверху,
Пропустила сквозь кожу, впитала всю горечь и пряность
Неуёмной свободы, отправив уныние по ветру...
И мой город смеялся, качая меня будто пьяную...





Амирам Григоров

Москва

Родился в Баку. Национальность свою определяет как тат. Его предки родом из Дагестана, Варташена и Кубы. Был свидетелем армянских погромов в Баку в 1990 г. и исхода армян из города. С 1993 г. живет в Москве. В 1991 г. окончил физический факультет Бакинского государственного университета, в 2002 г. — медико-биологический факультет Российского государственного медицинского университета. Учился в Литературном институте им. А. М. Горького. Преподает в Первом Московском государственном медицинском университете им. И. М. Сеченова.

* * *

Газонов стриженные ромбики,
Панели с корками асбеста,
И колыбели, точно гробики
Выносятся под гром оркестра,

И прихожане входят стаями,
Перекликаясь у порога
Во храм, отстроенный при сталине
В елисоветское барокко.

А тополя ветвями ватными
Сухому ветру гладят спину
И на асфальте вянут пятнами
Раздавленные георгины.

Созвучья вечные и гордые
Слетают и проходят мимо
И нас не слышно за аккордами —
Мелодия неуловима.

Она что лай бездомных тузиков,
Что рокот рельсов за трамваем
И между музыкой и музыкой,
Забытые, мы застываем.

* * *

От Маяковки до Васьки
Всё что захочешь, бери но
Слушай, как годы идут.
Выпись на ряде Перинном
Или, верней, наряду.

С древними мёртвыми вровень
Стынет прибрежный гранит.
Видишь, нахмутивши брови,
Дядька на бирже не спит.

Польский заезжий, Нижинский
Вышел гулять по реке,
И застревают снежинки
В сером его парике.





Слово его стало веским
И неживым заодно,
А в стороне староневской
Город дымит заводной.

Сумрак гремачий, трамвайский,
Словно винтовки палят,
От маяковки до васьки,
Две остановки подряд.

* * *

Опять орёт зурна в сапожной будке,
Гудит паром у пристани и рядом
С моим балконом пролетают утки,
Сверкая оперением нарядным.

Застыло солнце в середине марта,
Ребёнок-брат не устаёт беситься
И дед покойный, проигравши в нарды,
Ругается по маме на персидском.

А во дворе поминки отмечают
И паралитик Яшка Амирзаев
Прохожих женщин взглядом провожает
Исполненным желанья и печали.

Прозрачный жар бежит из водостока
И облака парят в своей истоме,
А мне так нестерпимо одиноко
В затопленном стозвучиями доме,

Как будто этот мир не мне подарен,
А у кого-то умершего стащен...
Цепочка водоплавающих тварей
Утянута потоком восходящим.

* * *

Я благодарен родине великой,
За шашлыки её и кипарисы,
За пахнущую мылом землянику
И мятный вкус её простых ирисок,

За двор еврейский в бельевых канатах,
Обвешанных трусами непременно,
С жильцами, упорхнувшими в канаду
И прочие америки вселенной,

За тёплый март, цветущий амариллис,
Пыльцу и виноградные побеги,
За облака, что в небе растворились
Бесследно, бесполезно и навеки.

* * *

В краю, где жаром улица полна
Близ эстакады, там, где сквозь настил
Швырялась пеной бурая волна,
Я синий шарик в небо упустил.





Гремел оркестр, и красный материал
В начале дня под ветром трепетал,
А я свой шарик в небе потерял,
Смотрел сквозь слёзы, как он улетал.

Он шёл наверх, как лёгкие тела
Бегут от гравитации земли.
По моему, глициния цвела
И кажется, каштаны отцвели.

Он без меня промчался налегке
Над садом, где не молкнут соловьи,
Где говорят на горском языке
Старухи в чёрном с ног до головы,

Где в южном море плёнками мазут
Горел в цвета шираза и шабли.
Туда теперь машины не везут,
Туда теперь не ходят корабли.

Там каждый день – тот самый первомай,
Оркестр не молкнет, и ревёт прибой.
И мимо сада тянется трамвай,
Как бесконечный змей по мостовой.

И чайки налетали аппетит,
И вешний дождь обрушиться готов,
И старый шарик надувной висит,
На высоте трамвайных проводов.

Превед Медведково

Превед Медведково, айда
Прорезать путь по медиане.
Пускай трамвайная байда
Прогулки пешей идеальней,
А наша участь решена
В панельном поле обниматься,
Где в чреве ветра – тишина,
Как в мире плоских анимаций.
А дождь дрожит и мельтешит.
На каждой вывеске приделан
Страх о бессмертии души,
Не ощутимой до предела.
Молчи Медведково, не лги,
Твои подснежники не тонут.
Запечатлей мои шаги
На плёнке мокрого бетона.
Прощай, Медведково, пока
Твой жребий скрытан и загадан.
Вот остаются облака,
А мы останемся за кадром,
Твои каштаны сторожа,
Где снег размыт водой проточной,
И еле слышные, дрожат
Медведки золотые в почве.





* * *

Невозможно уснуть, если вовремя сняться,
С якорей да в пучину,
Где печали всех истин и флаги всех наций,
Где тебя не покину,

И молчанье своё нипочём не нарушу.
Пусть никто не заметит.
Над подземкой внутри и позёмкой снаружи
Замедляется ветер.

Под звездой восковой над Россией озимой
Излетающей пулей,
Где из тысячи сот лишь одна негасима
У панельного улья,

И стучит метромост на манер метронома,
И звезда челоВега,
До рассвета меняет подобие дома
На подобие снега,

И в пчелином, гудящем от холода свете,
Не прочтённые толком,
Мы для форса задержимся в чьём-то сонете.
Только жаль ненадолго.

* * *

Как сладко не спится,
Под рокот ночного трамвая,
Возьмётся возница
Везти до черты Разгуляя,
Выходят навстречу
Таджики, сельджуки, османы,
В тумане овечьем,
На траверсе Старой Басманной.
А сумрак трепещет,
И горек, как будто наперчен,
Глаза его вещи,
И плачут под *arrivederci*,
Он пахнет шагренью,
Шипами высоток окован.
Москва наше время,
Другого не будет такого.

Геннадий Креймер

Ганновер – С.-Петербург

Весна

Дом был высок и наг и недостроен.
По вечерам он подпирал закат,
случавшийся всё позже. И тогда
в пустынной ванной было слышно, как
сквозная вентиляция хвалила
сырое небо в струнах и органе.



И в самом деле, этот гул зола
напоминал шофар или кларнет,
верней, настройку нескольких кларнетов.

Тем временем слегка зазеленели
вуали стройных лиственниц в саду,
оттаивала речка Монастырка
и ярко пахло корюшкой с лотков.
По пыльному и шумному проспекту
помчались ошалелые джигиты,
заслышав коих, оживлялись дети
и робко жался велосипедист.

Ретировавшись на периферию,
я езжу в Город, как в страну чудес,
хожу, дышу Фонтанкой, а вчера
я заглянул в убогий магазинчик
в полуподвале где-то на Бассейной,
и вдруг увидел: вглубь по коридору,
ведущему во двор, мелькнула тень,
похожая на пани Катерину.

Смущаясь, я спросил у продавщицы:
– Простите, мне почудилось, что там
прошла девица в вышитой сорочке;
Вы, сами, как? Не видели ее?
– Да здесь через дорогу ресторан, –
ответила она, – официантки
заходят к нам. А ты решил, должно быть:
галлюцинация? Обрадовался, да?

Относительность

всё лето липы простояли
так чинно, густо, не сквозя,
и вдруг за вечер полиняли:
желта аллеяная стезя,

лоскутья в ветре замелькали,
по зыби озера скользя...
– увидеть барский дом нельзя ли?
– теперь уж, кажется, нельзя...

как обветшал скудельный храм:
душа как скоро обмелела,
всё позабыла, что умела;

взял отпуск праведный Хирам:
найдя себе земное тело,
«касается иным миром».

Таврический сад зимой

метелью стелется осадок
здесь растворившихся сердец
(замезший пруд, деревья сада,
за ними – княжеский дворец),





на Башне тихо. Почему-то
из стольких окон ни одно
ночами не освещено...
и долго падает минута

с-петербург

за Троицким мостом уткнулся в небо шпиль
по небу расползлась оранжевая вата,
и ветром золотым вздымаемая пыль
не в силах оживить печального заката...

уж скоро триста лет, как лучшие слова
слетаются на свет «умышленного града»,
и в царственной реке последняя плотва
сияет смертным как предвечная награда

Евгений Черников *Каменск-Уральский*

* * *

Тем летом, когда Россия и Грузия
обзавелись совместным концерном
по производству осетинских консервов
и отправили первые грузы –
считай меня циником:
я имею в виду ребят в цинке, –
тем летом, когда блицкрига
была откупорена бочка,
я слышал деревьев крики
и не написал ни строчки.

В больнице

Между клизмой
и капельницей
была операция –
её я не помню,
а потом
мне потихоньку
пришлось срастаться –
по-новому! –
с собственным животом.

Шла на поправку
под гром посуды,
вела пересуды
и выписывалась
палата,
а я отказывался
от судна,
как от мечты,
и вставал с кровати.





“У кошки – боли,
у пса – боли,
а у меня – заживи!” –
так повторял,
не желая сам
никогда до той
роковой поры
ни зла, ни беды –
ни кошкам, ни псам...

Крабы

Поэзия сегодня –
не та, к которой вы привыкли,
тёплое будущее себе обеспечив –
именитые критики не вяжут лыка,
сами пишут от делать нечего,
а навязший в зубах интимный мотивчик
удобней, чем слово истины!
Вот придворная муза срывает лифчик,
рассыпает волосы, как берёза листья...
И, пленённые этой осенью,
вдохновлённые чашкой чая,
старики запоеют о косах,
не живя и не замечая,
что поэзия сегодня –
не та, к которой они привыкли,
что пора на покой, пора бы...
Темнота такая – глаз выколи!
Не поэты – рабы!

КРАБЫ!

Камила Назырова *Париж*

Boulevard Gambetta

Опускаются сизые ставни под авралами мёртвых сердец
Стёкла света бессмысленно пьяны и похожи на алый рубец
Что проходит как лента забвенья чрез холодный умытый бульвар
Мы заложники грехопадения – мы осколки на призраках фар

Небо тёмное плачет над Ниццей и срываются слёзы дождя
Под беспечностью южной столицы – я сверну до него не дойдя
На Бульвар Гамбетта´ в тёмном свете, что покрыт той испариной дна
На которой погасли столетий – полустёртые блики вина

Наливаешь мне красное в душу, до краёв наполняешь бокал
И утроба похожа на тушу, слов которые ты не сказал
Не стучит больше сердце в трясине, затянула в Бульвар Гамбетта´
Нас судьба – мы уже посредине, только вечность всё так же не та



Adieu

Моих ночных шагов авралы по тёмным сводам серых вилл
Разбиты следом их порталы – и сизый запах окропил
Моё дыхание с полу-взмаха, бокалов бледная утроба
Упала внутрь, осела в спицах гортани словно крышка гроба

Мне яркий свет столбов фонарных напоминает тихий вздох
Что я храню, так филигранно на плёнке мыслей и песок
Всё тише падает на стёкла однообразный сизый мох
Уже стряхнула, и в подвязки теперь мне облачаться срок

Ты может быть меня не вспомнишь, когда вино теряет цвет
Твои глаза подобны стёклам, и я еще шепчу *peut être*
По-декадентски идеально звучит гортанно-хрипло «ми»
И очень тихо и печально я прошепчу тебе «прости»

Приморские Альпы

Ярко-чёрной закатной весною разбиваясь об порванный лёд
Словно в поле одни – мы с тобою, и за нами никто не пойдёт
снизу сердце твоё червоточин собирает усталые тени
камни сверху и вечность пророчит, тебе встать предо мной на колени

ты молчишь, только дым сигареты полыхая вздымается вдаль,
холод мыслей рассерженных бродит, а я молча снимаю вуаль
разозлись, закричи, не юродствуй, и страдания в горле – уйди
поцелуй тебя и печали твои будут жить в новой груди

сверху небо сжимает кругами, самолётами скроенный слой
Альпы дышат и это дыхание прерывается мной и тобой
под камнями в земельных объятиях мы почием в голодной весне
в рабство страсти от мёртвого края навсегда ей одной *passionnées*

Константин Комаров Екатеринбург

* * *

Молчанью не нужен рупор.
Смотри на меня в упор!
Смотри и молчи, чтоб глупым
не вышел наш разговор.

Молчи и смотри. Готово.
Не наша с тобой вина,
что не различает Слово
предметы и имена.

В безумии волн фотонных
теряется слова след.
Насколько мудрец – фотограф,
настолько же глуп – поэт.

Но если не станет света
с последнею головнёй,
мы выживем только этой
нелепейшей болтовнёй.



ни кисти мазок, ни нота,
не смогут помочь – не ври.
Оставшаяся на фото,
со мною поговори.

* * *

На столе стоит холодный кофе.
Я уже давно не Холден Колфилд.

Да и дело тут не в кофеине,
Просто небо как фильма́ Феллини.

Просто порастратил всю отвагу,
Просто стих уже не жжет бумагу.

Просто ни братишки, ни сестрёнки,
Просто вековечны шестеренки,

Что в часах друг другу зубья точат,
Мне уже не досаждая впрочем.

Рвётся жизнь, как будто киноплёнка,
потому что рвется там, где тонко.

Понемногу затихает тренье,
Зрелость уменьшает силу зренья.

Горло сипнет и поёт неверно,
Так все и кончается, наверно.

Это арифметика простая,
Я спокоен, сам в себя врастаю.

Все, с чем к богу я приду с повинной,
делится на восемь с половиной.

* * *

Наплевать, что слова наплывают
друг на друга в усталом мозгу.
Обо мне ничего не узнают,
если я рассказать не смогу.

Но не в этом ирония злая
задыхания строк на бегу.
О тебе ничего не узнают,
если я рассказать не смогу.

Снова рифмы морскими узлами
я бессонные строфы вяжу.
Ни о чём ничего не узнают,
если я обо всём не скажу.

* * *

Горит звезда. В окно струится ночь.
Нет лучше для стиха инварианта.
Но фабулу пытаюсь превозмочь,
из рук нить выпускает Ариадна.



Пульс нитевиден. Голова болит.
Со всех сторон рассеяна Расея.
И звуков тупиковый лабиринт
теснится в гортле пьяного Тесея.

Осиротел лирический плацдарм,
но всё в виске пульсирует не к месту –
ведь это нужно – чтоб была звезда –
«Послушайте!». И далее по тексту.

Леонид Собченко

Череповец

* * *

Рассвет приходит слишком рано,
А сны приходят слишком поздно,
Они фальшивы, как реклама,
И неизбежны, словно возраст.
Устав пытаться удивляться,
Я удивлять и не пытаюсь.
Кто на доспехах ищет лацкан,
Тот на подлодку ставит парус.
Пушай белеет и болеет,
В связи с промокшею балеткой,
На раскладушке мы валетом,
Как половинные калеки.
Один еще не умер толком,
И верует, что чудо грянет,
И машет выцветшей бейсболкой,
Но это чудо больно ранит.
Другой уже наелся этим
Предвосхищением фиаско,
И, словно клоун, пируэтит.
И впаривает людям сказки
О том, что счастлив добр и весел,
Что шишки вовсе не от вёсел,
А от еле́й. Елей от бесов,
А бесы вечно где-то возле.
Им не нужна команда «рядом»,
Весь мир для них как будто создан,
Где сны сбываются так рано,
Что понимаешь слишком поздно.

* * *

Первозтажно, душно, без балкона,
Иди курить на зиму или слякоть,
Запаренный испариной дракона,
Обычный парень. Брошен, словно якорь,
Рюкзак из дел, из тел, телодвижений.
Отелло мелочный, отельчик ночь за сотню,
Что ты хотел, войны без поражений,
Так не бывает, кто-то должен сдохнуть.
Сегодня – ты, пойми, нельзя иначе,
Иначе не поймет тебя начальство.
В иных мирах найдешь свою удачу,
Любовь и веру, в меру и нахальство
Счастливым быть, не удостоив взглядом





Весь чертов мир, что равноценно бо́гов.
Ну а пока, лети на автостраду,
Как ангел, успокаивать пророков.
Всем вещунам по части организма,
Пусть насыщаются, внимая и шизея.
На жизнь давно просрочена франшиза,
И город стал подобьем Колизея,
И пальцы вниз. Ты - зрелище, ты - пища
Для черных дырок наркомониторов.
Возвышенный над всеми гнойный прыщик,
Что никому ни разу не был дорог.

Бегущей строчкой вспыхнут эти буквы:
«Ну вот и все, пора менять прописку.»
На грязном снеге капли ягод клюквы.
Смотреть на это приторно и кисло.

Карандаш

Я рисую буквы карандашом,
Мне не важен цвет осени и размер.
На затылке табличка: «В себя ушел».
Я играю в люди, как Эрик Берн.
Закорючки пусть пляшут – привет Артур –
Сочиню посредственный детектив.
Не по средствам водить в рестораны дур,
Остаётся кефирить, беру штатив.
Установка жестко – стабильный сплин.
Слишком выдержан Шварццильд – не тот эффект.
А корабль салфетки куда уплыл?
В двадцать третий, а может, четвертый век?
Веки слиплись, незрячи скульптуры дней,
Виртуальность вшарашена прямо в мозг,
Ну не в мозг, а скажем так, в пралине.
Не сожжен остался один лишь мост,
Тот, что выдал дантист. Да́нте в нём. Данте́с?
Как сжевать, что пережил? Ёж луны
Облысел, скукожился и облез,
Потому он тускл, потому уныл,
Потому под ним не заметен Я,
Потому и я не замечу, как
Отступили тени в твоих тенях,
И осталось нам сделать последний шаг.
И осталось мне сделать последний шарк,
В реверансе проститься с моей мечтой,
Человек – подобие карандаша,
Только вот, в отличие, не простой.

Лина Сальникова Краснодар

Живёт всю жизнь (22 года) в городе Краснодаре. В этом году окончила филологический факультет, собирается стать преподавателем зарубежной литературы в своём университете. Стихи пишет с 5 лет, лауреат множества литературных и поэтических конкурсов. В этом году планирует выпустить свой первый поэтический сборник, он находится в стадии разработки. В дальнейшем планирует также сольные концерты.





Вместе...

Воздух сегодня, опять этот рваный воздух...
Ветер по городу выстудил провода.
Звёзды осыпались с неба, не видно звёзды.
Время делить всё поровну и раздать.
Здесь, – между кожей холодной весенней куртки
и свитером к горлу, – накопленное тепло.
Время движения против, стихов, окурков,
время порывистых жестов и резких слов.

Я выношу на плечах невозможность вдоха,
чтоб не болело в горле, не жгло в груди.
Слово недоозвученно пересохло
и не желает с обветренных губ сходить.
Ветер, тревожный,
дотошный,
раскатный ветер,
будто бы за день до дня, когда грянет шторм, –
на берег города вынесло нас и сети,
сети реклам,
ветвей,
проводов
и шторм.

Ничто не сближает, как чувство большой тревоги,
и обоюдность пронзительна и остра,
когда нам, как в древности, чудится – в гневе боги,
когда мы, как в древности, чувствуем смутный страх,
что, может, секунда – и мира уже не будет,
и тех, кто нам дорог, песчинкой вберёт вода... –
И к берегу города молча прибились люди,
которым осталось греться, терпеть и ждать.
И мы – среди них, и нам бесконечно нечем
молчать, так же точно, как приняться говорить...
А ветер интуитивно смыкает плечи
и спины, пока тепло не зажжёт внутри.

Весь город – один осязаемый страшный ветер,
и обоюдность пронзительна и остра.
Люди боялись и будут бояться смерти...
Но вместе теплее. Особенно – умирать.

Его горделивый профиль горчит на вкус...

А. Т.

Он выбран был мною из лучших горячих ста,
выверен был и к нежности приурочен.
Ничто не мешает ему от меня устать,
но кажется, будто он беспредельно прочен.
Его горделивый профиль горчит на вкус,
когда из меня он травит вульгарность улиц,
а мне бы вот только забыть обо всем, целуясь,
бежать к нему радостно, первому вняв кивку...
В моей голове как-то ветрено и темно,
а в сердце – как будто десять таких же, полных
людьми и... не болями, нет, – тем, что так безмолвно
меня составляет и мною же решено.



И он улыбается – будто с вершины лет,
как будто бы можно, лишь так, – потому что возраст, –
и я замыкаю в себе возмущённый возглас
всех жизней моих, завершившихся на земле.

Я, кажется, верю, что это – опять любовь.
/А если не верю, то верю, что всё же верю/,
а он только взглянет – как будто бы взглядом смерит, –
и словно меня до краёв наполняет Бог.
И я не умею сказать ему, что во мне
какая-то та, растерявшая сотни судеб,
не может теперь ни открыться, ни обмануть их,
ни вытравить, привыкая к своей вине,
но это пройдёт, как проходит здесь каждый круг,
срок реинкарнаций, отказа от детских кукол.
И хочется заключить его профиль в купол
своих возведённых по обе стороны рук.
Мне б – ни любимой его, так на цыпочки – стать,
тянуться, тянуться к его оголённым фибрам...
Я думала, что он выбран был мной из ста,
на деле же это он меня просто выбрал.
На деле же я – ведомый. Веди, веди...
И мой камертон влюблённый теряет почву, –

И чёрт с ним, когда я каждой осипшей строчкой
ношу его в левой части моей груди.

Одесский дневник

А.Т.

Она покидала город, как мёртвый остров.
Она увозила сердце из этих улиц.
Ей нужен был новый воздух, который остро
вдыхался, когда лучи сквозь стекло тянулись.

Она не рвала ни с прошлым, ни с настоящим, –
в ней это легко уживалось со всем грядущим, –
ей просто жилось, когда тёплый, родной и спящий
он был подтверждением веры, что станет лучше,
он был аксиомой, незыблем, и каждым мерным,
спокойным, глубоким и ровным дыханьем лёгких
рождал в ней слова, и слова эти были первым,
что вдруг прорвалось из прозрачной защитной пленки
её потаённого дна, и пока чуть слышно
она повторяла их, вкус ощутив губами...
Дорога плыла огоньками далёких вышек,
и если бы ей предложили ещё добавить
чего-то – она отказалась бы. Время стихло,
когда обернул холмы, как рассветный ворот,
слегка розовея, накапливаясь, и, вспыхнув,
вдруг густо разлился огнями ночными город.

Она состояла из тонкой словесной взвеси,
и вся обратилась в зрение, по крупитцам
вбирая в себя всё то, что ему приснится,
когда их совместное солнце взойдет в Одессе.



Наш город остался верным...

Наш город остался верным, здесь всё, как прежде:
всё те же дожди, тот же май, сам в себя влюблённый,
но только теперь не тебе распускает нежность
чуть клейкий, на ощупь промасленный листик клёна.

Ты так же живёшь от субботы и до субботы.
Виновник какой-нибудь вторичной личной драмы,
на драмы не купишься больше... Но только вот он –
пропахший парфюмом, сочащийся в дом пространно
большой заоконный май. На двоих не вышло,
не вылилось, не переплывилось, не спасало
и, в общем, спасти не могло... Каждый день чуть слышно,
едва ощутимо внутри тебя провисает,
слегка проседает её незабвенный образ,
кукожится, белым листом окунувшись в пламя.

Пройдёт ещё май, и ты станешь и тих, и собран,
как человек, одолевший по капле память.

В её преисподней – каштаново, день и сухо,
в твоей – неисполненно-горько и перекатно.
Когда вы прощались, мир выстоял и не рухнул,
всего лишь лишившись параметра «путь обратно».
И вы, уставшие слишком, чтоб оскорблённо
принять обычную данность – партнёр сменяем, –
удвоили нежность под чьим-то чужим бельем, но
с единственной целью – быть нужными в этом мае,
остаться, чего бы ни стоило, не стереться,
не выйти из жизни, застыв на краю обочин.

В её преисподней ты молча оставил сердце,
в твоей преисподней она – много сотен строчек.

Наш город остался верным. Остался верным.
В пораненном мае, ожившем и вновь влюблённом,
опять распускаются листья большого клёна,
и кто-то откуда-то снова уходит первым.

...И каждый из вас, чтоб впустую не тратить нервы,
лишь делает вид, что остался неопалённым.

Читай по губам

Июнь не даётся сразу, одним глотком.
Мне бы молчать до последнего – время терпит.
Всё будет, как прежде: и утро, и кофе терпкий,
но только без нас. В остальном всё пойдет легко.
Я, знаешь, не верю ни в совесть, ни в силу смерти.
Ни в то, что когда ты прощаешься, в горле ком.

Нас мало осталось у времени, mon amie...
И тем слаще боль при отказе от новой встречи.
Мы слишком эгоистичны и человечны,
чтоб стать неподобными прочим, чтоб стать людьми,
которых июнь лелеет, хранит и лечит.
Пуškai у тебя за порогом не рухнет мир.





Привычка не спать до трёх и глотать, как дым,
любые слова, если только в них брезжит нежность, –
останется мне как латателю чёрных дыр,
перемежающих новое с миром прежним.
До августа я успею стереть следы,
а ты – позабыть мой голос, шаги и внешность.

Я, знаешь, привыкла быть верной: среди прочих вер,
среди суеверий прочих простая верность –
единственный способ быть нужным, быть сильным сверх
больной неизбежности, суетности и нервов.
И, может быть, мы бы взяли с тобой барьер, но
сильнее стыда избегание полумер.

Июнь проникает с болью – его резьба
по умолчанию глубже моих историй.
И мне бы молчать, выступая из территорий,
где каждая фраза подстрочно поёт «избавь»...
Желаю тебе позабыть меня слишком вскоре
и разучиться читать по моим губам.

Разлом

Читать тебя, как молитву, подстрочный текст,
дышать тобой, как заболевшие дышат паром,
ложиться на спину, шептать тебя в темноте,
встречая тебя, не дрогнуть, как от удара.
Сильней неизбежности то, что ты сам решил,
что в позднее утро разлил в свой неровный почерк.
Какую иглу выбирают, чтоб прочно сшить
твою и мою вселенную, между прочих
искусно лавируя, пальцы до боли сжав?
Мои одиночества помнят твои изгибы.

Ты вечный разлом, на котором другие гибли,
а я – остаюсь, чтоб держаться и удержаться.

Бескрылое

Июнь отнимается, мерно идёт на убыль,
снимается, будто змеиной из прочих кож.
Мы жили всё время с надрывом и стиснув зубы, –
давай, наконец, попробуем жить легко.

Июньская маятность тихо плывёт к закату
и тонет, хлебнувшая соли прозрачных вод...
Давай не вернемся, оставим, как есть, за кадром,
всё то непомерно усталое, от чего

нас будто и не было. Я различу на ощупь
тебя в темноте приморской, на берегу.
Мы всё позабыли, хотя ну куда уж проще
запомнить, как здорово лёгким касаньем губ

опять оживать, наполняться, быть обоюдным,
решённым единственно нужной из теорем. –
Давай ощутим, что мы снова – простые люди, –
не ангелы; больше не ноет спинной надрез





от этих тяжёлых, ненужных, нелепых крыльев,
лежащих кусками всклокоченных, рваных ват.
Мы – два опалённых острова, и бессилье
безмолвным туманом упало на острова...

Мой ангел, давай снова вспомним: мы тоже жили,
и каждый счастливый момент закрепим в словах.

И грянет гром...

Время не любит, не лечит, не ждёт, не терпит –
давай, расскажи о себе, оближи конверты,
отправь в никуда – пусть вечер июньский, терпкий,
кого-то заставит замедлить свои шаги.
Тебя же покой убивает. Саднит и гложет
внутри тебя, в самом центре, и вдоль по коже
течёт эта жизнь, убывает, и ты – прохожий,
такой же, как семь миллиардов таких других.
И хочется резать, кромсать, разбивать, увечить,
чтоб только – не статика, только бы человеческий
огромнейший всплеск, а не это сутуго нечем
ни крикнуть, ни выдохнуть. К горлу подкатит злость
от этого never more, даже проще – never.
И вечер – пиджак удушающий кавалера,
который навязчив. И туго натянуты нервы...
Но без трансформации в связку чеканных слов
ты слишком бесчувствен, беззвучен и непричастен.
И дышишь подчеркнуто-ровно /читай – нечасто/.
Ты – бомба, готовая мир разорвать на части,
и мир обезумевает, глядя, как брызнет кровь, –
такая июньская злая пустая непись,
и ты ощущаешь, что нет ничего нелепей.
Ты где-то внутри формируешь словесный слепок.
Ты – выдох до взрыва.
Секунда. И грянет гром...

К чёрту

Здравствуй, мой милый заплочный чернильный чёрт,
подкинем монетку, или же в нечет/чёт
сыграем? – Ты видишь, время сквозь нас течёт,
отняв у меня привычную страсть к бумаге.
Вот поменять карандаш бы на карандаш,
такой, чтобы разом вышибить эту блажь...
Быть может, совет мне по поводу дельный дашь? –
Это ведь ты тут магистр по части магий.
Скажешь мне: «Девочка, милая, так и так,
здесь торопилась, вот здесь – отстаешь на такт»,
а после на чердаке мы заключим пакт
о нашем с бумагой отсутствии всякой связи.
И я, покраснев, извиняясь, скажу: «Увы,
Бумага Моя Дорогая, давай на «Вы»,
чтоб вновь не пришлось словотворчеством этим быть
в час нервенных рукописных моих признаний
тебе... Ах, простите, – Вам, ну, конечно, Вам!...»
А после мы с чёртом, довольные, оба-два,
отправимся с чердака на большой диван
уверенно подчеркнуть, что никто не занят.
Эээх, вот заживём, – пусть время сквозь нас течёт!
Что скажешь, мой мудрый чернильный дружище-чёрт?



Молчишь? Ну, как знаешь...
А я попишу ещё.
Стихи – вещь упрямая, видишь – не исчезают...

Мара Шмидова

Москва

заклинание. диптих

1.
небо моё спит
город под ним взят
новый силок свит
новый ловец свят
новый ловец снов –
долгие провода

Бог есть любовь.
Бог есть любовь?
Бог, есть любовь?

– Да.

2.
Разбудит утро гомоном голубиным под самой крышей
Нас. И будет будто выше
Нет никого, и тише – нет,
И сквозь окно слуховое свет
И голуби гомонят невнятно,
И запах мяты...

Я буду ворчать, потягиваться, мяукать
И всякие звуки дурацкие
Издавать
Ты будешь ласковым
Будет в фа-миноре скрипеть кровать
Думаю, стоило столько ждать
Ради такого утра

С неба будет сыпаться белая пудра,
собою являя божественный знак

Да
будет
так.

Период полураспада

/сказка для маленьких физиков и больших лириков/

До распада ночи сей
Остаётся полминуты.
Утро красит перламутром
Деловитых голубей,
Утро красит тополя
И ворчливые трамваи,
Просыпается, зевая,





Вся советская земля.
Просыпаются мосты,
Просыпаются перроны,
Птицы, люди и иконы,
Засыпаешь только ты.
Гасит фонари луна:
Ей осталось полминуты.
Он уедет. Завтра утром
Будешь ты ему она.
Но пока есть ты и он
\Так, пожалуй, будет легче\
Ты сопишь ему в предплечье,
Видя свой десятый сон.
Солнце вытянулось в нить:
Завтра будет третьим лишним.
Он уйдёт как можно тише,
Чтоб тебя не разбудить.
До распада сентября
Остаётся полрассвета.
Ты увидишь сон про лето,
Мошкар у фонаря,
Коржики для голубей
И последний лучик солнца...
Он, конечно же, вернётся,
Но, конечно, не к тебе.

До распада сказки сей
Остаётся полстраницы:
Он, конечно же, приснится,
Но, конечно же, не ей.

Искусство быть с тобой

*С благодарностью двум птицам:
Первой – за поддержку и помощь
Второму – за вдохновение и вообще.*

Я каждый раз привыкаю заново
Смотреть на тебя, невозможно яркого
Музыка. Третий звонок. Занавес.
Свет фонарей на дорожках парковых
Гаснет, как в зрительном зале люстра
... это такое большое искусство

Быть за плечом у тебя, ясного
Бить по ладони твоей дружески
Пить, или пить, или плакать, яростно
Спорить, и всё же иметь мужество
Пробовать снова и снова на вкус
Это важнейшее из искусств

А я шагаю, и с каждым шагом ты как будто на шаг ближе
И светофоры мигают, и жёлтый шарик луны облака лижет
И я не знаю, сколько осталось сил и как долго продлится игра,
Но ты сегодня такой красивый в свете фонарных рамп

И нет пропасти жутче нежели промежутков
Меж «л» и «ю»
И я тебя не скажу тебе нет скажу я тебя
Боюсь





Как самых страшных бед,
Как посреди тайги
Как посреди могил
Как взрывчатых веществ
Боюсь сказать тебе,
Как никогда – другим
Как никогда – других
Как никогда – вообще
Так дети – темноты
Тайфуна – города
Так не боялся ты,
Наверно, никогда
Так на челне – в порог
Так смертники – на казнь
Зажмуриваюсь. Вдох...
И вдруг – в руке рука

Я держу тебя за руку?
Что это? Сон? Хмель?
Я веду тебя за реку
За тридевять земель

Я не слышу ни звука
Подобно плющу
Вплетаюсь в руку и
Не отпущу

И больше – ни тебе
И больше – ни судьбе
И ни одной из бед
Ладоней не разнять
Кури – одной рукой
Дерись – одной рукой
Смирись – с одной рукой
Вторая – для меня
Неотделимой частью
Я – испытатель счастья
Не закричать пытаюсь
Счастьем своим пытаема
За руку? Я? С тобою?
Я – испытатель боли,
Я – испытатель страха,
Я – испытатель чувств.
Мимо Дали и Баха
Мимо Монро и Пруста
Несу моё искусство
В массу других искусств

Это искусство – ложе Прокрустово:
Лучше отрежь себе ноги сам
Это искусство – терновый куст:
Не бросай меня в него, не бросай!
Это искусство – вязко и густо:
Влипнешь – и не заметишь, как
Невыносимо, Неизъяснимо
Неумолимо и Непоправимо
Но от него
до неба,
вестимо –
шаг.



Мария Серова

Москва

НО...

Я б узнала тебя среди тысяч других
И плеча бы легонько коснулась рукой.
Я б украла тебя у гудящей толпы
И на край бы земли увела за собой...
Обнимая тебя, берегла б твой покой,
Защищала, как мать, от несчастий и бед
И хранила твой взгляд, как волна, голубой!
Но ... ТЕБЯ больше нет...

Но тогда б я, гуляя, искала следы,
Что оставили мы на песке золотом,
Собрала бы венок я из капель воды
И на землю всю боль пролила бы дождем...
Я б воздвигла алтарь в светлой зале пустой,
Перед ним на коленях встречала рассвет,
Целовала цветы, что растут над тобой,
Но ... МЕНЯ уже нет ...

Я – СВОЙ! НЕ СТРЕЛЯЙ!

В квартире темно, на столе две увядших гвоздики,
А рядом стоит недопитый за утро стакан.
«Я – свой, не стреляй!», только пуля не слышала крика,
Летела вперед, разрывая осенний туман.

Они не дружили, они не спасали друг друга
И, в общем, не ждали от этого мира чудес.
Но стрелка часов замерла, содрогнулась округа,
И птицы взлетели со стоном до самых небес.

Что ж, в общем, война – это тоже такая работа,
И всё это было, не в страшном пугающем сне.
Он помнил – к парнишке тогда подбежал сразу кто-то,
А после? Ничто. Жизнь закончилась в том октябре.

«А что, может быть, это выход, не так уж все плохо?
Из ада земного, наверное, сразу же в рай...»
Но помнил солдат до последнего самого вздоха
Отчаянный крик: «...не стреляй, ...не стреляй, ...не стре...ляй...»

ТЫ НАСЫТИШЬСЯ, ЗНАЮ, ОДНАЖДЫ

*«...Как соломинкой, пьешь мою душу...»
(Анна Ахматова)*

Ты насытишься, знаю, однажды –
Будет сердце стучать твое глуше...
Но пока что, сгорая от жажды,
Ты тихонечко пьешь мою душу...
Ее вкус, то соленый, то сладкий,
Твое сердце сегодня тревожит...
Если выпьешь её без остатка,
То от жажды ничто не поможет...





Опьяняя тебя каплей каждой,
Все страдания и боли разрушу...
И ты вечно, сгорая от жажды,
Потихонечку пей мою душу...

ЛЮБОВЬ ЕЩЕ ЖИВА

Букет огромный я нарву
ромашек полевых.
И тут же брошу на траву
у смуглых ног твоих.
Я для тебя на всё готов,
хоть скромненький мой букет.
Да, знаю я, таких цветов
тебе не дарят, нет.
Прекрасной розы аромат
давно манит тебя.
И возвратить мечту назад
теперь уже нельзя.
Букет огромный я нарву
ромашек полевых
И брошу. Тут же, на траву
у смуглых ног твоих.
Пусть знает о беде моей
примятая трава.
Топчи любовь мою! Сильней!
Она еще жива....

НОЧНОЕ ЧУДО, ИЛИ УЛИЧНЫЙ ГИТАРИСТ

Смотрю на площадь из окна...
Народу всё ещё не спится –
Вокруг с гитарой паренька
Толпятся за полночь мадридцы.

Волос кудрявая копна,
Одет небрежно, как придётся,
Но в ожидании толпа
Ликует, весело смеётся.

И вот запела вдруг струна...
И сердце радостно забилося,
Как будто выпила вина,
Как будто только что влюбилась!..

Мария Хамзина *Екатеринбург*

Мы не рабы, но рыбы, затем, что немые.
Немы, как воздух. Но воздух – уже не мы.
Небо рождает бессмысленные фонемы.
Небо смущает бесчисленные умы.
В мире иллюзий тропы сопоставимы
Только с плацебо. Эффектно, но что с того?
Хочется крикнуть «Послушай! Останови!», но





В парк уезжает последнее божество.
Даже гордыня вкуснее, чем хрен на блюде.
Как извернуться? По паспорту – тридцать три.
Встать на пуанты. Немедленно выйти в люди
С тайной мыслишкой, мол, папочка, посмотри!
... Душа горит, со смертью говорит.
А небо смотрит. Смотрит. Ли-це-зрит.

* * *

И даже если тень моя к тебе потянется, я буду безучастна.
...Асфальт. Дома. Когорты голубей. Живой земли растаявший участок.
У города – сиреневые дни, чуть больше света в серой акварели.
И так горят рекламные огни, что ветви лип, похоже, обгорели.
Вот человек в цветном пуховике. Он покупает яблоки и сливы.
Качается увесистый пакет, как маятник часов неторопливых –
Семейный ужин, яблочный пирог, горячий чай, и всякое такое...
Я эту жизнь читаю между строк, и молча замираю над строкою.
Учусь дышать, работать, наблюдать, искать следы в пунктирах многоточий...
И даже если тень меня предать готова, то...
Я преданнее прочих.

* * *

Он приходит, и ставит бочонок на край стола,
И пузатую кружку ставит, а не стакан.
А потом он берет тебя нежно за два крыла,
И легко раздирает, как воблу – напололам.
Трепыхаться бессмысленно с вывернутым нутром.
Пахнет вечность соленой кожей, ты знала, да.
И Харон выводит тебя из пропасти на паром,
Так, как Еву водил по саду ее Адам.
Разрезает лезвием темную гладь коса,
А потом ты слышишь ворчливое «Рот закрой!»
А потом ты думаешь – надо бы записать...

Он почти доволен. Соленая – но с икрой.

* * *

Город похож на промокшую книгу дня –
Слиплись страницы и строки текут, как реки.
Март не умеет надежды соединять,
Соединяет только мосты и веки,
И ни к чему ни выстрелы, ни шаги,
Нам не сберечь ни памяти, ни тетради.
Лишь в подворотне наши воротники
Ветер озябший мокрой ладонью гладит,
Мы возвращаемся, будто бы воробьи,
Что пережили зиму, но так устали...
Город, мой город, мы маленькие твои,
Грустные книги с разрозненными листами.



Николай Тимохин

Семипалатинск, Казахстан

Тимохин Николай Николаевич закончил филологический факультет Семипалатинского пединститута. Работал учителем русского языка и литературы в школе. Председатель казахстанского отделения Всемирной корпорации писателей. Лауреат VI международного фестиваля русского искусства (г. Семей, 2008). Член творческого совета авторского литературного журнала «Северо-Муйские огни» (Бурятия). Стихи неоднократно печатались в местных газетах, в коллективных сборниках, размещены на страницах электронного журнала «Наши дети» (Израиль), в др. интернет-ресурсах. География публикаций Н. Тимохина включает Красноярск и Новокузнецк, Москву и Нью-Йорк.

«Переступи черту земную,
Шагнув в бессмертие! И ты
Узнаешь жизнь совсем другую,
Иной, небесный мир. Мечты
С собою брать туда не надо.
Там всё продумано за вас.
Покой и Рай – тебе в награду
За все мучения. Сейчас
Со многим трудно расставаться.
Не хочется?! А там – друзья.
И мама, с нею повстречаться
Ведь ты желаешь?» Слушал я
Из дали голос незнакомый.
Он мягким был, но не земным.
Устал, наверное, я снова,
Измучался... А со своим,
Таким тяжёлым настроеньем
Расстаться б надо поскорей.
Но гложет душу червь сомнений –
Не мало ль мне осталось дней?...

Не стану я жалеть о том,
Что наступает мой конец,
Хоть жизнь будет бить ключом
Вокруг меня. Я ж, как слепец,

Закрыв глаза на искушенья,
Задумаюсь лишь о былом.
Промчалась жизнь за мгновенье
И вспоминаются с трудом

Короткие её минуты,
Когда с удачей был в друзьях,
Когда любил и был кому-то
Нужнее всех. О прошлых днях

Жалеть не стану, лишь о том,
Что многого я не успел:
На сына, дерево и дом
Найти я время не сумел...



* * *

Вновь приснилось, словно в старой сказке,
Детство: мама и игрушки. Я
За столом с раскрытой раскраской
Мир рисую. Небо и земля
Получились все зеленым цветом,
Так уж детский разум захотел.
Объясняю маме: «Это ж лето,
Все вокруг цветет!» И прочих дел,
Кроме рисования, не знал.
Жизнь стремился распознать скорее.
Много путешествовать мечтал
И уверен был, что всё сумею.
Только завершилась детства сказка,
Взрослым став, я бросил рисовать.
Но хранится до сих пор раскраска.
И рука к ней тянется опять.

* * *

Суметь увидеть красоту
Не каждому дано.
Отбросить жизни суету
И посмотреть в окно:

Как совершенен мир вокруг,
Ему подобий нет.
А если ты пропустишь вдруг
Закат или рассвет?

И не услышишь пенья птиц
И шороха листвы?
Счастливых не заметишь лиц
Людей. И синева

Простора неба. Что тогда?
Наступит пустота.
Богат не станешь никогда
Душою. Красота

Повсюду окружает нас,
Лишь посмотри в окно.
Ей восхищаться всякий раз
Не каждому дано.

* * *

Я не умерла, мой милый, нет,
Я всего лишь — очень далеко.
Шлю с небес тебе я свой привет.
Не печалься, мне сейчас легко,

Хорошо. Здесь жизнь совсем иная.
Ты поверь, её не описать.
За тобой я сверху наблюдаю.
Не тоскуй, мы встретимся опять,

Но не скоро. Ты не торопись.
У тебя так много важных дел!
Я ж лечу всё дальше, дальше — ввысь.
Ты ведь сам всегда того хотел,





Чтобы я счастливой стала вдруг,
И свободной, словно в небе птица.
А тебе желаю, милый друг,
Повстречать другую и влюбиться...

Сергей Симанов Каменск-Уральский

* * *

Едва переставляя ноги,
На каждой словно целый пуд,
По лужам пьяницы, как боги,
Как будто посуху идут.

Вот тот – с опущенным затылком,
Вминая в лужи облака,
Свой крест – початую бутылку –
Несёт в кармане пиджака.

И мимоходом скажет некто,
Усмешкой, чуть сломав уста,
На галилейском диалекте:
«Гляди – явление Христа!».

* * *

Пятница. Дождь, у которого всё в прошлом.
Падают листья. На каждом листочке такие
длинные линии жизни,
но кроткий, короткий век.
Деревья (как будто) ступают
По мёртвым ладошкам.
Деревья не против попасть
на страницы, обложки
порножурналов, но глазом окинь их:
костлявы, нефотогеничны, ветвисты;
и мини-бикини оставшихся
фиговых листьев
не то чтобы нас убеждают в обратном,
но утром уже все подернуты холодом лужи,
и стадный инстинкт, и прогноз
отрицательных чисел,
и ветреный стиль одеваться –
все это их сжаться в леса вынуждает...

ИЗ СТИХОВ КУМОХОБА. ПОСЛАНИЕ В ГАМБУРГ СВЕТЛАНЕ КРЕЛИН-АРЕНДТ.

...Я открыл, что Китай и Испания совершенно одна и та же земля,
и только по невежеству считают их за разные государства. Я советую
всем нарочно написать на бумаге Испания, то и выйдет Китай.
... Луна ведь обыкновенно делается в Гамбурге; и прескверно делается.
Делает её хромой бочар, и видно, что дурак никакого понятия не имеет
о луне.

Н.В.Гоголь. Записки сумасшедшего





Здравствуй. Гутен таг, Светлана!
Если помнишь: Кумохоб.
Как живётся вам в Дойчланде?
Славно? Ну, желаю, чтоб
не было темно и страшно
вам ночами без луны,
вспоминая день вчерашний
с чувством собственной вины,
чтоб вам не было там скучно
без забот и без проблем,
чтоб дурная жизнь-игрушка
не наскучила совсем
в час, когда уже не светит
не тюрьма и не сума,
лишь одна луна на свете
не даёт сойти с ума,
охмуря чудным взглядом
чумовой подлунный край:
то – Пуэрториканаду,
то – Испаниякитай,
т.е. мир, что катит к чёрту,
катит скопом и поврозь,
то по гамбургскому счёту,
то по русскому авось,
катит скатерть-автобаном,
трём смертям наперекос...
...Да, ещё хотел, Светлана,
я задать один вопрос.
На него ответ узнать я
грезил (девушку одну
обнимая), как лунатик:
«Как там делают луну?»
Вот, сатирик с птичьим носом
и с такой же чёлкой знал:
что прескверно, по доносам
судя, – видно, за безнал,
то бишь, за вино в стакане,
и (см. выше) за вину...
«Как там в Гамбурге, Светлана,
так же делают луну?»
Так же арбайтают, чтобы
та висела не зазря,
начиная с ...цен мартобер
до ... надцатых мартобря,
в вышине, средь звезд тверезых,
в тесном воздухе, как встарь,
где её на саморезы
прикрутил хромой бочар?
Ну, так флаг ей в руки, Света,
ведь земля у нас одна,
если всем едино светит
гамбургер (тире) луна!

* * *

Дорогая, сядем рядом
поутру:
кумохоб. собака. яндекс.
точка. ру.
Поглядишь печальным взглядом
в монитор...





cumohob@yandex-
– разговор
продолжается с рассвета
до утра.
Я люблю тебя и это –
не игра.
«Любишь ты меня? Не очень?»
«В общем, да!
Кумохоб, ну... это... точка.
До свидя...»

Фёдор Назаров *Днепропетровск*

вот так бывает - выйдешь покурить

1

кукушка так хотела улететь

хотя бы на минуту отлучиться
от шестерёнок старого ковчега,
взглянуть на мир, в котором кроме сов
есть, говорят, ещё другие птицы,
а также много неба, льда и снега,
избыток воздуха, морей, полей, лесов...

но за границей кухонных часов
нет для неё ни корма, ни ночлега

2

разбуженный портье из темноты
достанет ворох скомканных квитанций,
большие чемоданы и тюки;
отточенным движением руки
сорвет с них ярлыки дорожных станций,
гостиниц и мотелей

только ты,
все оплатив
[еду, тепло, кровать]
имеешь право вновь стремиться к солнцу

кукушке ничего не остается –
кукушка остается куковать...

3

метаморфоза выглядит смешной

ты убегаешь от чужих улыбок
и собственных покрашенных седин

а я, как прежде, остаюсь один
кормить твоих аквариумных рыбок
читать твои стихи и слушать твой
далекий голос
[пусть – его обрывок]
ведь на дорожках вытертых пластинок





и в лентах размагниченных бобин
ты, словно, навсегда осталась здесь

[вообразишь, что это так и есть,
и тут же посмеешься над собою...]

4
вот так бывает – выйдешь покурить,
окинешь взглядом улицу, дорогу,
деревья у реки и серый дым,
который в продолжение многих зим
идет из труб завода...
[прямо к Богу]
и город вновь покажется пустым

лишь ты в сетях его архитектуры
стоишь забытой шахматной фигурой
зажав в руке разбитый механизм

5
кукушка улетела навсегда

ну что ж поделать

значит так

бывает

Спасибо - Здравствуй

* * *

Извини за стиль и за мой покосый,
как забор в селе захолустном, почерк.
Я бы мог ответить на все вопросы,
только ты едва ли теперь захочешь
что-то слушать. Запах сырой извёстки
Отдает дешёвой зубною пастой.

Мы опять застряли на перекрестке
не дорог, но судеб разбитых...

Здравствуй

* * *

Этот город соткан из поликлиник,
магазинов, прачечных, метростроев,
и когда в разорванном птичьем клине
узнаешь рисунок своих обоев,
то проходишь мимо без интереса,
будто держишь путь из уборной в кухню.

Если небо рухнет на эту местность,
Будет лучше всем...

Но оно не рухнет.

* * *

Иногда, устав от мирских нелепиц,
От житейской фальши и ширпотребя,





Обращаешь взор на ночное небо,
где висят пустые ковши медведиц,
освещая то ли ворота рая,
то ли звёздный путь [что, конечно, дальше].

Мы сплели созвездья из млечной каши,
И они горят.

Ничего не зная.

* * *

За окном картинка ночного града –
Натюрморт в оттенках немойтой свёклы.
Фонари роняют на автостраду
Чуть почаше – свет, чуть пореже – стекла.
Извини. Я просто опять скучаю.
Как хороший клоун от глупой шутки.

Вечер был отравлен зелёным чаем.
День – испорчен утром.

Ещё в маршрутке.

* * *

Наши паспорта не имеют штампов,
Чтобы их стереть. Послужные списки
Потерялись в урнах чужих почтамтов,
Под завалом писем, судебных исков,
рукописных схваток, в которых голос
не имеет веса по сути дела...

Я – спасибо – снова и пьян и холост.
Ты – спасибо – сделала, что сумела.

Музыка

* * *

Фортепьяно, лишённое белых клавиш,
Наполняет воздух китайской песней.
Всё настолько стало прозрачным, Нэнси –
Ничего не спрячешь и не исправишь...
И друзей-врагов, что тебя забыли
Не вернёшь, силком надавив на жалость.

Стало всё светлее.
А значит старость.
Это просто жизнь под налётом пыли.

* * *

Старость пахнет хной и варёным луком,
Требухой, навозом и пшённой кашей.
Этот запах, Нэнси, ведёт к разлукам
По кривым дорогам парадным маршем.
По кривым проулкам, среди проточин,
Меж которых шлялась всегда не с теми,

А теперь стоишь, убивая время
На одной из самых глухих обочин.





* * *

Время, Нэнси, тоже впадает в ступор
Как студент, при виде твоей одежды,
Опадающей плавно на спинку стула.
И, как он, бывает довольно грубо.
И бывает нежно, как он был нежен.

* * *

Это клин, чистилище, Чайнатаун
После этих мест не бывает «после»
Если вдруг оказался случайно там он
То пиши, пропало. Пиши, не бойся!
Всё одно теперь не придет, не въедет
В твой парадный зал на хромои кобыле...

Что тебе до жизни под слоем пыли?
Веселись, покуда осталось бренди.

* * *

Это слёзы. Слёзы, мой ангел Нэнси,
Потому, что запахи стали резки,
Потому, что ритмы любимых песен
И забыть нельзя, и напеть уж не с кем.
Потому, что клин. И мороз по коже,
Потому, что Патрик убил Греннуя.

Это всё, мой ангел, тебя волнует.

Мне на всё плевать.
Но я плачу тоже.

* * *

То ли год за два, то ли жизнь – ни к чёрту.
То ли просто местный паршивый климат.
Всё в порядке, Нэнси. Мои просчёты
Оказались просто полоской дыма,
В заводской тюрьме, где на новом стенде
Для рабов, уже набросали фразу:

«Веселись, покуда осталось бренди.
Ни о чём не думай.

Смирись и празднуй!»

Воск

Говорит что ещё вода, что ещё не лёд,
Говорит что ещё не камень, ещё смола,
Что уже, наверное, сделала что смогла,
Что ещё течёт, но уже замедляет ход.
Потому что всё реже зимы, всё реже сны,
Погостят немного – да извини, пора.

Нам не спать с тобой от вечера до утра.
Нам не быть с тобой от осени до весны.

Полежи в глуши.
Поскучай в тиши.
Поживи одна.





* * *

Достает лучинку. Вега. Альдебаран.
 Зажигает Спикку, Сириус, Южный крест.
 Говорит, что теперь не будет неясных мест.
 Говорит, что теперь прости, что теперь пора.
 Сохранишь любовь, а по ней горяча кутя.
 Сотворишь строку, а она пятистопный ямб.

Господи Боже сколько же у тебя
 Припасено ещё лампочек и гирлянд.

Не пусти в расход.
 Не яви исход.
 Поцелуй меня.

Яська Дрозд Гомель, Беларусь

ДИПТИХ ДЛЯ ЕЕ РЕСНИЧЕСТВА И ЕГО ОДИНОЧЕСТВА

исход

на завтра на утро наверное выпадет снег
 и усядется на коленях болтая ножкой
 хорошо наблюдать за снегом когда ты с ней
 ее смех щекочущий иней колкая крошка

две ее ладони вместятся в одну твою
 дверь ее подастся назад проскрипев что теперь

/я уже не рискую милая я сдаюсь
 занедорого милая потому что тебе/

девочка улыбается недоверчиво и растерянно
 у девочки дома кофе кончился постель не застелена
 девочка силится въехать что ты за зверь
 в дом ее тебя впускает нет не она а дверь
 девочка размышляет стоит ли зареветь
 ты здоровый медведь
 ну здоровый ведь
 можешь сграбастать может даже помять
 девочка морщит лоб
 хочет понять

ты улыбаешься девочке вниз и влево
 она такая смешная бело-снежная королева
 она
 не знает
 об этом не знает
 и ничего
 весна
 настанет
 растает
 ее ресничество
 ее цветейшеством станет ее колючество
 если ты постарайшься очень то все получится





а божьею милостью станет ее смеятельство
самостоятельно

/где-то внутри ноябрь осеняет город
что-то синичее бодро чихнет с балкона
это такое чудо мое ты горе
вот твоя комната
тапки
лаптоп
бегония
стойкий зеркальный стол с перхотью амальгамы
кресло ака кровать алсо инвалид
я определенно имею нелепый вид
на сожительство с этим домом и этой дамой

это такая честь ну вот такая чушь мне бы токая чуть-чуть
я привыкаю чо речь толкаю насчет общей блябудущности и чего-то еще
выдохся всё молчу девочка чур ты чур можешь улепетать пока отпущу
теплее тепло горячо/

а девочка тыц в плечо
где-то на дне груди раздается щелк

они так стояли наверное минуты две
за ними через глазок наблюдала дверь
тактичные тапки скромно косили вверх

ты даже не догадался ее обнять
девочка морщит нос хочет понять
зачем это пахнет чем это обонять

пока ты считаешь ворон облаков овец
внезапно светает в тёмной дурной голове
тапки
лаптоп
бегония
ты
она

бегом отсюда бегомее
вниз – не вверх
дверь
лестница
улица
белый свет

самое то
и полное вот те на

приход

Едва-едва солнце вползло в понедельник
Действующие лица: бездельник, дольник, тельник,
разруха в доме,
поленница дряхлых гитар.
Картинка где-то такая, корочке. Итак –

слушай сдавайся сливайся резво по буеракам и чащам
иначе скоро практически вот сейчас на горло наступит счастье
будет тебе сейчасье





и
сразу за ним потомство –
стоп-стоп.

Давай сначала:
это настолько напоминает чудо,
что даже по чистой случайности не способно не оказаться чушью
чуешь, к чему клоню? короче сиди спокойно
понял?

И ты сидишь. Сидишь и шнуруешь ботинки.
Какой ты внезапный, дружище, смотреть противно.
Белый конь у крыльца бьет копытом, лакей несет редингот –
дальше понятно
дверь
лестница
улица
ready
go

несись дурище немедленно к ней голый сломи голову
слышишь бегом бегомее слышишь бя
тебя ждет тощий котейка с осипшим голосом
давай на голос. Давай же на кой-то ляд.
Декорации самые к действиям располагающие
на их фоне зверь, бугаище, не – бугагаище!
В общем, вид у тебя впечатляющий и пугающий.
И есть дом где тебя ждет ляля.

ля-ля
ля-ля

вокализ ну да не из этой оперы
есть чутка
но при чем тут это беги щас есть шанс зуб даю на сто жизней начистить карм
выделяясь из сотен тыщ среднестатистических чупакабр
ничем ничего под собою не чуя мчишься дымит кирза
в голове ни единой мысли тебе бы вот только щас добежать
а на месте все будет понятно ежу понятно не веришь спроси ежа

чота дёта както слишком громко грохочет спокойно сидеть лежать
Наконец-то!

улица
лестница
дверь
Ой
не-не-не

назад.

(ты трус чувак ты брешешь что эту брешь не можно не замечать
с другой стороны – если ты не уйдешь
она не будет скучать)

сдваивай след разъединяй контакты
кто-то который ты снова хмыкнет так-то
исчезнет в кустах с безупречно английским тактом
пока-пока и так заждались в итаке





хитрожо... хитровы... хитроумного, блин, страдальца!
пока-пока
умилительно как
обрыдаться

В заключение злоключений нажрешься в слякоть.
А она там плачет. Она всегда будет плакать.

за «пока» прикинь воспоследует апокалипсис
и это конечно махровейший солипсизм
но она плюс ты равняется соль земли
А ты взял и свалил.

ты не думай ты обойми ее подыми
не пойми чего начудил начадил надымил
под ногами скользит ковровин колеблется мир
в равновесии удержим только вами обоими
только так это не метафора не пережим
как бы кутбы а ты как думал такая жизнь
в этой пропасти этой ржи ты бы мог быть жив
может, можешь, а?
ну чего ты молчишь, скажи!

да, потом она будет звать тебя безымянный
тебя как раньше будешь тошнить от мяты
вы будете мучимы каждый своей любовью
в твоем случае это Бродский
в ее Кортасар и Борхес
ты кто? ты некто
прикинь а она нечто
поэтому полагаю тут думать нечего
у вас ничего плохого не может случиться
все ясно слышишь ау все чисто
она у тебя одна
ты у нее второй
разуй глаза дружище глаза открой

**творческие
города**

партита





ПОЭТЫ НОВОСИБИРСКА

Александр Простой	3
Дмитрий Соколов	6
Елена Берсенёва	10
Ирина Васильева	14

ПОЭТЫ ИЗЮМА

Евгений Сипков	17
Лидия Прокопьева	17
Любовь Шевченко	18
Тетяна Підгорна	19
Юрий Татаринов	20
Анастасия Бережная	21



ПОЭТЫ НОВОСИБИРСКА

Александр Простой

МИРОУСТРОЙСТВО

Время – не физическая величина,
время – не величина вовсе:
не период, не миг:
и никто ничего не знает,
никто ничего не спросит,
никто ничего не постиг:

Вселенная – это погон,
на котором Большие огни
галактик,
сокращённо – Бог.
И что бы ты об этом не мнил,
всё именно так:
тик-так:
тик-так:
тик-так:

Линейка часов
чужда всему человеческому:
нет никаких часовых поясов
у вечности:

Всё – информация:
а любовь – информация,
что будешь спасён
там, где всё – информация:
вот и всё:

ДЫШАТЬ

Всё отражение целей,
отражение целей тебя,
целей тебя так много,
так много тебя теребят,

тебя теребят мадонны,
теребят мадонны всегда,
мадонны всегда с подонками,
с подонками чернота,

чернота заполняет жизни,
заполняются жизни до крышечки,
жизни до крышечки гроба,
а до гроба всё <Блинные>, <Пышечные>,

а до гроба былинно всё, пышно,
но всё пышное станет землёй,
ветром, огнём и космосом,
и в самом конце – водой,

водой, самой тихой и гладкой,
в которую можно смотреть,
можно смотреть бесцельно,
бесцельно сегодня и впредь,





где сегодня и впредь – отражение,
отражение целей тебя,
и целей тебя так много,
так много, что ослепят.

БЫТ

Каждый вечер
я смотрю
на три полотенца.

Оранжевое – жены,
синее – это моё,
и большое с пионами – детское.

ХАРДКОР

Пётр
воскрешавший
мёртвых
смерть
деял
слепою
верой.

Что
написано –
то стёрто
может
быть
последней
стервой.

Чёрт
зажёл
святой
костёр.
Бог
подглядывал
любовь.

Чех
писал
про трёх
сестёр.
Фет
рыдал
чернилом
слов.

САРА

В городе серых камней
Праздник серых теней,
Тоскующих серых растений,
В каждом сером окне.

Серая женщина Сара
С лейкою серной воды
В пространстве, сотканном из перегара,
Поливает свои цветы.





В её серых глазах огромных
Сыреет от серых дум,
Всё стареет в мечтаниях томных
Слабеющий серый ум.

За окном её – серое небо,
На подоконнике серый кот,
В серой хлебнице нету хлеба
Свежего: который год.

Чайник вскипел одиноко,
От задумчивости через край
Пролился из чашки-заварника
Серый китайский чай.

В душе её пустошь Сахара,
Нерешительность и тоска,
Серая женщина Сара
Уходит бельё полоскать.

НЕПОСЛАННОЕ ПИСЬМО КОМАНДАНТЕ КАСТРО

Как весна – это смерть зимы,
а осень – смерть лета,
как утро – смерть ночи,
а вечер – смерть дня:
так между тьмой и светом,
только не забывай про меня,
так между холодом и теплом –
откровение Божественного безвременья,
а не просто добро и зло.

Может быть, станешь ветошью
и из тевтонского сердца в оконную щель
высосет червонную суть твою
в другую Вселенную
для созидания высоких целей.

А может быть в собственном хосписе
под присмотром людей и ангелов,
почитывая учебник гения шахмат Хосе,
но это уже не важно на самом деле,
когда рушится твой Вавилон:
что же мне теперь делать?

И хотя, что искал, ты найдёшь далеко отсюда,
и если это окажется всего-навсего акварель,
а художник, закашлявшись, скажет, что у него простуда:
я прошу тебя, команданте,
помолись за меня, Фидель.

ЗВЁЗДНАЯ СОЛЬ

Серые птицы
греются на люке колодца
туберкулёзной больницы,
потрясающе смотрится:

Проходящему мимо
с большими сумками
нравится здешний климат,





он идёт с душой нараспашку
детскими рисунками:

Столько любви вокруг,
что хочется раствориться
звёздной солью в миру,
который похож на замерзающий сухофрукт,
чтобы заставить мир изнутри светиться.

Дмитрий Соколов

* * *

Вслушайся в заливхватскую
Песенку трясогузкину,
Что в переводе с датского,
Или, скорей, зулусского

Значит, что жизнь наладится,
Значит, что жизнь устроится,
Значит, что сеткой-рабицей
Отгородясь, укроется

От всевозможных трудностей
И от ненужных тонкостей,
Выставив без премудростей
Ветру навстречу лопасти

Мельницы Дон-Кихотовой,
Бросив мирок надуманный,
В вечер, где чей-то сотовый
Хрипло играет Шумана.

* * *

Уходящим светом – тянись до него, вдохни,
Заучи, как тени на вкус холодны и терпки -
Уходящим, тихим – небо не наклонить.
И березы шепчут. Скорее всего, по-сербски.

Это снова прятки, как в детстве – играть в листве,
Уходить в листву, сквозь корни, но прежде – в землю,
Забирая солнце, и тени, *и све, и све...*
Винтокрылый агтел, и око его не дремлет,

Одождит грибным, разрывным, а пока, пока –
Согревая руки, дышать и дышать на ладан;
Уходящие травы держат тебя в руках,
Провожают и машут, машут. И будь неладен

Этот свет в глаза, этот трепет замерзших рук,
Этот страх остаться здесь нераздельно, слитно.
Винтокрылый агтел заходит на новый круг,
И березы шепчут. Скорее всего, молитву.

и све, и све (сербск. разг.) - и так далее, и все остальное





* * *

Свет норовит оставить след на полях письма;
Ветки упрямой тушью тянутся, тянут ввысь.
Снег – белизна бумаги, кисти японской взмах,
Чаще и чище дышится. Слышится – торопись.

Чашка с зеленым чаем. Можно листать Басё:
«Сакура под горою в княжестве Фукуси...»
Односельчане Ноя знали, что пронесет,
Зонтики покупали, выучились носить,

Спали, играли свадьбы, сеяли без затей,
Мерили день – пшеницей, вечер – тугой лозой.
Свет норовит прерваться. Если бы не метель,
Я бы поверил: небо стынет перед грозой.

Сколько надзвездных листьев, сколько Арктуров, Вег
Кружится, опадая с дерева Иггдразиль...
Как не увидеть этот пре-восходящий снег?
Нас замечает с неба. Прочее – не грозит.

Односельчане Ноя знали – и им видней,
Вместе со мной дивились странному кораблю.
Все это ненадолго – на` день, на пару дней.
Брошу читать японцев. Зонтик к весне куплю.

* * *

А поле тянется к небу,
Холмами взбегает к небу,
Струится ему навстречу
Осенним костровым дымом.
А поле тянется к небу,
Взмывает навстречу снегу,
Белеет, думая – жатва,
И снова тянется к небу
Ладонями ледяными,
Приносит себя в ладонях.
А поле тянется к небу,
Рождает за колосом колос,
Вынашивает полгода,
С зерном умирает в мае.
Ни отмели в нем, ни брода,
Но поле тянется к небу,
Восходит на небо хлебом,
Хлебом, что станет Плотью
Сошедшего с неба Хлеба,
Ставшего Плотью Слова.
Безумцы, ловцы, скитальцы,
Примите его, смотрите,
Как вырвался в небо колос,
Как поле уходит в небо

* * *

Как всегда – тишина, и звезда, как всегда, неприметна,
Только точка во времени, искорка где-то в пространстве,
Где лишь ветер застыл в изумленном своем постоянстве,
И вращается мир, как всегда, относительно ветра,





В ожидании, снова и вновь возвращаясь к истоку.
В промежутках – история, слава, вожди и герои,
Каравеллы Колумба, Париж, разорение Трои,
Вдохновение Запада и погруженность Востока.

Полумрак Шестопсалмия, лики и гулкие своды,
И пасхальный восторг, и прозрачное небо апреля,
И полет фонарей в серебристой январской метели,
Голоса и безмолвие, даты, минуты и годы,

Горьковатый костер и предчувствие пыли дорожной.
И огромной Вселенной – кружить и кружить одиноко,
В ожидании снова и вновь возвращаясь к истоку,
Где ролеют волхвы, и звезда замерла острожно.

* * *

Кабы знать, на каком дворе, на какой траве
Наломаешь дров, накидаешь бисер на ветер;
Напиши оттуда, покуда пустой конверт
Уверяет: верь, белый свет – не бел и не светел.

Расскажи – навывлет, на вдох, чтобы только – быть,
Чтобы только ввысь, и несло по горам и весям.
Остается ветер – степным, и дорожной – пыль,
И холодной – быть. И слова ничего не весят.

А слепой котенок барахтается в пыли,
И не знает, бедный, не знает, еще не знает,
Что грудная клетка по праздникам не болит,
Что встречать любовь надлежит непременно в мае,

Что совсем не важно уметь замечать следы
От беды, опасаясь в полночь ее накликасть...
И тебя несет к берегам Золотой Орды
Кулундинской степью – слепой, беззакатной, дикой

Кабы знать, на какой шесток, на какой Восток
Улетит листок, лепесток, возвратится к югу,
И когда восторг сократится до пары строк,
Остаемся верить и жить. И писать друг другу.

* * *

Дальше от пламени, ближе к полуночи,
Жить ожиданием, сплетничать, умничать,
Выйти из образа, стать настоящими,
Сыпать одними цитатами, к вящему
Их прославлению и затиранию,
Не соглашаться со сказанным ранее;
Нервными строчками, нитками белыми...
Что говорили мы? Что же мы делали?
Что наболтали мы? Как же мы... Что же мы...
Истина с ложью – такие похожие,
Не заблудиться бы, не потеряться бы,
Не затвориться бы старообрядцами,
Не оказаться бы ближе к полуночи
Вновь в одиночестве осени сумрачной.





* * *

Телефонные линии заняты, как ни крути,
Только с летними ливнями встречу я после пяти,
И метро опрометчиво пустит меня погостить;
Мне рассказывать нечего, впрочем, могу наплести
Про туман над Катунью, про питерский легкий гранит,
Про вокзалов безумье, про то, как молчанье хранит
Вековая Азия... Только прощаться пора,
Пусть в словах недосказанных бьются тугие ветра,
В набегающих сумерках бродят по улицам вдоль
Неизвестные, в сумме дающие все-таки ноль.
Ветер в городе северный, значит, не врет календарь,
Значит, ливни июльские сменит осенняя хмарь,
Значит, время – вперед, значит, поздно бросать якоря.
Я встречаю восход золотого, как мир, сентября.

* * *

Города-паруса. Каждый верен своим сентяблям,
И доступен ветрам, и стремится куда-то без цели,
И каналья-канал совершенно по-невски упрям,
И распахнуто устье в лагуну в обход Сан-Микеле.

Города-сентябри. Опадает листвою календарь.
Колокольнями тянется вверх облетевшее время.
Выбирай себе колокол. Только в какой ни ударь –
Растворишься со всеми в одной много-эховой теме.

Здесь у времени нет адресов. И какая нужда –
В этот город тебе никогда и никто не напишет.
В этом городе некого ждать. Слышишь: некого ждать.
Лабиринты мостов, колокольни, и крыши, и крыши.

Догорающий день, как костер, чуть заметно горчит.
Остаешься опять перед выбором: вещь или вече,
Или вечность. Спускается вечер, дробятся лучи,
И распахнуто небо, ладонями – сердцу навстречу.

* * *

странная осень – вьется,
кружится, как земля.
где вы, дворы-колодцы?
/скобочка на полях/

брошенные задачи,
питерские мосты
прячет, кого-то прячет
странное слово «ты»

/краешком глаза, если
глянуть наискосок/
странное слово «вместе»
прячется между строк,

кружится на асфальте,
кружит, метет, несет
мне – улетать. бывайте
скобочка)
точка
всё





Елена Берсенёва

Родилась 28 ноября 1974 г. в рабочем поселке Каргаполье Курганской области. Сфера деятельности: управление веб-проектами. Первое место новосибирского городского конкурса им. Павла Васильева в номинации поэзия, 2011 год. Публиковалась в литературно-художественном журнале «Страна «Озарение» (№ 6, 2007), Новокузнецк; журнале «Сибирские огни» (март 2011), Новосибирск; журнале поэзии «Лава» № 12, (апрель 2012), Харьков.

Дурочка

А они говорят мне: - Кушай и улыбайся!
А я говорю: – Мне бы просто воды напиться
А они: – Не отказывайся, тупица!
Положи вон того еще белого и золотого!
Что за люди пошли – ничего святого!

А я говорю им: – От сладкого зубы ноют.
А они говорят: – Да полно, не зазнавайся!
А они говорят: – Ты так не шути со мною!
А они говорят: – Бери, не сопротивляйся.
Улыбайся, говорят тебе, дурочка, улыбайся!

Коротко ли долго

Близкие сходятся, дальние расстаются.
Долго ли, коротко, вышла на берег Маша.
Тапки сняла,
Покрутила волшебным блюдцем,
Яблочко съела, закинув огрызок в море.
Что ни загадывай, кажет одно лишь горе,
Что ни задумывай, только лишь посмеются.
Лучше не видеть вовсе, чем жить пустое,
Легче на шею камень, чем дальше больше.

Каменные реки, ягодное болото,
Сколько клубку катиться – вернет по кругу.
Всё исходила, дурко, ждала кого-то –
брата, соседа, волка, милого друга,
беглого, дальнего... вышла на берег, море
мокро ругалось, выплюнув золотую.
Рыбка сдарила Маше две новых юбки
Да башмаков две пары на смену старым.

- Знаешь, сказала рыбка, я так устала!
- Знаю, сказала Маша, сама такая.

Пока живем, грежим костями

Пока живем, грежим костями,
Гостями топчем свой паркет,
Бог собирает нас горстями
В огромный мусорный пакет.

И бесполезно извиняться –
Танцуй, работай, или плачь –
Он, наконец, решил прибраться,
Его достал весь этот срач.





Старая история

Далеко-далеко за лесом,
Где деревья светлы и сонны
В старом замке икнет принцесса,
Доедающая дракона.

Верный конь на тропе споткнется
Под кольчугой из темной стали.
Поперхнувшись, промолвит: – Рыцарь,
стоп! Мы, кажется, опоздали.

Принцесса

Принцесса выходит из замка, сожрав дракона,
Принцесса двенадцать лет не видала солнца;
Она сегодня объявлена вне закона,
И вся королевская конница ознакомлена
С приказом –
У конницы нет вопросов.

Быстрым шагом сбегает с крыльца
Красавица. Она
Собирается навестить отца.
Принцесса смеется солнцу,
Она сюда не вернется.

На опушке леса созрели вишни,
У принцессы веса ни грамма лишних,
У принцессы четыре заочных высших,
Познала Дао,
Читает Ницше.
Тропинка, петляя, уходит выше.

Глумясь в отражение зеркальца
Чешуйки смахивает с лица,
Поправляет волосы, не спеша
Облизывает пальцы –
Все руки
В вишневом соке.
Щекочет ноздри ласковая пыльца.

Над развилкою месяц остался висеть
Тропинки за лесом не видно совсем
Принцесса
Поправляет свой пыльный АК-47
И идет в деревню.
За ней
Наступает осень

Не слушай

Послушай, дело ведь не в словах,
А в том, что они скрывают.
Так лучше, не думай, что дело швах,
бессонье, дурная весть.
Ты уши просто закрой ладошками,
Как малыши закрывают





И слушай не то, что тебе говорю,
А то, что реально есть.

Зеленый жук по траве ползет,
Под юбкой игрится ветер,
Весна повязала своим шарфом
Попробуй, перевяжи.
Когда нам все-таки повезет,
Клянусь, ни за что на свете
Не буду слушать, что шепчет в уши
Дурацкая эта жизнь

Апрель, утро

Ворона несет какую-то ветку. Как видно, в гнездо.
Девочка в шортах на улицу вышла – на лужах ледовая корка.
Мама несет дочкин ранец одною рукою, другою сигарету.
Все повторяется. Вот и маршрутка подъехала. Едем.

В пустоте

Тесно в пустоте.
Холодно в аду.
Нет приличных тем,
Лучше помолчим.
Если мы – не те,
Подведем черту.
Нету крепче стен,
Чем стена из слов.

Неба вечернего пыльная синева

Неба вечернего пыльная
синева
Солнце истошно-красное как
кирпич
Кто сказал, что город
мой –
лишь слова
что не выучить, выучив –
не постичь?

Если любишь, то не выпускай
из рук.
Только крепче держи,
держи.
Это солнце – кровавый тугой
паук
В сонном городе,
сотканном
изо лжи.

Стены желтые,
Сирые кирпичи
Молод, стар ли, зим ли
Чуть больше ста.
Кто и хотел заехать,
Тот потерял ключи
Топчется Буратинкою у холста.



Неба вечернего сладкая
синева
Солнце печально-красное
посреди
все трава мой друг,
это все – трава
не задерживайся,
проходи

Иногда нужно просто с кем-то поговорить

Иногда нужно просто с кем-то поговорить
Позвонить, приехать, в крайнем случае, написать
Набирать по памяти старые адреса,
Прислушиваться к голосам,
Пытаясь их воскресить.

Делаешь шаг во дворы, и время
начинает слезать с тебя, как шелуха,
город растет сквозь тебя осокой,
раздирает корнями кроссовки –
десять тысяч обратных шагов
до спускового крючка;

и вот она там, судьба, зарылась в детский песок,
в сорных отлёживается пустотах,
там, где были теплицы, забор, лебеда –
ровным войском выстроились высотки.
А тебе-то казалось – застряла там навсегда,
– и вот оно, время – хороним своих усопших;

дети – чумазы, как всегда,
бабушки, прогуливающиеся сонно,
эти давно забытые города.

Ирина Васильева

Три лета нет лета

Поговорим небанально. Вот, например, о том,
Как уснуло летнее платье на дне комода.
Мы навеки стали фигурками под зонтом
В, это якобы теплое, время года.
И, погружаясь в вечность от мая до сентября,
Мы говорили с небом. Мы воздевали лица.
Мы улетали, как птицы, на разных цветов моря
Из нашей сибирской холодной родной столицы.
А те, кто остался, кутались поплотней,
Лечили пломбиром горло и грели в карманах руки.
Так проходило немыслимо много дней,
И в город входила осень – уверенно и без стука.
Но в маленьком домике нашем – совсем глубоко внутри –
Еще сохраняется теплая атмосфера.
Здесь не было лета три года. Да. Ровно три.

И у дочери обувь почти моего размера.





Тем, кто сдавал

Гуманитариям моих девяностых

Два вопроса всё тянутся. Это и есть билет -
Проездной ли, плацкартный, счастливый (чтоб съел – и порядок!)
Только одно и было у нас – восемнадцать лет,
Да в карманах гармошки в клеточку из тетрадок.
Ну а мы, виртуозы, играли практически на виду:
Наизусть Державин да вечное из латыни,
Да случилось что-то в таком-то таком году,
Да сказал нечто мудрое каменно старший Плиний...
Мы носили в себе понемногу от всех наук
И весёлый голод, и боль от большого счастья.
Время, старый фокусник, спешит на ловкость рук
Свою власть над нами. И то, что не в нашей власти.
И порою кажется: просто забыл, но знал,
Ведь учил! А попалося другое, не то, не это.
Два вопроса, как репка, тянутся: сдал? не сдал?
И гармошка в кармане уже не даёт ответа.

Эффект бабочки

Говорили, что на ночь вредно: кануло, прожилося,
Лёгкому телу и чистому разуму крепче спится.
Но сегодня прошлое как-то особенно удалось,
Я себе позволю ещё кусочек, ещё бокал и ещё страницу.
Я насыщаюсь прошлым медленно, по чуть-чуть,
Но сердце, воспрянув, выстукивает торопливо:
Те гербарии были травой, которая мне по грудь,
А те, с фотографии, все до единого (кошку включая) живы.
А когда моё прошлое станет вечностью и позовёт всерьёз,

Все ветра земли на дороге проводят, погладят спину.
Я оставлю дочке родинки, голос и цвет волос,
А группу и резус оставлю в наследство сыну.
Я стану извилиной в чьей-нибудь голове,
Огнём, который спалит навсегда лягушачью кожу,
Я стану песчинкой в пустыне, шапкою в рукаве,
Хозяин которой под оперу дремлет в ложе.
Я стану бабочкой, что породил эфир,
Другие звёздные дали, другие млечные выси,
У которой на крыльях лежит пылью наш странный мир.
От которой многое (если не всё) зависит.

Тот самый

Когда-то леталось ему: на Луну (в новолуние – на ядре).
Говорили о нём: каких поискать стрелок.
Правда, жил при этом, простите, в такой дыре!
И тянул себя – вырывая за клоком клочок.
Так, за чаем чай, проходили годы. И он устал,
Понимая, что слишком увяз. Что по горло сыт.
Он тихонько знал, подливая ещё в бокал,
Что на прежнем месте к ненастью всегда болит.
А вокруг гадали: тот самый? Да нет, не он!
(Волоча в корзинах различных оттенков снедь.)
Отдували пену: опять не в себе барон.
Впрочем, что нам? Точить бы лясы да уши греть.
У него опять полетели утки, да все – в трубу,
Заскочив на обед где-то к югу на полпути,
И олень, путеводной вишней горя во лбу,
Уступал тропу, по которой ему идти.





А куда? Далеко ли? Надолго? Придумай сам.
И случится что-нибудь. Завтра. В обед. Вот-вот.
Он там был. И вся правда текла по его усам,
Ни единой каплей не попадая в рот.

Многоклеточное

В самый лютый холод носила душу
Натуральным мехом наружу.
Говорила о том, что никто не нужен.
Но в каждой клетке моей протекала жизнь:
Королю объявили мат и разжаловали в пажи.
Утонул трёхпалубный (тысяча с лишним мест).
Каждый ноль терпеливо несёт свой крест.
Не допрыгать до солнца. А как мы умели в детстве!
Все пути пролагая мелом – ну чем не средство?
И шагали в обуви, к осени снова тесной,
Через сердце. По сердцу. Ну что там ещё за сердце?!
Выхожу на стук – вот одна из моих дорог.
Что случится дальше, заранее неизвестно.
Но оно переступит – любой болевой порог,
Чтобы биться и дальше, как пламя в печурке тесной.

Про любовь

Не бывала ни на Канарах, ни на Мальдивах, а всё долбила
Про упавшую розу и лапу, и эдак, и наоборот.
При ней не смей окунать ни палец, ни нос в чернила,
Не то забудет тебя. И в тёмный чулан запрёт.
А ты всё любишь и любишь, и сердце тратится,
А сердце капает медленно – навсегда.
Её эти губки, локоны, на кокетке платице,
Её это «нет», которое ближе к «да».
А розы всё падают (мимо груди) и слова не сказаны,
Только и слышится, на день по десять раз:
«Ах, вы, гадкий шалун! Вы должны быть наказаны!»
И – опять долой с её голубых подведённых глаз.

Никто

Без этого человека рассказ о себе не полон.
Но ты промолчишь, как двоечник наедине с задачей.
А совесть будет ходить по следу, грозясь уколом,
Но ты уйдёшь от погони, пускай хоть трижды собачьей,
И затеешь легко, свободно бродить по свету,
Ни о чём (может, самую малость) особенно не жалея.
А если кто-то случайно заглянет в твою анкету,
Прочитает: не был, не состоял... Никто. Вариант Одиссея.



ПОЭТЫ ИЗЮМА

Евгений Сипков

Родился в Харькове в 1955 г. Карикатурист газеты «Обрії Изюмщини», художник, поэт, член союза журналистов Украины. Публикуется в изданиях Харькова, Изюма, Славянска.

С О Н Е Т

Мне снится море зимними ночами,
И горы в пене облаков,
Закат с багровыми лучами,
Скалистый берег – дань веков.
Мне снится южных звёзд мерцанье,
Дыханье ветра, запах трав,
Ночами долгие свиданья,
Абхазской девы гордый нрав.
Мне снится образ твой прекрасный,
Глаза – цвет неба и озёр,
Твой поцелуй горячий, страстный,
И чувств негаснувший костёр...
Забросить все дела и возвратиться?
Увы! Теперь мне это только снится.

Мы ставим ударения, акценты,
На важных слогах и словах.
Но время выставит свои оценки,
А вечность превратит их в прах...

Лидия Прокопьева

О, судьба, дай мне крылья к полёту.
Защити их от встречных ветров.
Чтоб Икар мой к небесным высотам
Устремиться всегда был готов.
Уведи в столь манящие дали,
Приоткрой мне завесу красы.
Чтоб туманы цветеньем спадали,
Бриллианты сверкали росы.
Чтоб дурманящим цветом акаций
Будоражило душу весной.
И хотелось бы чайкой метаться
Над бурлящею пенной волной.
О, судьба! Фея ты, ворожея.
В твоих тайнах всегда на виду,
Словно в чутких руках Фаберже я
Своим чувствам огранку найду.



* * *

Не оставляй меня одну,
Не оставляй на грани.
К стене забвения прильну
Без цели и желаний.
В час расставанья помяну
Восторги и напасти...
Не оставляй меня одну,
Моя ты боль. И счастье.

Любовь Шевченко

*Родилась 23 октября 1959 г.
Любит стихи Анны Ахматовой.*

* * *

Ты на краю моей души,
За занавесками из лжи
Оставил место мне.
Надёжно спрятал про запас,
Оно хранится и сейчас,
Покоится на дне!
Тебя кидает жизнь в поток,
Ты снова получил урок
И женщина твоя
Тебя, то любит, то казнит,
А у тебя душа болит,
В том месте, где есть я.
Где лист осенний танцевал,
И мне про «Солнышко» шептал
В счастливые года,
Где был ты весел и любим,
И где уже ползла, как дым,
Твоя беда...

Подруге

Стучишь каблучками, дырявишь асфальт,
Бежишь, спотыкаясь, домой;
А дома всё то же, а дома тоска,
И кто-то живёт чужой.
Привычные жесты, притёрты слова,
В газету уткнулись очки...
К чему ты стремилась? К чему ты неслась,
Сбивая свои каблучки?
Надежное счастье, семейная быль,
Постель, как зевок на бегу;
Зато всё прилично, зато вся в делах...
А я, так как ты, не могу!

* * *

Вся чумазая, но чистая,
Полусонная, но быстрая.
Ты – то грубая, то нежная,





То горячая, то снежная,
То как туча, то как солнышко.
Всю люблю тебя до доньшка,
Моя радость, моё горечко...
Всех дороже ты мне, донечка!

Офелия

Речка, реченька, обними меня,
Приласкай меня, приголубь;
Ты журчанием замани меня,
Затащи меня в свою глубь.
Я, как пёрышко, невесомая
По твоим волнам полечу;
Я – бесплотная, я – особая
И небесная я чуть-чуть.

Тетяна Підгорна

Родилась в 1951 году, в селе Ольховый Рог, Харьковской области. Победитель поэтического конкурса 2003 года. Публикуется в изданиях Изюма, Славянска. Автор поэтического сборника «С осенью в сердце».

* * *

Поети розмовляють з Богом
За підсвідомістю буття.
Де – ще не пройдені дороги,
Чи вже прожиті почуття.
Здавалося б, звичайні люди,
Але чомусь, у всі віки
Їм здобний пряник буди всюди,
Від влади – перші батоги.
Вони – не визнані пророки?
Чи гріховодники буття?
Поети розмовляють з Богом
На території життя.

* * *

Не приходи до мене у сни,
Тут глухі, безпросвітні будні.
Стільки літ від тієї весни,
Де лишилися ми непідсудні.
Знаю, милий, життя твоє
В недосяжно-далекім світі.
Там і сонце не так встає,
І дерева в чарівному цвіті.
Обійду сто доріг, сто світів,
Де ти є, хай розкажуть люди.
Тільки б вогник душі горів
Я тебе шукатиму всюди.
Небо зорі розсипле вгорі.
Хочеш, я їх зберу руками.
Де зустріти, в якій порі?
Ми прочани поміж віками.



* * *

На Дикому Полі посієм пшеницю,
Де коні татарські гуляли в імлі.
А дід під вербою копає криницю,
Аби тільки люди жили на землі.
На Дикому Полі яри й переліски,
Де мчала громами проклята війна.
Сторожею стали сини-обеліски,
Вкраїна, як мати, у світі одна.
На Дикому Полі у розквіті мальви,
І юна матуся дитя сповила.
Блакитного неба не вицвіли барви,
Й шепоче про вічність вітрам ковила.

* * *

Благаю допомоги в неба.
Ні не собі, мій Боже, ні.
Моїй онуці жити треба
На грішній цій. Святій землі.
Життя запалить і остудить,
А люди добрі є, і злі.
Жаліють мало, більше судять,
Чужі? Та ні, найперш свої.
Благаю в Бога допомоги,
Доземні я поклони б'ю.
Не залишай же без підмоги,
Малу онученьку мою.

Юрий Татаринов

* * *

Вот и всё, похоже. Осень
Надо быть настороже.
Торный путь листва заносит,
Что на сердце – то в душе:

Только-только встал на ноги,
Только пот смахнул с лица,
Как уже пора в дорогу,
Ту, которой нет конца.

Не глобальная проблема,
Не бог весть какой урон.
Отработанная схема
Всех народов и времён.

Разве мельком то смущает
И грустит принудит впредь:
С другом там за рюмкой чая
Ну, никак не посидеть.



* * *

Ну, как там, что?
Стоит деревня наша
Или одно название как есть,
Где нас отцы «берёзовою» кашей
Так угощали, что не встать, не сесть ?

Но ничего, лишь задницы дубели,
Да жёстче становились кулаки.
И всё же мы душой не огрубели,
Прогнозам педагогов вопреки.

* * *

Минус пять – не минус тридцать
Да с попутным ветерком.
Нету повода журиться:
Март – парниша с гонорком.

То – потешится теплыню,
То – пожалует снежком,
То в глазах девичьих синим
Вдруг займётся огоньком.

Искушающим и страстным,
Пепелящим всё нутро.
Вот уж точно – жизнь прекрасна,
Вот уж точно – бес в ребро.

Анастасия Бережная

*Родилась 22 марта 1995 года в городе Изюме Харьковской области.
В настоящее время живёт в Москве. Учится в десятом классе московской гимназии.*

Страницы лирического дневника

Апрель.

Я сижу молча, не произнося ни слова, Лицо без эмоций. Только мысли, которые явно проникают по клеткам извне. Стремятся в сознание, в душу. Я терплю, просто зубы стиснула. И кулаки. Я пока не верю в значение прочитанных слов. Ещё раз перечитываю, ищу ошибку. Не нахожу. Руки начинают трястись. Боль уже затопила сердце. Быстро встаю, почти забегаю в пустую комнату, как будто в других закончился кислород. Закрываю за собой дверь. Я держалась. Сейчас сползла по двери. И ору. Без единого звука, но с виду я кричу вовсё горло. Перестаю «орать», порция боли вышла. Именно та лишняя часть, которая разрывала пять минут назад сердце. Да, оно заживёт. Время лечит. Через время мне покажется это чепухой. Слезы, как второй поток боли, как вода, выливающаяся за край, ручьём текут, размазывая по щекам тушь.

Октябрь.

Поток мыслей рушится, как водопад. Сколько слов проносится в этом течении. И тут я замечаю, что все слова обращены к тебе. Я мечусь по квартире, ношусь, говорю с тобой. Ты обычно не отвечаешь.

– Мы будем пить зелёный чай, да? Ты пробовал этот? Нет? Он так вкусно пахнет, я думаю, тебе понравится, – в ответ – тишина, ты просто слушаешь





меня, пока чай заваривается. Потом я сажусь за стол, ставлю одну чашку себе, тебе – вторую. Я много ещё что рассказываю тебе за чашкой чая. Ты всё не отвечаешь, но я знаю, что могу тебе доверить всё, что сказала, что ещё скажу. Я пытаюсь угадать, о чём ты думаешь, ведь ты же всё молчишь. Но я вижу улыбку и успокаиваюсь. Я допила свой чай, твой, по-прежнему, на противоположном конце стола, только остывший. Я рассказываю, что сама пью холодный всегда. Я бы хотела послушать тебя. Иногда представляю, о чём бы ты мне рассказал.

Но так не всегда. Иногда я на тебя злюсь. И не разговариваю с тобой. В качестве вызова ставлю одну чашку. «Так вот тебе!» Но чаще я злюсь на себя. Сколько можно мысленно разговаривать с тобой. Какого чёрта? Всё. Не буду больше наливать тебе чай. Ты всё равно его не пьёшь.

Ноябрь

Каждый человек находится с тем, кого заслуживает. – Я пытаюсь проанализировать этот факт. – Насть, ты со мной согласна? – Я молчу. Анализ мыслей ещё не закончен. Я отвожу глаза, как будто меня не спрашивали, в знак протеста этой мысли. Папа продолжает со мной разговаривать. – Ты обладаешь удивительной способностью – не отвечать на вопросы. Но ты поймёшь меня, когда полюбишь. – Я снова молчу, чуть улыбаюсь, но глаза не поднимаю. Со стороны, наверное, кажется, что я просто не слышу, что со мной говорят. Я понимаю папу. Ужасно. Говорить, но в ответ не слышать ничего. Вот, я тоже говорю, а он не отвечает. Даже чай не пьёт. Только смотрит и, почти незаметно, улыбается. И разозлиться не можешь, потому что очень любишь. Дальше папа говорит, что нужно обязательно съездить на Чукотку. Я представляю холод и перед глазами возникают картинки: он мне греет руки, а я понимаю, что сейчас он уйдёт, и пытаюсь, как можно больше, впитать этого тепла. Папа замечает пронзительную мысль у меня на лбу. На вопрос: «Что такое?», я говорю, что там холодно. – Это потому, что ты никого не любишь, иначе бы любовь тебя согревала. – Я не отвечаю, выбираю в рисе креветки, чтобы не помнить, как мёрзла в кино, но меня согревали его руки. Я думаю о том, что у нас дома в аквариуме тоже живут креветки и о том, что папа говорил, что наших креветок нельзя будет бросить на сковородку и зажарить в оливковом масле. Потом, не помню, как папа перескакивает на тему курения и говорит, что, если я буду курить, он от меня отречётся. Я снова не отвечаю, думаю, папа уже и не ждал ответа. А сама про себя говорю: «Всё в порядке, пап, я и не собираюсь, ведь мне он как-то сказал, что курить мне нельзя. Я была страшно довольна этим запретом. А, когда он во мне засомневался, я залилась. Папа говорит, что я даже не представляю, что твориться в его голове. Я, думаю, он тоже не представляет, что в моей, но пока об этом не знает. Поток мыслей продолжается. Я стараюсь остановиться на простых предметах. Столовый нож, кожаная книжечка с чеком, скатерть, занавески на окнах... Но мысли атакуют. Мы уходим из ресторана. Поспешно сбегает. Мне не хочется домой. Не хочется никуда. Только ехать. Очень быстро. С музыкой.

Как-то, в переписке, мой друг спросил, любила ли я когда-нибудь. Любила. Сейчас вспоминаю, что опасалась этой любви, а потом не смогла разлюбить. Хотя иногда думала, что всё прошло, но я ошибалась.

– Любила, – отвечаю я. Ставлю точку и иду заваривать чай. Молча. Я – одна. Только одну чашку. Зелёный холодный чай.

«Кафе. Он говорит, что знает о том, что я не пью колу и заказывает мне кофе. Я делаю несколько зацепок шипами моей розы, но не замечаю этого пока. Вокруг меня гнетущие взгляды с насмешкой. Я разрываюсь между желанием спрятаться за его спиной или врезать им всем за их ехидные улыбки. Я уже чувствовала, что они испортят всё».

«Дзынь. Чайник вскипел. Я завариваю чай, бросаю лёд и возвращаюсь к монитору. Там ответ от того же друга. Я перестаю злиться на компанию из воспоминаний и мне становится грустно. За друга.

– «Ты хотела бы с ним встретиться?» Я отвечаю: «Не знаю, скорее нет, чем да...» И потом понимаю, что соврала. В первую очередь себе. Меня это давит. Приходится поверить. Поверить в свою ложь. Какой ужас! Это соврал кому-то, можно извиниться. Сказать: «Извини, я сказала неправду.» Найти оправда-





ние, что сама ошиблась. Но, как быть, если соврала себе?! Почему? Бес попутал? Или сам виноват, не разговаривал со мной, когда я мысленно всю душу открывала...

Декабрь.

Моя любовь умерла за два дня, а, точнее, за день и ночь. За сутки. Как огонь, она то утихала, то разгоралась, но, потом, лишь тлела во мне. Ни боли, ни радости. Тупая тяжесть. Я маялась. Ничего не хотела. Даже ничего не делать не хотела. Сила воли отсутствовала напрочь. Типичная депрессия, только без боли. Я даже не хотела хорошо выглядеть. Во мне умирала привязанность. Как будто я приняла антибиотики, и они стали убивать, как вредные, так и полезные бактерии во мне. Я не знаю, к каким относилась любовь, но она также погибала. Ничего не болело. Меня мучило только ничегонеделание. Музыку выключила. Отключила телефон. Всё вокруг было неприятным, болотного цвета, тусклым. Я смотрела на те же предметы, которые окружали меня каждый день, а они выглядели по-другому. Спать я тоже не хотела. Но не было никаких мучительных раздумий в моей голове. Внутри не разгорался спор, всё было решено. Я не хотела плакать или улыбаться. Апатия. Не помню как, но я заснула.

Вы думаете, людей всегда больно терять? Иногда наоборот, так легко становится. Я говорила себе: «Время лечит.» Но не время, а жизнь. Можно сколько угодно ждать, пока чувства появятся или умрут, время здесь не при чём. Нужно жить. Живёшь, и вот на каком то этапе своей жизни понимаешь, что человек потерян. Он не ушёл, просто потерялся сам собой. Даже самое большое сердце не безгранично. Чьё-то переполняется любовью, чьё-то болью; но так или иначе, когда всё, что даёшь человеку, теряется, как стёртые ластиком слова, как сожжённые письма, как не услышанные фразы, человек пропадает. И даже, если видишь его, то в глазах только безразличие и, может, доля сожаления, потому что человек существовал, жил, а теперь...Он, вроде, и не умер, но от него остался пустой сосуд, упаковка, ёмкость с воздухом. Иногда, не только ты видишь, что ёмкость пуста, иногда остальные ещё продолжают наполнять этот сосуд своими идеалами и ошибочными мнениями. Будут даже те, кто стенки этого сосуда будут принимать за его содержание. Но, для тебя человек потерян. Поначалу я задавалась вопросом: «Почему такие потери не причиняют боль, даже скорее освобождают?» Но, это, наверное, потому, что не теряешь часть себя. Нет. Лишь оставляешь на пройденном пути следы. А, какое мне дело до этих следов?! И, хотя, для меня эти следы не имеют значения, я не буду жалеть об искренних поступках и словах. Они топтали за моей спиной все мои искренние жесты, а я видела маску, а не их лица. И они считали, что так и меня топчут, но я была выше. И я хочу, чтобы со мной были искренними и тогда, когда хотят меня видеть, и тогда, когда не хотят со мной здороваться. Иначе эта лживость, вся подделанная под вежливость, становится теми горизонтами, за которыми теряются люди. И я буду рада таким потерям. Спасибо, вы многому меня научили, но пустые коробочки от чая я выбрасываю. И можно было решить, что любовь была всего лишь ненастоящей. Возможно, я любила образ, ни человека. Образ, составленный мной, кем-то ещё. И я приняла образ, как срисованный с манекена, на котором лишь шился он...

В последнее время образ в моих глазах уже начал отделяться от человека. Я говорила с собой мысленно часами, а, увидев тебя, скорее расстраивалась, чем радовалась. Вернее сказать, что не радовалась совсем. Почему меня не пугало, что желая услышать от тебя слова, я не придавала значения ни голосу, ни взгляду. Образ. Клише. Человек потерян с тех пор, как я его поняла. До этого я воспринимала либо то, что хотела видеть сама, либо то, что так красиво преподносил он сам. Имени больше нет. Оно тоже потеряно. Удивительно, что в твоём сосуде было столько образа, что он, как грим для актёра, скрывал твоё истинное лицо. И мне хочется опустошить себя от этой ошибки и поставить жирную точку после слова «Прощай». Ни каких тебе там «Я буду помнить». Может и будет что-то в памяти, но, если я любовалась яблоком так долго, что оно начало гнить, то, выбрасывая его, я не говорю «Я буду помнить тебя»... Согласитесь, абсурд.

И я теперь завариваю одну чашку чая, не говорю больше с тобой мысленно,





потому что даже, если остались вопросы, то мне безразличны ответы. И я для себя самой признаю, что стала сильнее, но ниже. Потому что нет любви, которая возносила меня. Я стала реальнее смотреть на мир, стала внимательнее присматриваться к людям, ища в них загримированных актёров. Я ещё много допущу ошибок, но кожа моя стала толще, а сердце – свободнее. Мне было больно, жаль, никто не сказал, что это холестерин лишь с моего сердца вырезали, который нагружал меня и не давал идти дальше. Операция окончена. Иммунитет восстановлен.

Мне тысячу указывали на твою фальшивую игру, а я не заметила ни актёра, ни декораций. Ты считаешь, что был выше, водя меня вокруг пальца? Увы, нет. Кулисы опущены, меня – зрителя в зале нет. Я пошла дальше, вперёд, а ты всё играешь...

Общение и расставание

И почему мы общаемся только по утрам? Утром я совсем другая. Только проснувшись ещё вся в себе. Я внутри, а не снаружи. Мои мысли кружатся в голове, но я остаюсь молчаливой и не выдаю их. Я утром немного сильнее, от этого нахожу в себе силы прятать эмоции. Но к вечеру никаких масок не остаётся. Я становлюсь естественнее. Мне о многом хочется поговорить. И мне крепче хочется сжимать твою руку. Но я не могу, ведь по вечерам мы в разных квартирах. По вечерам тебя рядом нет. По вечерам я всё больше либо одна, либо не с тобой. Вечерами я слабее, нежнее, честнее. Но ты видишь меня лишь по утрам, когда я не в себе после сна Я настороже. На нервах. В подозрении. А вечерами, когда наступает приятная томная усталость, я даже перестаю так бездумно ревновать. Но мы вместе только по утрам. По вечерам – лишь мысленно. И я хотела бы часами говорить с тобой. Но по утрам я другая, и разговор не льётся.

Вам когда-нибудь приходилось отпустить человека, который был Вашей жизнью навсегда? Отпустить лишь потому, что так ему было бы лучше. Вам приходилось слышать, как плачет этот человек без Вас, а Вы просто старше и мудрее и знаете, что это пройдёт и ему будет лучше? Вам приходилось однажды проснуться и понять, что жизнь опустела? Вам приходилось бояться, что Вас забудут, а потом плакать, не веря, что Вы увидите ещё раз этого человека? Вам приходилось наткаться на его вещи и понимать, что человек не вернётся? Вам приходилось ночью просыпаться в пустом доме, где стены разрисованы ребёнком, а ребёнка нет? Вам приходилось брать себя в руки, потому что Вам нельзя показывать, как Вам плохо без него, чтобы не причинить ему боль? Нет? Так знайте, что это страшная боль. Она не проходит. Она ведёт за собой потерю смысла. Она требует так много сил, чтобы любить, не видя. Но, если Вам удастся любить без эгоизма, если Вам удастся переживать долгие зимы, если Вам удастся утешаться лишь зная, что это и есть самая верная любовь.

Люди проходят через мою жизнь. Что-то оставляют в ней от себя, что-то забирают. Но обычно уходят. Кто-то задерживается надолго и обустроивается, приносит свои вещи и, если не хватает места, выбрасывает мои. Кого-то я раньше времени выталкиваю сама, кто-то уходит против моего желания. Кто-то находится в моей жизни так долго, что я позволяю решить себе, что это навсегда. Но я ошибаюсь. Если человек и не уйдёт, то это будет означать, что это конец моей жизни. Когда я ухожу, не как однажды насовсем, а просто из чьей-то жизни, то я не предаю этому никакого значения. Если уходят из моей жизни, я ощущаю боль, тоску; только потом безразличие, радость и облегчение. Иногда я делю жизнь, руководствуясь самыми значимыми уходами или приходами в мою жизнь, но чаще эти передвижения остаются лишь замеченными, и не более.

Как быть, когда я стаю над пропастью и меня отделяет от падения невидимая нить. А мне говорят, чтобы я не боялась, что всё, что в жизни происходит - должно быть. Что всё, что не случается – к лучшему. Что со мной останутся только нужные люди. Что всё пережитое – необходимый урок. Как быть, когда кто-то вдруг вырывает из тебя кусок сердца и говорит, что без него тебе будет лучше? И вот ты уже не замечаешь вокруг себя ничего кроме боли, а тебя толкают вперёд и говорят: «Ну иди же, у тебя впереди - жизнь, всё случившееся – лишь на пользу тебе». Так будут говорить даже самые близкие. Все. И правильно.





но. А ты – без сил. Не то, чтобы идти, ползти не можешь, только падаешь от толчков. Да, когда-то проблемы делали меня сильнее, выносливее, стоило мне их переступить. Но я тогда была целее, видела впереди цель. Но, как же сейчас - с дырой в сердце? И, даже, пусть рана со временем затянется, кровь будет плохо протекать через сердце со шрамом, периодически напоминая ему, что оно уже не то, что прежде. Но, все будут твердить, что это пошло тебе на пользу. И ты еле слышным дрожащим голосом прохрипишь в пустоту: «Как?» Когда-то моё сердце должно было бы состариться, начать медленнее биться; но это происходило бы незаметно, постепенно, чтобы я сумела привыкнуть к новому состоянию. А теперь представь, что ты – молод, силен. Ты бежишь самую важную дистанцию. И тут, по щелчку, кто-то превращает тебя в дряхлого старика. Твои суставы и, главным образом, сердце уже почти не работают. Ты падаешь, летишь кубарем, ещё больше себя травмируя. А тебе говорят, что это тебе было необходимо. И вот ты собираешь последние кости, останавливаешься и надеешься, что время тебя вылечит. Что ты, как Бенджамин Баттон, начнёшь молодеть и набираться сил. Надеешься на то, что твоё сердце ещё когда-нибудь забьётся так же как... Не знаю, стоит ли мне в это верить... Лучше я буду верить в то, что никто не вырвет из меня кусок сердца раньше положенного срока. А срок я отпускаю себе большой. Пока не устану бежать. И, когда будет казаться, что силы иссякли, сожму кулаки, вспомню, за что плачу и буду бежать дальше. Только бы никто не вырвал из моего сердца мотор. Только бы никто не запустил камень в мою любовь. Пускай лучше песчинки разъедают меня. К ним я сумею приспособиться. Но, если это будет взрыв, то это будет конец.

Это может быть в жизни... Да, вокруг меня много завистников и сплетников. Но у меня есть поддержка! Я не могу злиться или мстить. Этому нет места в моей жизни. У меня в жизни есть, от силы, десяток верных и любимых людей: и меня не может волновать что-то ещё. Что-то мелкое и незначительное. И сейчас я хотела бы простить всех пожелать им понять или, хотя бы попытаться понять, чем стоит жить. Да, мне бывает обидно. Но, не более того. И, если уж завидуете, то не тому. Потому что то, что приносит счастье – где-то внутри. Это - чувство доброты, любви, благодарности. А вы за какие-то вещи глотки друг другу перегрызть готовы... Избавьтесь от этого! Мне больно смотреть на то, как ваша злость тянет вас ко дну, словно камень, привязанный к шее!



проза

симфония



Александр Крамер	3
Александр Минаков	9
Алексей Карелин	13
Елена Амберова	16
Игорь Колтунов	28
Майя Студзинская	29
Марина Ещенко	34
Мария Серова	41
Михаил Блехман	49
Сергей Огиенко	58



Александр Крамер

Любек

ШУТ

Поздней осенью 1534 года властитель артейский, Франческо Форца, умер внезапно, не дожив 17 дней до своих сорока восьми лет. Это был крупный мужчина с внешностью носорога – огромный бугристый нос и маленькие подслеповатые глазки. Мгновенная смерть от удара поразила его прямо в седле и на землю с коня властитель упал уже мертвым. Его шут, за несносный характер получивший среди придворных кличку «Заноза», пустился было в бега, но был вскоре изловлен, доставлен в артейский замок, бит плетью, клеймен каленым железом, посажен на цепь и брошен в пыточной на ночь.

1

Пир был в самом разгаре. То есть до смерти пьяных пока еще не было, но все находились в легком и приятном подпитии: шумели, горланили песни, несли, не стесняясь дам, жеребятину, похвалялись кичливо всякими глупостями... В общем, веселились на славу. Огонь бушевал в каминах. Было душно. Дамы усиленно обмахивались веерами. Два дога беломраморной масти лежали возле камина и спали вполглаза. Карлы и карлицы, одетые в серые хламиды, точно ночные бабочки, носились по залу, развевая широкими рукавами, как крыльями, и противно хихикали. Музыканты в синих костюмах с серебряными позументами играли тихонько гавот – для лучшего усвоения пищи...

Тут парадная дверь отворилась, и в залу походкой канатоходца скользнул расфуфыренный шут. Правой рукой он вертел непрерывно мароту, а левой подбрасывал в воздух черный шар, весь в серебряных звездах. Бесшумно – ни один колокольчик на дурацкой шапке не вздрогнул – дошел он до центра зала, сложил свои атрибуты к ногам и застыл, прищуривая поочередно то правый, то левый глаз: ждал внимания публики. Гостям было не до шута. Тогда он осторожно подкрался к одной корпулентной даме, усиленно флиртовавшей со своим кавалером, присел у нее за стулом и вдруг... завизжал по-свинячьи. Звук был такой, как будто бы стадо свиней решили прирезать разом. Несчастная жертва трясла двойным подбородком, махала руками, верещала от ужаса еще пуще шута и, наконец, стала тоскливо икать. Доги проснулись и осатанело залаляли. Гости бурно смеялись и были проказой довольны. Шут был тоже доволен: скалил длинный безгубый рот и двигал оттопыренными ушами – достиг своей цели и был теперь в центре внимания. Насладившись своею победой, шут подпрыгнул, сделал сальто-мортале и пронзительно заорал, подражая городскому глашатаю, что сегодня покажет гостям чудесное представление под названием «Утро наследника» и расскажет о том, как юный артейский наследник просыпается утром. С дозволения, конечно, своего господина.

Властитель артейский пребывал в эйфории. Он достаточно к этому времени выпил и был полон радужных мыслей. Поэтому он не очень-то слушал, что кричит ему шут, но слова «представление» и «дозволение» все же расслышал и милостиво махнул рукою.

2

Есть и пить давали мальчишке тогда, когда были еда и питье, а били всегда и часто без всякой пощады – за подкидыша некому было вступиться. Хозяин бродячего цирка, Кривой Корраджо, решил, что публики будет больше, если в труппе будет уродец с головою, как тыква и носом, как у обезьяны. К тому же, он оказался довольно способным: здорово подражал голосам людей и животных, а кроме того, разыгрывал препотешные пантомимы. Так что хлеб он свой отработывал, хозяин не просчитался.

Ему было четырнадцать лет, когда труппа забрела в окрестности артейского замка и Форца выторговал уродца за немалую сумму, сделал своим шутом





и жизнь его изменилась. Теперь его били редко, а еды было вдоволь; ему не хотелось вновь возвращаться к голоду и побоям и он очень старался.

С течением времени шут стал ужасно дерзким и ядовитым; собственно, в замке, как правило, все было слегка ядовитым и шут исключением из этого правила не был. Отличие состояло лишь в том, что он ядовит был открыто и беспечно сеял себе недругов тайных и явных - в изрядном количестве. Покровительство властелина расхолаживало, притупляло чувство опасности, вселяло уверенность в абсолютной и вечной вседозволенности. Он приобрел дурную привычку выбирать себе жертву и всякими дерзкими фокусами доводить ее до иступления. Только это не всегда удавалось. Однажды он стал цепляться к начальнику замковой стражи, пытался его извести подколками и ядовитостями, но пузан хохотал до слез вместе со всеми и нисколько не злился. Видя такой афронт, шут скоро остыл и выбрал новую жертву, не слишком при этом досадуя. Но это случалось так редко... А в основном, его жертвы неистовствовали ужасно...

3

Было раннее, раннее утро. Темное, темное... Очень сильно хотелось, но чертов горшок куда-то запропастился. И он очень злился, и нервничал, и даже слегка повизгивал от нетерпения. Насилу горшок отыскался, но теперь, это просто ужасно, пропало причинное место. Правда оно отыскалось немного быстрее, чем горшок в темной комнате, но было так страшно, что вдруг оно да не найдется. Ну, слава Богу! Теперь, наконец, все удастся! Но время было упущено и хотелось уже так сильно, что в нем ходуном все ходило от дрожи и он мазал все время, отчего на полу появилась изрядная лужа. Наконец-то... Он лег рядом с лужей без сил и просто блаженствовал. Но лужа противно воняла... Он снова обшарил комнату на четвереньках, нашел какую-то тряпку и брезгливо кривляясь уничтожил следы позора, улегся и снова уснул, счастливый безмерно...

Все хохотали ужасно. Разъяренные доги лаяли и прыгали, как очумелые. Властитель топал ногами, бил по столу кулаками и слезы по красным щекам текли не переставая.

Анемичный артейский наследник стал сине-зеленым, щека его дергалась, рот перекосило; еще в самом начале он взял из высокой серебрянной вазы сочную грушу и теперь в пароксизме бешенства превратил ее в липкое месиво...

Все еще хохотали, когда Форца почувствовал вдруг неладное, оглянувшись на сына, подхватился, схватил шута здоровенной лапищей за шиворот и вышвырнул вон. Но хохот не прекращался аж до тех самых пор, когда все наконец разошлись. И долго еще после пира вспоминали проделку шута, и при виде наследника прыскали и отворачивались. Казалось, проклятую выходку никто никогда не забудет...

4

Всю ночь на рыночной площади нагло стучали топоры, выли надсадно пилы, бранились усталые люди, но к утру помост и виселица на нем были готовы: торопился новый властитель с исполнением своей воли.

Поздним утром два дюжих увальня с постными мордами близнецов схватили шута подмышки, выволокли наверх, швырнули в телегу, запряженную чалой клячей, привалили спиной к заднему борту, взгромоздились на козлы, и телега медленно потащилась по кривым немощным улочкам на базарную площадь.

Еще с вечера ветер натащил на небо жирные черные тучи и ближе к полуночи мощно и ровно повалил огромными хлопьями снег, первый в этом году, украшая прокопченный, угрюмый, загаженный нечистотами город, скрывая всю гадость и мерзость человеческой жизни. К утру снег прекратился, морозец ударил и теперь было чисто кругом и красиво, и тихо, только галки и вороны кричали, но они не мешали тишине и покою, их не нарушали. Снег скрипел под колесами. Кругом были красота и покой, но шут ничего не видел, не слышал, не чувствовал. Один только ужас владел им всецело. И только когда проезжали мимо снеговика с двумя головами, в нем что-то тихонько вздрогнуло, как капелька талой воды упала с сосульки и тут же снова застыла серою льдинкой.





Все те же два увальня втащили шута на помост и поставили перед толпой. Но ноги совсем не держали и шут упал на колени, и стоял перед толпой на коленях, качаясь как маятник. Палачу показалось, что жертва молится напоследок и он не трогал беднягу. А толпа расплывалась перед глазами шута и не было мыслей, и не было веры, а был один страх, гнилой, удушающий страх...

И тут вдруг случилось. Глаз шута зацепился за рожу рыбной торговли. Рожа пялилась тупо, жирный губастый рот приоткрылся, сальный чепец над узким наморщенным лобиком сдвинулся на затылок, рука теребила нетерпеливо бородавку на жирном носу...

Х-ха, что за сладкая рожа! Дивная рожа! Страх внезапно иссяк. Рожа его заслонила. Шут встал, не чувствуя боли. Весь выгнулся, точно змея, зад отставил, щеки надул, глаза выпучил и вдруг заорал на всю площадь голосом рыбной торговли, известным любому и каждому: «А-а-а-а... Кому рыбки! Кому гнилой и вонючей...» Он орал, что попало, корчил ужасные рожи, похабничал и сквернословил... Толпа, поначалу нестройно, хохотнула, качнулась и вот уже ржала отменно во всю мощь своих легких. А шут принялся за аптекаря, но не закончил... Палач, здоровенный детина, одетый в неряшливый черный балахон и стальной шлем с забралом, чтоб не видно было лица, вдруг озлился, схватил бедолагу за шиворот и швырнул его под перекладину, накинул петлю, затянул до упора... Пол под шутлом провалился, тело его задергалось в предсмертной невыносимой муке, колокольчики на дурацкой шапке что было сил зазвонили... И все было кончено. И только толпа продолжала еще хохотать, доводя до безумия нового правителя артейского замка.

Ночью снова шел снег, а поутру помост разобрали и на рыночной площади среди снега осталось черное скорбное место. Впрочем, до первой метели.

МАСТЕР

1

Не знаю, с чего начать. О приюте рассказывать нечего. Приют – он и есть приют. Когда по возрасту выперли, пошел на поденщину. Куда больше? Жил, как черт в болоте: ни друзей, ни знакомых – и просвет какой даже и не намечался.

Сижу как-то вечером, после каторги десятичасовой, в дрянной забегаловке рядом с домом, где мы на троих конуру под крышей снимали, душу грею, пиво цежу. Тут подсаживается к столу барин в пальто на меху и шапке бобровой – физиономия круглая, глазищи желтые, губа верхняя короткая, зубы, как надо, не прикрывает, и над губой усы рыжей щеткой торчат; кличет барин челядинца, спрашивает водки с закуской, филиновы буркалы в меня вперил – молчит; аж до тех пор молчал, пока заказ на стол не поставили; тогда себе в рюмку, а мне в кружку, почти пустую уже, водку из графина разлил, тарелку с закуской на мой край передвинул, приподнял стопку и, глаз не спуская, выдавил: «Вот адрес, придешь завтра в семь, про работу с тобой потолкуем. А теперь за знакомство выпьем – чтоб удачным вышло и долгим», – стукнул рюмкой об стол – только и видели.

Я всерьез тогда разговор это странный не принял, озадачился только сильно; весь вечер из угла в угол по каморке своей тынялся, сообразить силился, что за ком с горы на меня свалился; решил: пойду, но ни в какие дела лиходейские, что б ни сулили, влезать не стану, – а другая идея путная о чудном приглашении на ум не лезла; на том и заснул.

Назавтра, до семи незадолго, поболтался я чуток в окрестностях Мокрого переуллка, куда адрес привел, окрестности порассматривал, по окнам позаглядывал, так ничего нового не наглядел, не надумал – с тем дверь нужную и толкнул. Вышел ко мне знакомец вчерашний – короткий, сбитый, в домашнем платье и носках-самовязках, молчком руку до хруста сжал, завел в гостиную, за стол усадил, крикнул: «Марта, принеси чаю», – и снова глазища желтые выпялил. Так и сидели, пока девушка в темном платье – некрасивая, плотная,





с большими руками, которые, если не заняты были, все как-нибудь спрятать пыталась – не внесла на подносе чай и варенье. Чай втроем уже пили: Марта – глаза потупя, знакомец – на меня в упор глядячи, я – на обоих попеременно зыркая, – и молчком все, со стороны поглядеть – странная мы были компания.

Попили, Марта сейчас встала, все со стола собрала – и вышла. Снова остались вдвоем – друг дружку разглядывать, но на этот раз недолго гляделки те продолжались, потому хозяин наконец-таки заговорил:

- Я про тебя кое-кого порасспрашивал, ни с того, ни с сего приглашать не стал бы, знаю, с кем говорю. Ты дочь мою, Марту, видел. Если жениться на ней согласен, дальше разговаривать станем, нет – твое право, иди с Богом. –

Замолчал, уставился, не мигая – это у него вообще такая манера была – желваки на щеках играют, короткая губа еще больше вздернулась-укоротилась.

Только напрасно он так взбудоражился, думать тут не над чем было, сразу же и сказал, что согласен.

- Марта, - крикнул он тогда снова. А когда Марта вошла – пунцовая вся, руки под передником друг дружку безостановочно трут, глазами в пол уставилась – того и гляди в обмороке окажется – продолжил:

- Ну, вот тебе и жених, а мне помощник. Садись с нами, дальше вместе толковать станем.

Толкование вышло недолгим. У тестя моего будущего все заранее по полочкам разложено было, он мне за полчаса с полочек все и поснимал, в подробности не вдаваясь. Сказал, что на учение время потребуется и будет нелегким, потом он от дел отойдет, мне все передоверит. Сказал, что детей, кроме Марты, у него нет – жена давно померла, а ремесло по мужской только линии передается; сказал, чтоб не дергался, потому никакого подвоха нет ни в чем и Марта хорошей женой мне будет, надежной, а ей давно уж замуж пора, и почему замуж ее не берут – тоже выложил. Сказал напоследок, что хочет быть за Марту спокоен, и, если что, посулил в рог бараний согнуть. На том обещании ласковом мы и расстались; только напрасно он пугать меня вздумал, я врагом себе не был, потому во мне опасения никакого от страшилки той не произошло.

Через неделю переселился я в Мокрый переулок, а через месяц свадьбу сыграли – обвенчались в пустой церквушке неподалеку; после, дома, со свидетелями, вина под праздничную закуску выпили – вот и вся свадьба. А Марта и вправду хорошей женой оказалась, даром что, как и отец ее, молчуньей жила – трех слов кряду не произносила. Вот только, когда в первый раз в спальню зашли, сказала, что замуж за меня вышла, а детей никогда не будет – и как отрубила, к разговору этому ни разу за жизнь нашу не возвращалась, даже начать не давала, а мы вместе долгий век прожили, понимание между нами понемногу возникло, и за все годы друг другу слова недоброго не сказали, хоть добрых и ласковых насчитать можно тоже не особенно густо. Но когда меня в прорубь толкнули, и в горячке лежал, Марта, как тесть после сказал, от постели моей сутками не отходила, есть, пить перестала, с колен перед образом не поднималась. Бог с ней, с говорильней красивой.

2

Учение много дольше замысленного затянулось, потому до этого не учился почти, читал по слогам, писать совсем не умел; а тут с анатомией пришлось разобраться, слесарить и плотничать понемногу, механике кой-какой выучиться. Со временем даже флейту освоил маленько, затем что тесть со скрипкой в свободное время не расставался и в дом приличные люди помузировать захаживали, депутат один даже: в карете с гербом приезжал, обитателям окрестным на зависть и удивление.

Только вот мы в гости ни к кому никогда не ходили-не ездили: знакомство с нами особо не афишировали, да и в доме у нас тоже блюли дистанцию: никогда на обязанности наши даже не намекали. Депутат только – он, как в их среде водится, языкат был несколько – мог, придя в большой снегопад и отряхиваясь в сенях, пошутить, что, мол, хозяева разлюбезные снова перья у гусей своих щиплют. Но дальше этого и депутатский язык не отвязывался.





Тесть мой, как и обещал, в мастера меня вывел - и от дел отошел. Только за годы те изменился он, сдал сильно и жизнь, как я вместо него заступил, престранную стал вести: в спальне своей окно тяжелыми бордовыми шторами завесил, зеркало вон выставил и все время лежнем в постели лежал; даже есть выходил за день раз только, да и то тогда, когда на дворе темно станет, а лампы зажигать запрещал; поставят ему в гостиной еду, а свечу на другой край стола, за который человек двадцать садятся, передвинут; он в полутьме кое-как вилкой в тарелке поковыряется, стакан чаю выпьет – и снова на боковую. Недолго так протянул. Однажды поесть не вышел, мы в комнату заглянули, позвали – не откликается. Так и узнали, что нет больше, земля пухом.

3

А первого своего, нет, не когда помощником, а когда «уполномоченным представителем государства», в подробностях помню. Сладкий был такой паренек, обходительный. Девченок шестнадцатилетних приваживал тем, что будто фильму снимает, героиню с подходящей наружностью ищет. Клевали, как рыбки на червяка, – без проблем. После порошок снотворный в шампанское подмешает, всласть натешится, красным чулком удушит и бантом на шее завяжет, такие же чулки на ноги наденет – и ищи-свищи. Три года почти промышлял, сколько малолеток сгубил – до сих пор не ведомо.

Я петлю на шею ему набросил, да по неопытности неаккуратно, веревкой по шее тернул, а он как взвывается: - Да больно же! – Мне мерзко стало, не передать, и всякая жалось, какая, нормально, еще присутствовала, отчего-то враз улетучилась, и даже не думал после нисколько – морально там это – не морально. То власть предержажая пускай думу думает, ей полномочия на это даны и деньги казенные платят, а я – закон исполнять обязан.

Что, не по нраву, жалко? Ракалью или девченок сопливых? Но если вы сильно чистыми желаете выглядеть, то зачем тогда на публичные казни сходились толпами? Ведь не гнал никто! Интересно, небось, на чужое мучение поглядеть, за себя, живого, порадоваться?! Никогда не понять, почему зазорными обязанности мои считались, почему изгоями в обществе жили. Нет, не понять!

Занервничал что-то я, давайте-ка передохну, да и вас отвлеку немного. Когда время маленько подвинулось и на публичные наказания запрет в нашей местности вышел (тесть к тому времени уже в мир иной отошел), мы в город другой перебрались, где не знал нас никто. Там первым делом телефон в доме специальный, без диска, установили, потому как, что трое знают, – знает свинья. А второй телефон у начальника местной тюрьмы находился. Начальник звонил мне, не зная ни кто я, ни где живу, и говорил место и время, где автомобиль дожидаться будет. Я приходил на то место, садился в машину, надевал перчатки и маску, что в машине лежали, – все молча: водитель, хоть и мог меня видеть, но не знал, ни кто я, ни зачем в тюрьму еду, а начальник не видел лица и не знал, где живу. После того, как обязанности свои исполню, все проделывалось в обратном порядке. Вот только вызывать стали редко, да и платили поменьше, и стали мы с Мартой жить скромнее (если б не откуп золоторотный, то совсем в нищиту бы впали) и еще более замкнуто – никаких тебе музицирований, вообще никаких знакомых – так она захотела, а я и не возражал. Зато мы теперь погулять могли выйти в город, в парке у озера посидеть, покормить диких уток, на детишек чужих поглядеть; мне-то оно все равно было, а Марте моей – тихая радость; сядет на лавочку да смотрит, как малышня возится и – кроме меня, так и не угадал бы никто – улыбается. Часами могла так сидеть.

4

Обязанности – есть обязанности, вы своё исполняете, я – своё, нечего антимонии разводить. Я свои честно всегда исполнял. Да, честно! И не надо при слове «обязанность» выше крыши подпрыгивать; чистенькими хотите быть? А вот вам!

Стоит ублюдку какому нагнать на вас страху, так вы, слюной брызжа, визжите, что надо, сволочь такую, изничтожить напуганнейшим способом - другим в назидание. Только ничего никогда другим в назидание не бывает, и всем





это распрекрасно ведомо, просто в вас ужас благим матом орет. А еще вы всем обществом вид делаете, что невдомек вам, как и кем ваше требование производиться будет, вроде как оно святым духом должно исполниться. И к судьям, наказание назначающим, и к прокурорам, наказания требующим, и к ловцам, правосудию жертв поставляющим, нет у вас никаких претензий; и к могильщикам не имеется. Только мы по вашему крайние! Зато людишки, падкие до представлений, барабаны слышав, набегали тогда, да и сейчас набегут; разреши только – местечка не сыщешь! И друг в дружку никто после пальцем не тычет и физию не прикрывает, и срама нет, что, на чужой смертный ужас глядячи, всласть повеселился.

Про Намида Джадуби слышали? Он последний с «мадам Гильотиной» знакомство свел. Вот знаменитость какая! А я своего последнего и не знаю. Решили парламентарии ушлые, что не надо отягощать грехом ничью душу, пусть никто конкретно ответственность не несет, коллективной порукой, будто листом фиговым, загородились.

Это уж после рубильников, инъекций и газа. Принесли в мой дом прибор лазерный с красной кнопкой, и еще четверым такой точно. В назначенный день и час (специально хронометр кварцевый на стену повесили) раздавался звонок и говорил автомат, до минуты, время, когда нажимать. Но только не все пять, а только одна – неизвестно чья – кнопка приговор исполняла, каждый раз разная. Противная это работа была, навроде баловства какого. Я, сознаюсь, пару раз вообще к кнопке не прикасался; не знаю, что и как было, – сошло.

5

Марты уж не было, когда повсеместно к пожизненному приговаривать стали. Профессия моя обществу без надобности оказалась. Турнули, как из приюта когда-то – без речей и шампанского. Вроде как не общество нуждалось во мне, а я сам ни с того, ни с сего на голову его навязался.

Только с пожизненным этим – тоже смехи. Пишут, мол, дело не в жалости, а в «заботе о нравственном состоянии общества», не надо, мол, поощрять в обывателях тягу к убийству, а то, глядишь, снова с убийц да маньяков на карманников и инакомыслящих перекинуться можно. А только кто меня убедить сможет, что человека, будто зверя какого, нравственно в клетке годами держать? Кто? Интересно мне, что за доводы подберете.

А и к слову сказать, без козла отпущения-то обществу, хоть бы и сильно гуманному, все равно не обойтись. Так что вы неприязнь-отвращение с нас на надзирающих плавноенько и перенесете, только пуще обозляя их, и без того на весь мир обозленных. А они это свое обозление на пожизненных вымещать станут. Проходили у же.

6

Страшное это дело, одному в конуре бетонной сидеть. Начинал, как черт в болоте, – тем и кончаю. Кругом жизнь человеческая, а ко мне только шум от нее доносился. Стал я тогда от безделья хоть какое-нибудь занятие себе подбирать. Ничего путного в голову не приходило, когда вспомнилось вдруг, с чего мое обучение ремеслу завязывалось, и как-то само собой вышло, что стал мастерить штучки всякие инквизиторские, только махонькие совсем, не больше мизинца. Сначала мастерил что попроще: «скрипку сплетниц» да «ведьмин стул», а потом добрался уже и до сложных вещей, с механикой: «нюрнбергскую деву» и гильотину сработал. Работа тонкая, терпения и мастерства требует, и время быстрее катится. Приличная коллекция постепенно собиралась; из музея приходили однажды, просили отдать для выставки, да я отказался – не для празднوليбопытствующих изготавливалось.

А еще как-то осенью занесло меня в парк на окраине города. Там старички – музыканты бывшие – сидели на скамьях садовых вокруг двухсотлетнего дуба, и под листопадом на духовых инструментах играли. Ну, и прибился я к ним со своею флейтой – тоже, смотри, пригодилось!

Солнце светит, на инструментах бликует, листья шуршат, падают, вся природа в осеннем пожаре горит... и не страшная это гибель, не тягостная, потому что зла в ней нет, а одно только успокоение.





Народ вокруг тихий, задумчивый собирается, благодарно так слушают, улыбаются потихоньку, иногда пожилые пары танцуют на солнышке... И мне в парке среди старичков спокойно и просто, никогда и нигде простоты такой и покоя в себе я не чувствовал. А смеркнется, идем мы вместе домой после дня трудового, о музыке разговариваем, на всякие житейские темы общаемся... Душа моя там отдыхает, отпускает ее, как после исповеди.

А на днях прочитал я, что камеру хитрую вроде придумали и испытывать ее скоро будут. Войдет туда негодяй, которому, к примеру, двадцать пять припаяли, включают какое-то поле – и выйдет он оттуда минут через тридцать-сорок, на весь срок свой состарившись – вот и все наказание. И вроде бы тюрем после этого должно вдвое меньше остаться, только для мелкой сошки с малыми сроками. А ведь понадобится тогда кто-нибудь, кто поле это для всеобщего блага включать станет. Ведь понадобится?

Александр Минаков

Харьков

Записки из больницы

*«Они тебя починят. Они всё могут починить» Робокон
«Ха-ха-ха-ха, оставаться в живых» Bee Gees*

* * *

Нестерпимые острые боли, острые уколы, резиновые трубки, грустные врачи, пожимающие плечами медсестры, длинные болочные капельницы, головокращения, бессонные ночи.

А в тумбе у кровати лежит складное зеркало и пахнет мамой.

* * *

Мне ставят капельницы. Иногда почти по два литра.

Когда ставили в первый раз, медсестра предложила утку. Я же, в свою очередь, поинтересовался, зачем она мне.

«Обоссешься», – без доли стеснения заявила она, – а потом нам простыни стирать, матрасы стирать, мне оно надо?»

«Не надо», – подумал я. А она вслух продолжала:

— Я, как до этой банки дойдет (показала мне банку, как это делают фокусники), обещаю тебе, обоссешься. Сколько таких вас у меня перележало, все ссутся. И ты обоссешься.

Я был напуган и в смятении. «Саться», знаете ли, не хотелось. Но я твердо решил терпеть.

Капельница в полтора литра идет от трех до четырех часов. (Я-то еще этого не знал, и надеялся, что уже вот-вот всё кончится). Прошло около двух часов и мне немножко захотелось в туалет. До капельницы (дурак, о дура-а-ак) я, как-то, не подумал посетить уборную. Внутри всё болело, поэтому сигналы организма я принимал, но не мог распознавать правильно.

«Вот он», – подумалось мне, – тот самый момент, который пророчила медсестра!»

И ужас оковал моё больное нутро.

Стоит ли говорить, что в качестве утки была пластиковая бутылка от питьевого воды с отрезанной горловиной? (А шо, у нас одна утка на весь этаж!)

Стоит ли говорить, что медсестра осталась в палате и на всё это смотрела?

И не просто смотрела, а давала ценные комментарии: — Ты бочком, бочком! — Ты шо делаешь? Лучше в кровать упирай! — Шо, и это всё?

Нет. Об этом лучше не стоит говорить. Стыдно же.

С тех пор уткой не пользуюсь.





Да и, если честно, в туалет во время капельниц не сильно-то и хочется.

В эту ночь мужичок, что лежал у окна, всю ночь стонал от болей и иногда доходил до крика. Даже под обезболивающим. Спать было просто невыносимо.

Лежал со мной дерзкий, сявотный дядя, что без кепи и в коридор не выходил (а с голым торсом — за милую душу). Ругался матом на медсестер, врачей и весь медперсонал.

А лежал он с грыжей и язвой.

Доказывал свою дешевую понтоватую блатоту, блеща во все стороны соплиями и пальцами.

Вложил он две зарплаты во всякие дорогие лекарства, а накануне операции обиделся на медсестру (а хорошо б ему и извиниться) и выписался из больницы.

И ходит он теперь, как лошара, со своими понтами, язвой и грыжей.

Привезли к нам в палату неходячего, после инсульта. Седой, с волевым лицом, очень ослабленный, но видно, что сильный внутри. Вызывающий неимоверное уважение.

Внутренне я его прозвал Майор Вихрь.

У меня была книжка с таким названием. Или рассказ. Или повесть. Не помню, да я и всё равно не читал.

Помню только обложку. Наверное. Да и то примерно. Может, и сам придумал.

Вроде, там был мужчина в форме, не отворачиваясь шедший против ветра.

Так я его себе таким и представлял — с его волевым лицом, не боящийся ветра и мороза, подлых иголок-снежинок и, немного режущих, льдинок.

Жаль умер. Не выкарабкался.

А я представлял, что завтра ему станет лучше, он сядет на край кровати, а я скажу ему: «Владимир Николаевич, хотите воды?» (это вообще всё, что у меня тут есть). Он так важно кивнет. Я протяну ему кружку, а он так посмотрит, что никакие слова благодарности будут не нужны.

Заметил, что у всех в больнице на телефонах «модные» мелодии звонков. Даже у семидесятидвухлетнего Вячеслава Андреевича на звонке Потап.

В соседней палате ночью умер мужчина. Я его не знал и в лицо не видел. Видел только суету врачей, что бегали с бумажками, и его жену, которая складывала вещи.

Вытащила медленно из целлофанового пакетика зубную щетку, отряхнула, вытерла платочком и в сумочку свою...

Бережно складывала рубашечки и шорты, аккуратно, разглаживая на них все складочки и морщинки, как будто... в общем... рыдать хочу, не знаю.

Еще со мной в палате парень, лет 30-35. Звать его то ли Ваня, то ли Вася. Ну, пусть будет Ваня.

У него повело органы, и живот уродливо исковеркало. В принципе не болит, но если ударится или зацепится, то все может очень и очень плохо закончиться.

Ваня, не смотря на сплошную ругань и внешнюю непривлекательность (вытаращенные глаза, кривенькие желтые от курения зубы, отвернутая ниж-





няя губа), в душе милейший человек.

Когда меня вписали, он уже лежал и успел немного обжиться: принес небольшой телевизор, немного газет с кроссвордами, кипятильник, чай, сахар, два зарядных устройства, сменную одежду, обувь, постельное и всякое бельё.

Отчего-то Ваня ко мне чрезвычайно расположился душой. Он показал мне на телефоне фотографии своих родных, своей доченьки, предлагал газеты, приглашал к телевизору и даже пытался найти передачи на мой вкус. Он скоро понял, что телевизор и газеты это совсем не мое.

Тогда он стал предлагать еду: «Не хош колбаску? Так на помидора! С солью! Вкусные, отвечаю! Братуха, или ты абрикоску? На, бери! Я могу косточку вынуть, хош? На хоть половинку, на!» А я улыбался и отказывался. Он всё думал, что я скромничаю, а потом узнал, что это по назначению врача мне ничего, кроме чорта лысого, есть нельзя.

Он так расстроился, что дразнил меня едой, долго извинялся, очень.

А я до сих пор чувствую себя перед ним неловко. И всегда буду.

* * *

Уже после отбоя по всему отделению отключили освещение.

Я, лежа в шестиместной палате один, и не думал, что кто-нибудь сегодня въедет. Но, в пол одиннадцатого в палате включили свет.

В дверях появился хромающий дядька лет пятидесяти с женой. Жена поставила у кровати кулёк, застелила ему постель, дядька вызвал жене такси, и она ушла.

— Вова.

— Саша.

— Ты с чем тут, Сашка?

— Врачи пока затрудняются. А вы?

— Та я после операции. Собыралы меня, Сашка. Угол болгаркой пилил, сантИметров двадцать, а воно соскОчило и у ногу. Поки я шнур из ризетки вы-смыкнув оно уже шорты с трусами зажевало и заклинило. До кости прорезало — три часа мэнэ шили.

— А как вы на ногах под общим наркозом?

— Та я без. Та ну його, ту химию. Врач хороший, здоровый такый, руци огромные, хватка кремезная.

Он присел на край кровати и переложил кулёк с пола на тумбочку. Вова меня восхищал. Без наркоза, после операции на ноге на своих двоих пришел в палату. Он начал копаться в кульке, а я с интересом смотрел на него.

— Саш, а ты спаты сейчас нэ будэшь?

— Нет, пока нет.

— Ну я тогда поїм. А то ж так и не поїв. Жена сготовила, звала, а я думав, шо зараз швидко закінчу роботу тоді й поужинаю.

* * *

В изоляции от большой земли у меня начался кризис общения.

Ну очень хочется поговорить.

Но до бесед с сопалатниками я еще не созрел.

* * *

За несколько дней я видел кучу медсестер, и каждая по-своему перетягивала мне руку, дабы найти вену.

Одна пережимала классически, красным советским жгутом. Вторая — куском велосипедной камеры. Третья — новомодным зарубежным специальным устройством из мягкой, но прочной ткани и пластиковых, но крепких и надежных, защелок. Четвертая вовсе обычной перчаткой.

Но больше всех меня изумила Нина Тихоновна, что пережимала вены... своими огромными ручищами.

«Качай! Кулаком качай, кому говорю! Где вены? Вены где? Качай! Качай еще качай!», — грубым, прокурненным, солдатским голосом приказывала она, а у меня уже и рука отнялась и «качать» не было никакой возможности.





* * *

Однажды ко мне в палату вписали глухонемого. Я не знаю, как его зовут, что у него болело, и как он тут очутился. Он иногда выходил на процедуры, пил чай и смотрел в телефон, лёжа на больничной койке.

Но ночью он очень даже хорошо разговаривал сам с собой во сне.

* * *

Эх, жёны-жёнушки:

— Вова, ну поїж!

— Та я не хочу.

— Поїж, поїж, поки тепле.

— Та кажу-ж, не хочу!

— А я перділа та кряхтіла, пэрла на усіх парах, витріщив очі! Так а що тобі зараз треба?

— Та нічого.

Небольшая пауза.

— Ось тобі судочок.

— Не надо мені судочка.

— Ось вілочка.

— Вілочку залиш.

— Так! На, поїж, поїж, поки тепле.

Прямо как мамы.

* * *

Самым невменяемым врачом, что я видел за всю свою жизнь, оказался Пётр Михайлович, заведующий отделением.

На обходах он заходил секунд на восемь, осмотрев за это время всех, кто в этой палате лежал. Потом, говоря что-то в сторону, выбегал. Даже если что-то спросили.

Первый день я не ходил, второй день ходил плохо, третий день ходил лучше, и только на четвертый я смог его догнать. Он почти полностью игнорировал речь. Слыша её, он оборачивался, но потом, как ни в чем не бывало, шел дальше. Не останавливался. Если отвечал, то отвечал обрывками фраз, прямо на ходу, пытаясь вырваться вперед и увеличить дистанцию. Хитростью я смог загнать его в кабинет и перекрыл дверь. Путь к отступлению я блокировал, и он ответил на все мои вопросы.

Теперь я наверняка знал, что я болен неподтвержденным диагнозом, анализы у меня «похоже, нормальные», лечить меня будут «как и лечили», домой мне «ну, посмотрим», а есть мне нельзя.

* * *

Сначала были всякие вариации, но теперь все, с кем я контактирую в больнице, не сговариваясь, стали называть меня Сашка. Мне, в общем-то, нравится.

* * *

Замечу и доложу, что в больнице процветает вынужденный гедонизм — многие едят лёжа.

* * *

Сегодня в больницу в пять утра въехал Миша, и день его рождения начался с клизм.

* * *

Как для харьковского студента театрального отделения, Владу жутко повезло — ему предложили проводить один праздник достаточно крупного масштаба — на 300-400 человек.

Влад усиленно готовился, выдумывал, делал реквизит, репетировал без сна и отдыха.





Сам праздник прошел великолепно — публика его полюбила, приняла, смеялась, где надо, участвовала во всем, откликалась живенько, фуршет был хорошо организован, в общем, всё было на уровне.

В качестве гонорара Влад получил 1100 долларов и полную кишечную непроходимость.

За дни пребывания в больнице, меня посетили пять разных врачей, несчетное количество медсестер, разного плана персонал, берущий разного плана анализы.

И каждый говорил свои диагнозы, вердикты и прогнозы.

Поэтому, я не знаю, когда я отсюда выйду, и от чего меня лечат.

Алексей Карелин

Брянск

Родился в 1990 году в с. Митьковка Брянской области. Закончил Брянский политехнический колледж, учится заочно в Брянском государственном техническом университете.

Служил в РВИА (Ракетные войска и артиллерия), во Владимирской области. В 2011 году – лауреат премии им. П. Л. Проскурина.

География публикаций: США, Австралия, Казахстан, Дагестан, Финляндия, Новая Зеландия, Германия, Украина, Беллоруссия, Россия.

Публиковался в литературных журналах «Простор» (Алматы), «Нива» (Астана), «Вселенная. Пространство. Время» (Киев, Москва), «Искатель» (Чикаго), «Воин России» (Москва), в военной газете «Красная звезда» (Москва), «Наш Техас» (Хьюстон) и др.

Список публикаций: http://samlib.ru/editors/k/karelin_a_w/publish.shtml

Одна история

Это случилось в некотором городе на любой улице тридцатого февраля будущего года.

Степан Павлович спешил на работу. Настроение – гадкое, а тут ещё опаздываешь. Ночью снег подтаял, утром ударил мороз. Приходилось идти короткими шажками. Вдобавок к гололёду дико ревел ветер. Покрасневшие ладони не показывались из карманов пальто, тем труднее было сохранять равновесие на особо скользких участках. Шляпу Степан Павлович надвинул на самые глаза, поэтому не заметил вовремя встречного пешехода.

– Извините, – прозвучало рядом.

Степан Павлович вздрогнул, остановился. Перед ним стоял парень лет двадцати пяти, круглолицый, с весёлыми маленькими глазами.

– Здравствуйте, у вас есть минутка? – спросил он.

Ни минутки, ни пол минутки, ни даже секунды Степан Павлович не имел: вот-вот начнётся лекция у программистов, его лекция.

– Вообще-то, я...

Но парень слушать не стал, перебил:

– Видите ли, я в сложной ситуации. Вечером автобус, я в Смоленске живу, а денег на билет не хватает. Вот, хожу – стреляю. Могли бы вы помочь? Хотя чем-нибудь: полтинник, сотка? Не хватает трёх сотен, но сколько сможете. Мне уже легче будет собрать.

Степан Павлович растерялся. Парень выглядел добрым и общительным, порядочно одет, но...

– Дайте мне свой номер телефона. Как приеду в Смоленск, положу вам на счёт. Мне на самом деле нужны деньги.

Степан Павлович сбился с мысли.





– Да, но у меня нет таких денег.

– Сколько можете. Пожалуйста. Вы ведь видите: я нормальный, не алкаш какой-нибудь. Здесь учусь, в университете.

– Да? – обрадовался Степан Павлович. – Я тоже. В смысле, преподаю. Физику. Вы на каком курсе?

– Четвёртом.

– Увы, физику там уже не изучают.

– Я дам вам свой телефон, если не верите. Как приеду, верну долг. Если забуду, напомните. Но я не забуду.

Степан Павлович, будучи человеком интеллигентным, не мог просто отшить парня. Отдавать же деньги не хотелось, терзали сомнения. Что-то настораживало, но собеседник постоянно тараторил, мешал думать.

– Я только к мужчине подходил, – продолжал щебетать парень. – Может, видишь? Машина здесь стояла. Обругал меня. Не очень отзывчивые у нас люди. Я всё понимаю. Незнакомый человек... Но что делать? На вокзале ночевать?

Степан Павлович замялся. Надо было выбираться из неловкого положения, но как сложно сказать «нет». Вдруг человеку и вправду нужна помощь? Что он подумает о Степане Павловиче? Жлоб, негодай, параноик... Лекция, скоро лекция.

Степан Павлович завертел головой, словно ожидал совета от прохожих. Решать надо немедленно. Сколько время? Осталось пять минут!

– Возможно, вы спешите? Вам туда? Пойдёмте. Меня Игорь, кстати, зовут.

Пожали руки, двинулись вперёд. Парень доверительно, как другу, начал описывать казус: как случилось, что он оказался без денег. Степан Павлович слушал внимательно, его натура не могла иначе, даже если опасалась подвоха и спешила на работу. Вместе посмеялись над глупой развязкой. Да, бывает же.

Вот и университет.

Парень взглянул на Степана Павловича с такой надеждой!

– Ладно, – не выдержал Степан Павлович. – Давайте свой номер. Вот сотня.

– Спасибо! Есть ещё хорошие люди. Вы не представляете, как я вам благодарен. Вы просто представить себе не можете...

Степан Павлович закивал, натужно улыбаясь. Душа рвалась отобрать сотню, пока не поздно. Разболелась голова.

– Извините, меня ждут. У меня лекция...

– Да-да, идите. Не смею больше вас задерживать. Спасибо вам огромное.

– И всё-таки телефончик, пожалуйста.

– Да, конечно, записывайте.

Степан Павлович внёс контакт в адресную книгу и нажал на «вызов». Действительно, в кармане парня заиграла мелодия – не обманул.

– Запишите и вы мой, – уже веселее сказал Степан Павлович. – Что высветился.

– Ага.

– Ну, всё, удачи вам.

– И вам. Спасибо ещё раз.

Распрощались. Слава Богу!

Степан Павлович поднялся по ступеням ко входу, оглянулся. Какое же всё вокруг серое, блёклое. Даже небо. Тревога вернулась. Догнать, вернуть, отнять! Ветер зло рванул пальто. Степан Павлович поёжился, нырнул в тепло.

Всю лекцию Степан Павлович был рассеянным. Беспокоил вопрос: правильно ли поступил, не обманул ли? Разве до Смоленска такой дорогой билет? Разве можно так потерять деньги? Больно киношная история.

Вечером, дома, Степан Павлович чуть ли не каждый час проверял баланс на телефонном счету. Деньги не приходили. Степан Павлович впал в депрессию. Если поначалу он мерил спальню шагами, то к полуночи напало оцепенение, полное бессилье.

Степан Павлович лёг на диван. Что делать, что делать? Есть же его номер! А вдруг молодой человек ещё не доехал до Смоленска? Ведь он не сказал, во сколько автобус. Идея!

Степан Павлович позвонил в справочную автовокзала. Там ему сказали время отбытия интересующего рейса, время прибытия на конечный пункт и сто-





имость билета. Онемевшими губами Степан Павлович прошептал «спасибо», повесил трубку и уставился в потолок.

Автобус должен был прибыть в Смоленск около часа назад. Но был ли в нём молодой человек? Билет стоил чуть меньше двухсот рублей, тогда как парень говорил, что ему не хватает трёхсот.

Нет, нет. Он не врал. Просто, наверное, поехал поездом. Вот там, да, несомненно, билет стоит больше тысячи. Но почему деньги не пришли ещё на телефон? Поезд быстрее автобуса. Позвонить молодому человеку? И что сказать: почему вы не вернули долг? Это некрасиво, грубо. Вдруг молодой человек устал с дороги и решил рассчитаться завтра? А если он потерял номер телефона Степана Павловича? Бывает же такое, что контакт пропадает. Или не бывает...

Степан Павлович схватил мобильный. Пусть молодой человек думает, что хочет. Что Степан Павлович – скряга, трясётся за каждую копейку. Пусть! Пусть обижается, но Степан Павлович должен знать, не забыли ли о нём. Нет, он боится не за деньги, а за... честь, если можно так выразиться. Его беспокоило, обманули или нет, он – дурак или добрый человек, мир совсем уж плох или ещё можно кому-то доверять?

«Абонент временно не доступен». Неужели у парня телефон разрядился? Или всё-таки обвёл вокруг пальца? Час ночи...

Возникло острое желание с кем-нибудь поговорить, обсудить создавшееся положение.

– Алё, сын?

– Пап, время видел? Что стряслось?

Разбудил. Степан Павлович пристыжено втянул голову в плечи. Из-за какой-то мелочи нарушил отдых сына. Может, не говорить ничего? Извиниться и всё? Так всё равно уже поднял. А без этого разговора Степан Павлович глаз не сомкнёт.

– Лёш, прости старика. Нужен твой совет.

Алексей выслушал молча. Степан Павлович даже испугался: не уснул ли.

– Алло, ты меня слышишь?

– Да, да, продолжай, – устало ответил Алексей.

Ему завтра рано вставать, работа тяжёлая, но он не возмущается. Понимает, что нужен. Или просто не хочет обидеть старика?

Как только Степан Павлович закончил рассказ, Алексей вздохнул и сказал:

– Ну, пап, ты даёшь. Развели тебя, как мальчика. Парень этот ещё в центре города промышлял. Полиция стала гонять, вот он и перебрался в другой район. Ты бы подумал: как он, не местный, ехал на сессию и не позаботился о том, чтобы вернуться домой. Говоришь, праздновали сдачу экзаменов? Да брось. Неужели он такой дурак все деньги растратить. А билет? Зачем ему на поезде ехать, если на автобусе гораздо меньше платить, а у него критическая ситуация. Ты слишком доверчив, па. Мир не такой, каким был в твоей молодости. Пора бы уже понять.

С каждым словом Степан Павлович словно терял в росте. Попытался оправдаться:

– Он дал свой номер телефона...

– Который, небось, уже заблокировал. Или вытащил симку до следующей аферы. Хорошо, что хоть мало дал. Сотня – это не деньги. Не расстраивайся. Впредь будешь умнее.

На это Степану Павловичу сказать было нечего. Он поблагодарил сына, ещё раз извинился за беспокойство и пожелал хороших снов, которые сам этой ночью увидеть уже не надеялся.

На следующий день Степан Павлович на работу не вышел. Заболел. Болезнь была больше душевной, нежели физической. Степан Павлович не поднимался с постели. В голове крутились одни и те же мысли.

Как же так? Как можно? Играть на лучших качествах людей ради наживы? Как грязно, подло! Врал и не краснел. К нему по-доброму, со всей душой... Как это низко! Чёрт с ними – деньгами. Сотня, как сказал сын, нынче не деньги. Но что делает этот молодой человек? О какой любви к ближнему после этого может думать жертва обмана? Мир жесток, а мошенники ожесточают его ещё больше. Парень так искусно играл... Но теперь Степан Павлович не даст себя обмануть, это было в последний раз. Чужие проблемы – это проблемы чужие.





Сегодня одним самаритянином стало меньше.

Как ни было тяжело, Степан Павлович пережил оскорбление, даже, скорее, разочарование в людях, а в некотором роде предательство. Спустя несколько дней он и думать забыл о мошеннике. Пока не встретил ещё одного.

Милый парень, меньше и худее предыдущего, с щенячьими большими глазами, бровки домиком – ангел, невинное дитя.

– Пожалуйста, помогите. В Людиново живу. На сессию приезжал и потерял деньги.

Степан Павлович ощутил, как волна гнева поднимается с пят к горлу, готовится выплеснуться. Лицо покраснело, щека дёрнулась, губы искривились в ухмылке.

– Как же так? – спросил Степан Павлович с наигранной озабоченностью. – Потерял. Все разом. И не заметил.

– Не знаю. Может, в раздевалку карманник влез. Или в троллейбусе обчистили...

– Ай-яй-яй. Как же, как же... Помогу. Сейчас в полицию позвоню, скажу, что вымогателя встретил.

Юноша испугался.

– Какое вымогательство? Вы что? И не думал. Я лучше пойду.

– Идите, идите, – довольный собой, разрешил Степан Павлович. – И скажите «спасибо», что я добрый.

Ночь. Звёздная. Ни облачка. Морозная. Из рта пар валит клочками ваты.

Валера подстелил под себя картон, им же укутался. Кто бы мог подумать, что он когда-нибудь побывает в шкуре бомжа. Огляделся – страшно спать, ещё прирежут. Двор доверия не внушал: покосившийся забор, кругом мусор, с одной стороны пустырь. С вокзала менты прогнали. Позвонить некому. Первый курс, первая сессия. Особо ни с кем не успел подружиться. Жаль, не курит. Нечем костёр зажечь. Хлама полно, а вот спичек нет.

И чего люди такие злые? Сказал ведь – долг верну. И паспорт раскрывал – прописку показывал. Даже не смотрят: гонят, матерят или просто идут, как шли, мимо. Студенческий предлагал показать, номер телефона свой дать, группу называл, в которой учится. Бесполезно. Не верят.

Елена Амберова

Харьков

Собственник

(фантастическая повесть)

Ренальдо спустился в салон.

В гостиной кроме человека-призрака еще никого нет. Стол накрыт к завтраку, и в воздухе витает приятный аромат кофе. Жалюзи на окнах еще закрыты, из кристаллических плафонов на потолке струится свет.

Виз занимается сервировкой. Тихо, как призрак, он скользит вокруг стола, раскладывая приборы. Да он и есть призрак. Точнее человек-призрак – колант. Коланты – лучшие, известные во вселенной слуги. Невероятные способности, плюс абсолютное отсутствие честолюбия, приправленное собачьей преданностью, делает их незаменимыми помощниками. Их дом – планета Коланта – настолько мала, что обитатели ее, вынужденные покидать свою родину, селятся в соседних, заселенных людьми мирах. Огромный Птолеон, этот межпланетный перекресток, принимает всех – и наделенных удивительными способностями, чистых душой, колантов, и опасных, хитрых, лифуйцев, и вечно суетящихся гантцев, и многих других представителей вселенной. Но коланты – люди-призраки, отличаются от остальных жителей Птолеона своими экстраординарными способностями. Лишь одним недостатком страдают эти талантливые, незаменимые в быту полупрозрачные люди: почти все они





глуховаты.

– Виз, как давно мы приземлились, – спросил Ренальдо, подходя к столу.

Конечно же, занятый сервировкой Виз, его не услышал. Отодвинув стул, Ренальдо сел на свое место во главе стола и взял с тарелки салфетку.

– Доброе утро, мастер, – увидев хозяина, поприветствовал его Виз, – хорошо выспались?

– Привет, Виз. Спасибо, выспался я хорошо. Ты мне лучше скажи, как давно закончился прыжок?

– Мы совершили посадку двадцать минут назад.

– То есть, уже двадцать минут мы находимся на Земле?

– Да, мастер.

– Отлично!

Какое счастье! Наконец-то моя мечта сбывается, и я увижу Землю, – мысленно ликовал он. – Сколько лет я шел к этой цели! Целых двадцать лет труда и экономии, чтобы стать наконец-то владельцем собственного Прыгуна. Владелец Прыгуна, – эта мысль в последнее время снова и снова врывается в его сознание счастливой волной, – Я – владелец собственного Прыгуна! Собственник! В это невозможно поверить!

Но это было так. После долгих лет упорного труда он приобрел, наконец, подержанный Прыгун и отправился в свой первый рейс. Они совершили уже три прыжка. Последний, четвертый – их конечная станция. Он так давно мечтал увидеть Землю. Рассказывали, что нигде в космосе нет прекраснее планеты, чем эта. С самого детства он стремился сюда, и вот они здесь. На Земле.

– Виз, почему ты не открываешь жалюзи? – спросил он, – Мы на Земле! На самой красивой планете! Там что, ночь?

– Нет, мастер. Я думаю, что на Земле день, или утро..., – ответил Виз, беря в руки кофейник и наливая хозяину кофе.

– Так открой скорее жалюзи! Дай мне полюбоваться планетой моей мечты!

– Мастер, может быть, сначала позавтракаете? – Голубоватое лицо Виза оставалось бесстрастным, как всегда.

– Какой завтрак, Виз?! Покажи мне Землю!

– Все, что пожелаете, – проговорил Виз.

Поставив кофейник на стол, с беспшумной грацией коланта он подплыл по воздуху к окну. Одно незаметное движение и жалюзи разъехались в стороны, открывая скрытое за ними большое круглое окно.

Зеленые глаза Ренальдо светились счастьем. Он ждал этого момента всю жизнь. словно нетерпеливый ребенок, он вскочил из-за стола, не замечая опрокинутой чашки. Ему сейчас не до кофе и уж тем более, не до пятна на скатерти! Там, за окном Земля! Жалюзи разъехались в стороны, открыв удивительный, причудливый в своей красоте мир.

Он смотрел в окно. Выражение счастья, словно пойманное фотообъективом изображение, застыло в его глазах, превратив на мгновенье лицо в искусственную маску. Но вот, улыбка медленно сползла с красивого лица птолеонца. Восторг в глазах сменился удивлением, а затем и разочарованием.

– Что это, Виз? – спросил он упавшим голосом.

– Это Земля, мастер. Я сверился с энциклопедией «прыгунка».

– Это Земля? – его голос опустился до шепота. – Я не верю, Виз. А где люди? Где цивилизация? Где морские просторы, горные водопады, живописные замки, леса? Где все это? И кто ...эти существа, что заглядывают к нам в окна?

Лицо Ренальдо, как легко читаемая книга, отображало все, что он чувствовал – испуг, разочарование и непонимание. Он не понимал. Тысячи раз он просматривал видео-энциклопедию, восхищаясь Землей и влюбляясь в нее все больше и больше. И вот, когда его мечта сбылась, он видит за окном серые, непримечательные камни. Среди них, в полупрозрачной, синеватой субстанции скользят какие-то сущности. Ни солнца, ни деревьев, ни зданий, ни высоких гор, ни неба! Ничего. Только темная синяя завеса с вынырывающими из глубины мордами малопривлекательных созданий.

– Это рыбы, мастер. Я сверился с энциклопедией.

– Рыбы? – губы его невольно скривились, – а где люди?

– Люди, по всей видимости, на суше.





– А мы где?

– А мы под водой, мастер. Согласно энциклопедии, именно так выглядят морские глубины планеты Земля.

– Мы уже прилетели? – капризный женский голос нарушил установившуюся в салоне тишину.

Невольно вздрогнув, Ренальдо оторвал взгляд от окна и обернулся к лестнице, ведущей на второй этаж. По ней медленно спускалась Фелисса. Красное платье очень шло к ее каштановым кудрям, но глаза ее, как всегда, оставались скрытыми непроницаемо черными очками. И, слава Богу, что так. Если бы не эти очки, он ни за что на свете не взял бы Фелиссу в рейс в качестве платного гостя. Никогда! Черные очки выдавали в ней лифуйку! Но лифуйку без темных очков он не взял бы ни за какие деньги!

Он и так согласился доставить ее на Землю только лишь из-за отсутствия других предложений. Прыгун его оказался подержанным. А найти платных гостей на устаревший транспорт не так-то просто. Конечно, он мог подождать. Но ему так не терпелось увидеть Землю. К тому же, эта лифуйка путешествовала с донором. Тщедушный Глэч, любовник Фелиссы, постоянно при ней. Должно быть, несчастный парень попал в полную зависимость от лифуйки, а она живет за счет его энергии. Бррр. Ренальдо, как и все, боялся и не любил лифуйцев. «Пожиратели» – наиболее распространенное название этих гуманоидов, живущих за счет чужой человеческой энергии. Их огромные черные глаза напоминают темные дыры. У лифуйцев отсутствует радужная оболочка. Или зрачки. А может быть, они просто сливаются цветом, превращая их глаза в пугающие черные омуты.

Если лифуец не носит линзы, его узнают по темным очкам. «Пожиратели» недолюбливают дневной свет. Сетчатка их глаз слишком чувствительна, поэтому многие лифуйцы почти не снимают темные очки. Но, оно и к лучшему. Не всякий может вынести вид глаз лифуйца.

Мельком взглянув на Фелиссу, Ренальдо снова повернулся к окну. Он старался как можно меньше встречаться взглядом с этой гостьей. Взглядом «пожирательницы», пусть даже и скрытым черными очками. Он был уверен, что Фелисса лифуйка. А кто знает, когда «пожирательнице» придет в голову потянуть. Тем более, сейчас, когда Глэча с ней рядом нет.

– Почему мне никто не отвечает? – снова капризно спросила Фелисса. Она спустилась с лестницы и, подойдя к Ренальдо, остановилась рядом, – Вы меня не видите, господин владелец Прыгуна? – спросила она и неожиданно расхохоталась.

– Почему же, – не поворачивая к ней головы, ответил он, – я вас видел, мадам. Но вы не поздоровались, и я решил, что вы мне пригрезились. Ну, а кто станет отвечать на вопросы, заданные пригрезившимся фантомом?

– Вы – фантазер, Ренальдо, и сумасшедший.

Она резко отвернулась от окна, никак не прокомментировав увиденный за ним пейзаж, и прошла к столу.

– Виз! Почему скатерть грязная?! Что это за сервис!? Разве я платила за завтраки в грязи?! Быстро замените скатерть и подайте мне кофе.

– Одну минуту, мадам. Я сейчас же все уберу.

Колант быстро скользнул к одному концу стола. Вытянув вперед правую руку открытой ладонью вверх, словно он хотел просунуть ее между двумя плоскостями, Виз медленно приподнял ладонь, как будто поднимая какую-то невидимую тяжесть. Тут же вся посуда, включая кофейники, вазочки с булочками, масленки, розетки с джемом и столовые приборы приподнялась над столом. Взявшись другой рукой за край скатерти, колант одним ловким движением выдернул ее из-под зависшей в воздухе посуды. Когда столешница засияла чистой деревянной поверхностью, он опустил правую руку, вернув завтрак на стол.

– Желаете завтракать так, мадам? Или же принести новую скатерть?

– Сначала налей мне кофе, а потом иди и поменяй скатерть, – резко бросила Фелисса, еще выше задрав подбородок.

– Будет исполнено, мадам, – как обычно бесстрастно ответил Виз.

Перекинув запачканную скатерть через руку, он подплыл по воздуху к го-





стве и исполнил ее приказ. Когда чашка Фелиссы наполнилась горячим напитком, колант поставил кофейник на стол и бесшумно покинул салон.

– Что вы там пытаетесь высмотреть, Ренальдо? – откидываясь на спинку стула и закидывая ногу на ногу, спросила Фелисса, – хотите увидеть гигантскую мурену?

– Мурену? – переспросил он, – я не понимаю, о чем вы говорите, мадам.

Он все еще стоял у окна, спиной к столу. За стеклом простирался так разочаровавший его пейзаж морских пучин.

– Вы не знаете, кто такие мурены? – рассмеялась Фелисса. – Ну, послушайте, Ренальдо, что же вы тогда знаете? Вы что же, не бывали на Земле?

– Нет, я никогда прежде не бывал на Земле и не знаю, что такое мурина, – стальным голосом ответил он, – меня всегда больше интересовала архитектура Земли, чем ее фауна.

Отвернувшись от окна, он прошел к своему месту. Сев во главе длинного стола, он взял кофейник и сам налил себе кофе.

– А зря, Ренальдо. Хищников нужно знать в лицо, если не хочешь стать их жертвой, – сказала Фелисса, поворачиваясь к нему лицом. Даже сквозь непроницаемое стекло ее темных очков, он почувствовал исходящий из ее глаз холод, мурашками пробежавший по его спине.

Фелисса откровенно издевалась над ним. Ренальдо был так наивен в своем романтическом увлечении Землей. Он, казалось, бредил этой планетой, восхищаясь ее красотой и даже не подозревая о ее пороках. Фелисса любила Землю, но не восхищалась ею. Наверное, потому, что она проводила здесь слишком много времени и знала ее обитателей лучше, чем другие пассажиры Прыгуна.

– Дорогая, – раздался в гостиной новый голос, – ты так рано встала сегодня, любимая.

Пришел Глэч. Тщедушный, романтический юноша, без ума влюбленный в свою подругу. «Несчастный, – в который раз подумал Ренальдо, – она тебя уже почти высосала».

Глэч медленно подошел к Фелиссе. Он двигался так же плавно, как Виз – человек-призрак. Да Глэч не слишком уж и отличался от коланта. Полупрозрачная кожа отливала синевой. Движения такие же плавные, а глаза бесстрастные, как у колантов. Видно, сил у него совсем мало. Наверняка, Фелисса уже подумывает о новом доноре, этого надолго не хватит, – подумал Ренальдо.

– Дорогая, я скучал, почему ты ушла без меня? – голосом умирающего, спросил Глэч. Он наклонился к Фелиссе и нашел ее губы. Ренальдо казалось, что жизнь Глэча перетекает в ее уста. Он почти ощущал то наслаждение, с которым эта женщина в черных очках пила жизнь молодого человека. Должно быть, она осознает, как мало осталось в Глэче этого живительного нектара, – думал он.

Он с отвращением отвернулся. Каждый раз он поражался страсти Глэча. Неужели он не понимает, что умирает? – думал он. – Фелисса же лифуйка, «пожирательница». Она черпает из него, не таясь, словно он бездонный. Глэч не может не знать этого! Что же заставляет его так дорого платить за любовь?

– Мы уже на Земле? – спросил Глэч, отрываясь, наконец, от губ Фелиссы. Он сел рядом с ней и взял ее руку в свои ладони.

– Да, Глэч, почти, – ответила она. – Я хочу курить.

Глэч, продолжая левой рукой нежно сжимать пальцы Фелиссы, правой достал из кармана пачку папирос. Когда она поднесла папиросу ко рту, он протянул к ней зажженную зажигалку.

– Что значит, «почти», любимая? Я тебя не понимаю.

В комнате снова появился Виз. Остановившись у другого конца стола, он вытянул вперед руку, заставляя посуду на столе опять воспарить в воздух. Когда все приборы поднялись вверх, Виз раскатал под ними чистую скатерть и снова опустил приборы на место. Все это слуга проделал с молниеносной скоростью и удивительным мастерством.

– Спроси у господина Ренальдо, Глэч, – пожав плечами, ответила тем временем Фелисса. Я сама не понимаю, почему вместо того, чтобы оказаться в окрестностях Монте-Карло, мы оказались под водой.

– Что вам подать, мадам? – спросил Виз, приближаясь к Фелиссе.

– Ветчины, – ответила она, не глядя на слугу. Она еще раз затянулась и





поднесла папиросу к пепельнице, чтобы сбить пепел. Подбородок ее был задран вверх и, судя по тому, как она покусывала губы, мысли ее уже унеслись далеко.

– Ренальдо, может быть, вы объясните мне, что случилось? – спросил Глэч, встречаясь взглядом с хозяином Прыгуна.

– Я пока сам не знаю. Надеюсь, что Виз нам все объяснит. Вы ведь знаете, что он правит балом в этом летающем доме. Я только лишь владелец Прыгуна, но истинный пилот – Виз.

Ренальдо не лукавил. Прыгунами в их галактике называют летающие дома. Корабли, которые совершают прыжки, преодолевая огромные космические расстояния. Снаружи Прыгун выглядит как большой, оснащенный круглыми окнами и одной дверью шар. Внутри же он практически ничем не отличается от уютного, обывательского гнездышка. Прыгуны отличаются друг от друга внутренней планировкой и дизайном, но все они оборудованы одинаковым прибором. Именно этот прибор и объединяет их под одним названием. Этим прибором является «прыгунок». Некая помесь бортового компьютера, энергетической станции и межгалактической энциклопедии. Энергию для работы «прыгунка», прыжков через пространства и жизнеобеспечения корабля составляет мощный генератор – небольшая, но самая дорогая деталь.

Для того, чтобы управлять Прыгуном не требуется каких-то определенных навыков или мастерства. Всю работу выполняет «прыгунок». Человек же должен лишь задать координаты места назначения и нажать кнопку «пуск». Элементарно. Но, как правило, владельцы Прыгунов не утруждают себя даже этим. У них имеются слуги. Умные, ловкие, обладающие экстраординарными способностями, преданные хозяевам коланты. Именно они занимаются в доме всем, начиная с межзвездных путешествий и заканчивая борьбой с вездесущими грызунами.

– Виз, объясни нам, пожалуйста, что случилось? – попросил Ренальдо, – почему мы под водой?

– Исчез генератор, – как обычно бесстрастно заявил Виз. Воистину, этот человек-призрак абсолютно лишен эмоций.

– Исчез генератор!?! – удивление разлилось на его лице. – Что ты такое говоришь, Виз? Ты в своем уме? Это что, злая шутка?

Глаза Ренальдо расширились от изумления и ужаса. Губы задрожали от обиды и отчаянья. Он не мог поверить, что это правда. Это жестоко, нечестно, несправедливо и, в конце концов, это ужасно. Прыгун без генератора – ничто. А ему уже никогда не накопить денег на новый Прыгун или же на новый генератор.

– Нет, это не шутка, – раздался на лестнице голос еще одного гостя. Доктор Кортис преодолел последние ступеньки лестницы и появился в салоне. Седые волосы причесаны на косой пробор, лицо гладко выбрито. Свежий льняной костюм безупречно чист. Запах одеколона, принесенный им, смешался с запахами духов Фелиссы, парфюма Глэча, свежесваренного кофе и жаренной ветчины.

– Я первым узнал о краже, – сообщил он, приближаясь к столу, – Виз разбудил меня, когда увидел, что пропал генератор.

Подтянутого, всегда бодрого, доктора Ренальдо знал уже больше двадцати лет и всегда находил утешение и поддержку в его дружбе. Ослепительно синие, лучистые глаза лучшего друга Ренальдо всегда светились участием и добротой. Именно поэтому, заметив пропажу, Виз обратился к нему. Его хозяин ведь так беспомощен. Кому, как не коланту знать об этом. Он уже давно служит у Ренальдо. Еще с тех пор, как тот был процветающим, подающим большие надежды, молодым архитектором. С тех пор прошло много лет. И Ренальдо уже давно считал Виза таким же близким другом, как и доктора.

– Кортис, объясни мне, что случилось, – взмолился он, – глаза его с надеждой смотрели на друга. Кортис знал, что для Ренальдо значила эта покупка. Архитектор всю жизнь мечтал о собственном Прыгуне и о путешествии на Землю. И вот сейчас, когда они уже почти прибыли, исчезает генератор. Самая ценная часть Прыгуна. Генератор, без которого этот летающий дом не сдвинется с места ни на йоту.

– Кто-то изъят генератор уже после того, как начался прыжок. Параметры





были заданы, и импульс поступил, поэтому мы благополучно достигли Земли. Но Прыгун сбился с курса.

– Но кто мог это сделать? И зачем? – все еще не в силах осмыслить новость, спросил Ренальдо.

– Именно это я и пытался выяснить, – ответил Кортис.

Он прошел к столу и занял привычное место по правую руку от хозяина Прыгуна. Виз тут же бесшумно подплыл к нему по воздуху и налил в чашку кофе.

– Как обычно? – спросил он, больше для проформы.

– Да, Виз. Два тоста с сыром.

– А вам, мастер?

– Ничего.

Он обхватил руками голову. Ероша свои светлые волосы, он отчаянно пытался придумать, что же ему делать.

– Ренальдо, успокойся. Возьми себя в руки, – поспешил успокоить его Кортис, – мы обязательно найдем генератор, я тебе обещаю.

– Ха, – хмыкнула Фелисса, – вот так шутку сыграл кто-то с бедным Ренальдо!

– Ну что ты, любимая, – зашептал Глэч, – разве ты не видишь, что ему больно?

Фелисса не смогла более сдерживаться и расхохоталась. Больно! Нет, ну она в жизни не слышала ничего смешнее. Больно! Какая глупость.

– Судя по вашей реакции, я смею предположить, что это ваших рук дело, – проговорил Кортис, обращаясь к ней. – Только не думайте, что вы сможете легко телепортировать. Даже и не надейтесь. Пока генератор не найдется, никто не покинет Прыгун.

– Правда? – Фелисса, наконец-то, перестала смеяться и повернулась к доктору. Глаза ее оставались скрытыми за непроницаемыми очками, а губы скривились в высокомерной усмешке. – Уж не вы ли меня остановите, господин Кортис? – спросила она.

– Нет, не я. Вы прекрасно знаете, что мне это не под силу. Это сделает Виз.

– Он не посмеет, он слуга. А я здесь гость. Платный гость, смею вам напомнить. В отличие от вас, господин Кортис.

– Вот именно потому, что колант слуга, он вас и остановит. Это приказ. Никто не покинет Прыгун без разрешения владельца.

– Дорогая, не расстраивайся. Они скоро найдут пропажу, и мы покинем Прыгун, – зашептал Глэч, пытаясь проникнуть любящим взглядом сквозь ее непроницаемые очки.

– Какая чушь, Глэч, – фыркнула она, – через три часа мне нужно быть в Монте-Карло, а эти люди хотят задержать меня в этом старом, мерзком Прыгуне. – Вы не смеете! – крикнула она, вскакивая с места, – Слышите, вы не смеете! У меня важная встреча, я должна быть в Монте-Карло не позже чем через три часа.

– Верните генератор и телепортируйте куда хотите. Не думайте, что нам доставляет удовольствие ваше общество. Верните то, что вам не принадлежит, и убирайтесь ко всем чертям, – сказал доктор Кортис, отважно глядя прямо в черные очки Фелиссы.

– Да как вы смеете?! – вскричала она, – как вы смеете так со мной разговаривать! Мне нет никакого дела до ваших проблем! Я заплатила за прыжок! Я заплатила за то, что вы доставите меня на Землю! Посадка должна была состояться в Монако! Так что, я могу потребовать компенсации за то, что мне придется выбираться из этих глубин за счет своей собственной энергии!

– Да уж, действительно неслыханная наглость заставить вас потратить свою энергию на телепортацию. А что, энергии Глэча уже не хватает?

– Мерзавец!

Теряя контроль, Фелисса схватила со стола тарелку и замахнулась, собираясь запустить ее в Кортиса. Но не прошло и секунды, как она замерла на месте, словно неподвижная статуя. Рука застыла в воздухе, не завершив движения. Рот, раскрывшийся для очередного проклятия, остался открытым. Но из него не вылетело больше не звука.

– Отпусти ее, Виз, – попросил Кортис, – немного, – добавил он погодя.





– Но будь начеку.

– Как прикажете, доктор. Только для начала, я заберу у нее тарелку.

Бесшумно приблизившись к застывшей неподвижно гостье, колант осторожно высвободил тарелку из ее рук и слегка отпустил ее. Немного, совсем чуть-чуть он ослабил энергетический захват, которым сжал волю Фелиссы всего лишь мгновение назад. Человек–призрак уже больше получаса держал ее за невидимую энергетическую нить, привязав к себе, как собаку. Теперь, она не телепортирует. Просто не сможет отсоединиться от него. Он ведь намного сильнее ее, ой как намного. Коланты – удивительные существа, наделенные огромной силой. Счастье для всех обитателей галактики, что такая сила принадлежит таким миролюбивым созданиям. Будь у них желание разрушать и владеть, они покорили бы весь космос.

Как только Виз ослабил невидимую хватку, Фелисса зашевелилась. Она безвольно упала на стул, тут же подхваченная Глэчем.

– Что вы с ней сделали, Виз? Она в порядке? – с дрожью в голосе спросил несчастный влюбленный.

– Не волнуйтесь, Глэч, – ответил за слугу доктор, – с мадам все в порядке. Просто ей придется разделить наше общество, пока мы не найдем генератор или же не телепортируем все вместе.

– Скажите, а это не опасно? – спросил Глэч, повернувшись к окну. Одной рукой он обнимал прижавшуюся к нему и погрузившуюся в молчание Фелиссу, другой гладил ее руку.

– Что вы имеете в виду? – спросил Ренальдо, отрывая голову от рук и поднимая глаза на парня.

– Но мы ведь под водой... А Прыгун, как бы это выразиться... ну, он уже не нов...

Ренальдо не знал, что ответить гостю. Ощущая собственную беспомощность, он перевел взгляд на друга, ища в нем поддержки.

– Вы боитесь, что вода раздавит стекла? – спросил Глэча Кортис.

– Опасаюсь, я бы сказал. Мы ведь не сможем в таком случае оставаться здесь, нам тогда придется срочно телепортироваться. А по вашим словам я понял, что Виз держит нас всех.

– Не беспокойтесь, с Прыгуном ничего не случится. Это все-таки космический корабль, а не обычный дом, – успокоил его доктор. – А пока завтракайте и молитесь, чтобы вор поскорее вернул нам генератор, если уж вы так боитесь.

– Кортис, неужели ты и, правда, думаешь, что это она? – зашептал Ренальдо, наклоняясь к другу. Они сидели далеко от влюбленной парочки, и он надеялся, что на другом конце стола его не услышат.

– Я ни в чем не уверен, Ренальдо. Только в том, что генератор исчез. Нужно дождаться Гарри и учинить допрос. Жаль, что нельзя никого обыскать, это будет уже слишком.

– Гарри, должно быть, еще спит. Мы с ним засиделись вчера за картами. Если, конечно, он не телепорт...

Глаза Ренальдо расширились от страшной догадки. Если генератор украл Гарри, он мог спокойно телепортировать за это время. А если генератора уже нет в доме, то им уже никогда не восстановить Прыгун. Летающий дом навеки останется на дне морских пучин, а он навечно лишится возможности путешествовать.

– Он в своей комнате, я проверял. Виз всех держит на «прицепе», не волнуйся, – поспешил успокоить его Кортис.

Доктор спокойно ел тосты, запивая их горячим кофе. Его хладнокровию можно только позавидовать, – думал Ренальдо. – Хотя, что в этом удивительного? Прыгун принадлежит не ему, а мне. Если генератор не найдется, мы все телепортируем отсюда. Наши способности позволяют нам это сделать. Триста метров – максимальное расстояние телепортации для птолеонцев. Способности лифуйцев немного больше. Так что, Фелисса, если она действительно лифуйка, может перенестись сразу на пятьсот метров. Но, конечно, нам всем далеко до колантов. Люди–призраки могут мгновенно преодолевать расстояния в десятки тысяч километров. Удивительные существа эти коланты.

Мысли доктора текли по схожему руслу. – Так или иначе, если генератор не найдется, мы покинем Прыгун и окажемся на Земле, – размышлял Кортис.





– Там, пользуясь известными всем путешественникам связями, мы найдем отправляющийся на Птолеон Прыгун, и вскоре будем дома. На билет домой у меня хватит средств. На приобретение нового Прыгуна Ренальдо уже никогда не накопить денег. Но домой вернуться он сможет, если, конечно, не погибнет от сердечного приступа. Он такой чувствительный, этот Ренальдо.

– Ты уверен, что Виз его держит? – спросил Ренальдо, не скрывая все еще владевшего им отчаяния. – Этот Гарри – темная личность. Я даже не уверен, что он птолеонец, – добавил он.

– А кто он, по-твоему? Лифуец? – в голосе Кортиса прозвучал сарказм.

– А вдруг? Лифуйцев, которые носят линзы, невозможно отличить от птолеонцев. Кроме глаз, внешне, они ничем от нас не отличаются.

– Не глупи, Ренальдо. Лифуец не станет путешествовать без донора. Он не может жить без человеческой энергии.

– Но он может тянуть из кого-нибудь из нас! – забыв о том, что их могут услышать, громко шептал Ренальдо.

– Глупости. Это рискованно. Если кто-нибудь почувствует, что его тянут, он имеет право потребовать телепортации «пожирателя». Они об этом знают. Так что здесь одинокий лифуец – на вражеской территории. Колант мигом выбросит его в космос, если тот попробует тянуть.

– Это, если тянуть явно. Ты ведь знаешь, что рассказывают о «пожирателях». Необходимость выживать заставила их усовершенствовать свое умение. Некоторые из них научились тянуть так, что даже коланты не чувствуют. Я слышал историю об одном «пожирателе», который умудрился тянуть из коланта. Представляешь? Он мог всю жизнь прожить за счет человека-призрака, питаясь самой лучшей, чистой и самой сильной энергией в галактике.

– Ну и как долго это продолжалось? – недоверчиво усмехнувшись, спросил Кортис.

– Недолго. Точно не знаю.

– Вот видишь. И что колант сделал с этим «пожирателем»?

– То ли заслал его куда-то, то ли дематериализовал, не помню точно.

– Сказки, – спокойно констатировал Кортис. – Не верю я, что можно тянуть из коланта. Для этого нужно быть гением.

– Но я ведь не говорю, что Гарри тянет из Виза. Он мог пользоваться кем-нибудь из нас. По умному, по чуть-чуть. И только тогда, когда Виза нет рядом. Чтобы тот не почувствовал движения энергии.

– Не знаю, Ренальдо, – с сомнением покачал головой Кортис, – я не думаю, что Гарри – «пожиратель». А вот стащить генератор, я думаю, он мог.

– Но ты уверен, что он не сбежит? – снова вспоминая о том, чем грозит ему потеря генератора, спросил Ренальдо.

– Уверен. Виз держит его так же, как и Фелиссу с Глэчем.

– И Глэча? – удивился Ренальдо, – Да Глэч, должно быть, даже не знает, как выглядит этот «прыгун». Его вообще, похоже, ничто в жизни не интересует, кроме Фелиссы. Бедняга.

– Да уж, – проронил Кортис, кинув прищуренный взгляд на парочку за противоположным концом стола. – Эта дамочка тянет парня, не особо-то скрываясь.

Фелисса уже пришла в себя и сейчас о чем-то тихо перешептывалась с Глэчем. Она ласкала рукой его волосы, ее чувственные губы излучали желание. Глэч видел только губы Фелиссы. Глаза его светились любовью.

– Доброе утро, господа, – раздался в гостиной голос их последнего платного гостя. Когда они отправлялись с Птолеона, гостей было десять. После трех прыжков, их осталось только трое. Доктор Кортис не был платным гостем. Он путешествовал на правах друга Ренальдо.

– Доброе утро, Гарри, – с заметным облегчением в голосе поздоровался Ренальдо, – вы сегодня что-то поздно.

– Да уж. Полночи мучился, не мог заснуть. Ходил, бродил. Не заснул, пока не спустился вниз за виски и не опустошил в своей комнате полбутылки. У вас бывает бессонница, Ренальдо?

– Бывает, когда у меня зарождаются новые идеи, или же я чем-то взволнован.

– Да, волнение съедает наш сон, – проговорил Гарри и подошел к окну.





Кортис внимательно наблюдал за гостем. Гарри остановился у широкого круглого окна. Увидев подводный пейзаж, он присвистнул.

– Ничего себе! – сказал он. – Разве у нас намечалась подводная прогулка?

Руки Гарри засунул в карманы брюк. Если бы не седые волосы, он походил бы на озорного мальчишку. Уже давно переступивший порог молодости, он производил впечатление общительного, открытого человека. Неисчерпаемый кладезь различных историй, которые происходили с его многочисленными знакомыми, он постоянно что-то рассказывал, и каждый раз не о себе.

– Эта ситуация напомнила мне одну историю, – начал он, как обычно, один из своих многочисленных рассказов. Его серые глаза уже загорелись ораторским огнем. Отвернувшись от окна, он направился к столу.

– Гарри, давайте сегодня обойдемся без историй, – попросил Ренальдо, – нам нужно выяснить свою историю.

– Без проблем, – тут же согласился Гарри, вынимая руки из карманов и поднимая их вверх, словно сдаваясь. Он подошел к столу и занял свое обычное место – посредине.

– Что вам подать? – спросил Виз, подплывая по воздуху к припозднившемуся гостю.

– Яичницу с ветчиной, Виз. У тебя еще есть?

– Сейчас приготовлю. Кофе?

– Да, пожалуйста. Так что же у нас случилось? – спросил Гарри, посмотрев сначала в сторону Ренальдо и Кортиса, а затем на Фелиссу и Глеча. Разделившись на пары, те сидели в разных концах длинного стола, словно противники.

– Похищен генератор, – спокойно сообщил Кортис, – и пока он не найдет-ся, никто не телепортирует отсюда.

– Вот как? – переспросил Гарри, – забавная история, – задумчиво постукивая по столу пальцами, добавил он.

– Вы находите это забавным? – приподняв одну бровь, спросил Кортис.

– Безусловно, коллега. А вы нет?

– Я вам не коллега, – ледяным тоном ответил Кортис, – попрошу вас не забаваться. Я – врач. А вы – неизвестно кто. То ли вор, то ли игрок, скорее всего и то и другое.

– Вот я и говорю, что мы с вами коллеги.

– Да, как вы смеете? – теперь уже Кортис вскипел от возмущения так же, как несколько минут назад Фелисса. Услышав этот спор, та отвлеклась от Глеча и прислушалась. Через мгновение ее чувственный смех огласил пространство гостиной.

– Молодец, Гарри. Отомстите за меня этому наглецу. Он уже обвинил в воровстве меня, теперь вас. Бейте Кортиса его же оружием!

– Господа, прекратите! – потребовал Ренальдо, – Прекратите поливать друг друга грязью! Вы ведь люди! Помните об этом!

– Сумасшедший романтик, – презрительно поморщившись, пробормотала Фелисса, – он думает, что люди чем-то лучше животных, – хмыкнула она, пожав плечами.

– С позволения владельца Прыгуна – господина Ренальдо, – взял слово доктор, – я уполномочен заявить, что никто не сможет покинуть корабль до тех пор, пока не будет найден генератор.

Доктор уже взял себя в руки, восстановив свое знаменитое хладнокровие. Глаза его приобрели сочувствующее выражение, складка рта немного смягчилась.

После слов Кортиса в салоне воцарилась тишина. Люди сидели, погружившись в свои мысли. Знать бы, о чем они думают, – размышлял Ренальдо, – сразу стало бы ясно, кто из них вор. Но, к сожалению, читать мысли не умеют даже талантливые коланты. Так что, нужно срочно искать способ вернуть генератор. Энергии в запаснике хватит ненадолго. Правда, кондиционеры уже не работают с тех самых пор, как исчез генератор. Но это не страшно. Дом большой, воздуха может хватить надолго. Но насколько хватит их нервов? Особенно, когда отключится свет.

– Кстати, где Пери? – спросил Кортис, – я давно его не видел.

– Не знаю, – пожал плечами Ренальдо, – в последний раз я видел его вчера вечером, когда он наливал нам с Гарри вино.





– Виз, где твой сын? – спросил доктор коланта. – За это утро я ни разу его не видел.

– Спит, наверное. Он всю ночь занимался. Я разрешил ему сегодня отдохнуть.

– Занимался, – фыркнула Фелисса, – мы совершили прыжок с Ганта вчера ночью. Пери мог спокойно забрать генератор сразу после того, как был дан импульс, и телепортировать назад, на Гант. Для вас, колантов, такие расстояния – не проблема.

Впервые за свою жизнь Ренальдо видел, как лицо Виза утратило привычную для него бесстрастность. Брови человека-призрака полезли на лоб. От переизбытка возмущения слуга стал увеличиваться в размерах. Как!? Обвинить коланта в воровстве?! В предательстве своего хозяина?! Никто во всей вселенной не осмелился бы на такое. Воистину, для этого нужно было быть «пожирательницей».

– Виз, успокойся! – увидев состояние слуги, проговорил Ренальдо, – я верю тебе и твоему сыну. Я знаю, что никто из вас никогда не предаст меня. И поверь мне, я не предаю вас. Пери, должно быть, забрался в кладовку и спит, не правда ли?

– Я не знаю, где он спит, мастер, – с трудом преодолевая волнение, проговорил Виз. – Вы ведь знаете, что когда мы спим, мы становимся полностью невидимыми. Но я уверен, что Пери здесь. Ему никогда даже в голову не пришло бы украсть что-либо в доме хозяина.

– Я не сомневаюсь в этом, Виз. Не переживай.

Видно было, что Виз с трудом взял себя в руки. Его полупрозрачное тело снова приняло нормальные размеры, но огонь возмущения все еще пылал в груди. Взяв со стола грязную тарелку, колант заскользил по воздуху к выходу из гостиной. Вдруг, словно выпуская пар, он с силой дунул себе под ноги. Струя золотой пыли выскочила из его рта, устремляясь вниз. Тут же раздался душераздирающий писк. Через мгновение в салоне снова воцарилась тишина.

– Что случилось, Виз? – вздрогнув, спросил Ренальдо.

– Грызун, мастер. Я дематериализовал его, – бесстрастно ответил колант. По выражению глаз слуги Ренальдо понял, что Визу стало легче.

Фелисса сжалась на стуле, прижавшись к Глэчу. Все знают о способностях колантов. Они могут уничтожить живое существо в считанные мгновения. От грызуна, который на свою беду забежал в гостиную, не осталось даже клочка шерсти. Раз! И нет комочка жизни. У Фелиссы даже мурашки пробежали по телу, словно она почувствовала себя в шкуре этого несчастного мышонка. Шкуре, от которой не осталось ни одного волоска.

– Отлично, – пробормотал Гарри, – насколько я понимаю, если кто-либо из нас попробует телепортировать, нас ожидает тот же конец, что и этого грызуна?

– Вы с ума сошли! – воскликнул Ренальдо. – Вы же не грызуны!

– А кто поручится, что ваш колант не сумасшедший? Кто?

– Я поручусь. Я знаю его много лет. И никому, кроме грызунов, Виз никогда еще не причинил вреда. Он истинный колант, благородный и преданный.

– Вот в том то и дело, что преданный, – возмутилась Фелисса, с тревогой оглянувшись на дверь, за которой исчез слуга. Она знала, что пытаться телепортировать бессмысленно. Для энергетической хватки коланта не существует стен. Но то, что коланты глуховаты, это тоже общеизвестный факт. Так что, пока Виз остается на кухне, она может говорить то, что побоялась бы теперь сказать в его присутствии. – А вдруг, он заподозрит невиновного? – с дрожью в голосе, спросила она. – Вдруг он решит отомстить за вас? Колант может всех нас дематериализовать в считанные секунды!

– Успокойтесь, что вы такое говорите?! Это же колант!

– Вот в том то и дело, что колант! – вновь вступил в спор Гарри. – Виз – человек-призрак, обладающий экстраординарными способностями. А кто знает, что творится в голове у этих колантов, кто? Скоро закончится энергия в запаснике, и мы останемся в темноте. В полной темноте, хочу я вам заметить. Никто из нас не будет видеть ни зги. Кроме коланта. И тогда...

– Что тогда? О чем вы говорите, Гарри? Опомнитесь! Лучше попытайтесь найти выход! Если генератор у вас, верните его. И мы тут же совершим пры-





жок, чтобы прибыть на место. Фелисса даже успеет на свою важную встречу.

– Важную встречу? – сверкнул глазами Гарри, и повернулся к Фелиссе, – с кем это?

– Не ваше дело, – ответила она, задрав подбородок.

– Конечно не мое. Теперь у нас все дела общественные, дорогая наша «пожирательница».

– Что? – прошептала Фелисса.

– Да как вы смеете? – вскричал Глэч, – сейчас же извинитесь перед Фелисой, или я убью вас!

Он вскочил из-за стола, тут же утратив всю свою меланхоличность. Глаза его полыхали огнем, кулаки сжимались в гневе.

– Ха-ха, – усмехнулся Гарри, – тоже мне защитник!

– Я убью вас! – повторил Глэч, ринувшись на Гарри. Но внезапно он оказался отброшен назад, словно сзади его кто-то потянул за невидимую резинку, прицепленную к поясу. Упав на стул рядом с Фелисой, он в гневе оглянулся. Позади стула парил Виз. В руке он держал тарелку с яичницей.

– Прошу прощения, господин Глэч, – как всегда, бесстрастно проговорил Виз, – в мои обязанности входит обеспечивать безопасность гостей. Я не могу позволить вам убить этого человека в стенах Прыгуна. Когда вы покинете наш кров, воля ваша. Делайте с ним, что хотите.

– Но вы ведь слышали, как он оскорбил Фелиссу!

– Грязь порождается грязью и пристаёт к грязи. К чистому грязь не пристанет, – бесстрастно проронил человек-призрак и продолжил свой путь. Подплыв по воздуху к Гарри, он поставил перед ним тарелку с яичницей и заскользил в сторону.

Гарри, сделав вид, что он не понял намека коланта, спокойно взял нож и вилку и приступил к завтраку. Влюбленные же снова прижались друг к другу. Фелисса благодарила Глэча за заступничество, а он нежно целовал ее руки.

– Могу я вас спросить, Ренальдо? – заговорил Гарри несколько мгновений спустя, прожевав кусок яичницы. – Доводилось ли вам бывать прежде на Земле?

– Нет, а почему вы спрашиваете?

– А вы, доктор? Бывали ли вы на Земле? – переведя взгляд на доктора Кортиса, спросил Гарри.

– Нет. Это мое первое путешествие.

– Да? Ну, а теперь спросите мадам Фелиссу, сколько раз она бывала на этой прекрасной, но не такой уж невинной планете.

– Какое вам до этого дело? – отозвалась с другого конца стола Фелисса. Услышав свое имя, она отстранилась от Глэча. Она, явно, нервничала. Глаза ее, как и прежде, скрывали темные очки. Она снова взялась за папиросу. Глэч поднес ей зажигалку, и Фелисса судорожно затанулась. Пальцы ее левой руки нервно забарабанили по столешнице.

– Есть дело, мадам. Потому как я не намерен оставаться здесь как баран и ждать когда меня дематериализует разозлившийся колант! Вы прекрасно знаете, что я имею в виду. Вы, несомненно, множество раз бывали на Земле. У вас назначена встреча, и не где-нибудь, а в Монако! Уж, не в Монте-Карло ли, посмею я спросить?

– В Монте-Карло, – ответил Ренальдо, вспоминая слова Фелиссы о встрече.

– Ну, видите, к тому же в Монте-Карло. Удобное место для продажи алмаза. Да какого алмаза! Ренальдо и доктор никогда не бывали на Земле. Они думают, что генератор – это просто самая дорогая часть Прыгуна. Им и невдомек, что генератор не только обеспечивает энергией летающий дом, а может служить денежным эквивалентом на Земле. Дорогой мой, Ренальдо! На Земле камень, в три раза меньше, чем ваш генератор, стоит миллионы! За него можно купить кучу транспортных средств! Правда, ни одно из них не сравнится с Прыгуном, – разводя руками, добавил Гарри. – Земляне еще не раскрыли истинного предназначения алмазов. Алмазную крошку, они, правда, используют в промышленности. Но самые крупные кристаллы они не эксплуатируют. Можно сказать, что люди на Земле поклоняются этим камням, считая их бесполезными, красивыми безделушками. Но, со свойственной дикарям страстью, они готовы выкладывать огромные деньги за эти бесполезные, с их точ-





ки зрения, камни. Такие уж они, земляне.

– Что вы хотите этим сказать? – спросил Ренальдо, – что генератор можно продать на Земле и выручить за него большие деньги?

– Огромные, дорогой, Ренальдо, огромные деньги! Вы даже представить себе не можете, насколько велика будет сумма. Продав ваш генератор, вор сможет жить в роскоши всю оставшуюся жизнь. Да что там жить! Он будет купаться в роскоши!

– Вот, должно быть, вы и украли генератор, – хмыкнула Фелисса с другого конца стола, – а теперь пытаетесь отвести от себя подозрения этим «разоблачением». А вы? Зачем вы летите на Землю? Вы, человек, играющий в карты с виртуозностью шулера! Кому, как не вам, могла прийти в голову такая блестящая мысль – украсть генератор! У вас и знакомые, должно быть, соответствующие есть. Ведь это, должно быть, совсем не просто, продать такой огромный камень. Да и сами вы сказали, что не спали полночи. Бродили по дому, в поисках виски.

– Мадам, не пытайтесь перевести подозрение на меня, – усмехнулся Гарри, – я не знаю, когда пропал генератор. Но могу сказать, что я вернулся в свою комнату около трех часов ночи. Когда заснул, не помню. Может быть, через полчаса. А когда у нас пропал генератор? – спросил он, взглянув на доктора Кортиса.

– Предположительно около восьми, – ответил тот.

– Вот видите, мадам. В то время я спал, как младенец. Виски, знаете ли, отлично помогает от бессонницы.

– Да, но в отличие от меня, у вас нет алиби, – не сдавалась Фелисса.

– Уж не хотите ли вы сказать, что у вас есть алиби, мадам?

– Конечно! Я спала с Глэчем. Он – мое алиби.

– Или же сообщник.

– Что? – Глаза Глэча снова запылали огнем. – Прекратите сейчас же! – крикнул он. – Вы не смеете, слышите! Вы не смеете обвинять нас в том, что мы не совершали!

– Господа, господа! Прекратите этот спор! – вступил в перебранку Ренальдо. Он, наконец-то, взял себя в руки и решил заняться расследованием. Это его Прыгун, и ему необходимо защитить свою собственность. – Если вы согласитесь отвечать на мои вопросы, я попытаюсь провести расследование, – продолжил он. – Возможно, общими усилиями, нам удастся установить истину.

– Спрашивайте, Ренальдо. Мне нечего скрывать, – проронила Фелисса. Она снова вскинула вверх подбородок и потянулась за новой папиросой.

– Валяйте, Ренальдо. Я к вашим услугам, – сказал Гарри, отодвигая в сторону тарелку. – Виз, – позвал он, – не могли бы вы принести мне виски?

– Одну минуту, господин Гарри, – ответил человек-призрак и подплыл по воздуху к бару.

– Итак, господа, начнем, – проговорил Ренальдо. – Доктор Кортис, – обратился он к другу, – будьте любезны, расскажите нам о том, как вы узнали о пропаже генератора, и что вы предприняли в связи с этим.

Продолжение следует...



Игорь Колтунов

Київ

Бро

І давно ти так? – Давно, брате. І давно вже не брат, а Бро. Так тепер кажуть молоді і святі учні життя, ще не забруднені податковими деклараціями та квитанціями за опалення. Він схож як дві краплі, але тільки не такий наглий у мої п'ятнадцять. Молоді проблеми, перші бійки та дівчата соромливо сховані у нетрях Контакту. І він молодий, а я вже ні, і він дихає на повні груди і читає щось про «Детей проходних дворов» тільки на новий лад.

Лети світе перед очима, дай йому побачити більше і глибше, швидкого старту та не таких брудних вулиць як в моєму дитинстві. Хай буде рука міцною, а слова речетативу впевненими і нехай вселенська марнота та «суровіє будні» навіть не торкаються підощв його адидасів.

Харків, Харків, де твоє обличчя?

Архітектурне начиння міст, які залишив, все частіше виринають у снах. Каплички, парки, фаст-фуди та харківська бруківка тепер не пейзаж – лише спогад, і спогад неабиякий, а... ностальгійний. Ти проходив повз них тисячі разів і лише сьогодні вони стають справжнім тлом твого дитинства, твоєї юності, твоїх телефонних дзвінків, які так і не знайшли свого абонента.

Маршрути твоїх хмільних пригод, закапелки в яких освідчувався, присичувався і іноді навіть засинав, тепер не географічна реальність, а скоріш примара, спогад, якого, може, ніколи і не було. Сакральні стежки житлових масивів, серед них народжувалось салтівське сонце, аби загинути на руїнах ХТЗ.

Вісімнадцятий тролейбус вже не возить старим маршрутом, вісімнадцятий тролейбус більше нікуди нікого не возить. Може саме тому за його сходінку так цупко вчепилась пам'ять, як валютна повія, яка не може забути жодного зі своїх нічних гостей, як валютна повія, яку не пам'ятає жоден з її нічних гостей.

Змій летить небом, мишка померла поруч з клавіатурою, а десь у Харкові сніг, і дві людини стоять посеред снігу і чекають на вісімнадцятий тролейбус.

Врятувати рядового Аскольда

Тисячу років тому тут хрестили Русь і Дніпром пливли дерев'яні Дажьбоги втоплені в крові поганців. Сьогодні заїжджі мусульмани та підстаркуваті американці лаштують тут свою туристичну старість, запиваючи мADEROю та гірким пивом лагідність трудівниць ескорту, невтомних червонодипломниць вітчизняних ін'язів.

Святою хрещатиковською бруківкою, яка в Дніпро заглядає і спиною треться контемпорарі артом тисячі мандрують усміхнено, і дитячі самокати підганяються бадьорим «дрр... ддр... ддр». Сьогодні тут мали ходити геї, натомість ходять люди у вишиванках, така собі субкультурна рокіровка.

Небо над Хрещатиком чисте, якби ще не цей безапеляційний цифровий годинник на башті то почало б здаватися що на Аскольда тут більше ніколи ніхто не чатуватиме.





Майя Студзинская

Ранее публиковалась в «Радуге», «Сотах», «Диком поле», глянцеве: Зефир „ДайJust. Модное чтиво” (под фамилией Степанова), «Женском журнале», луганском издании «Нова проза», житомирском «Филео+Логос», днепрпетровском «Арт-шуме» и «Литере Днепр».

Из записок безработной умницы

Страшная история

Однажды в раннем детстве родственники поведали мне страшную тайну – оказывается в этом мире, и возможно прямо у нас в городе, существуют Плохие Дяди и по внешнему виду их не всегда можно отличить от хороших или обычных дядь. Поэтому нужно избегать всех незнакомых дядек, насколько бы хорошо они не выглядели: не разговаривать, не брать конфеты, не садиться в машину и никогда никуда не приглашаться. Я была огорошена, данная информация самым революционным образом отразилась на моём мировосприятии.

Спустившись погулять во двор, я узнала, что сегодня в Тайну Зловещих Дядь посвятили не только меня, а и всех прочих детей.

Нас было семеро, три мальчика и четыре девочки, возраст от 5-ти до 8-ми. Мы уселись в небольшом палисаднике за углом нашего дома и стали бурно обсуждать жуткие новости. Особенно нас беспокоил вопрос, зачем Плохим Дядькам угощать детей вкусными конфетами? Единогласно мы пришли к выводу – сласти смертельно отравленные! Наиболее обширным опытом в данном вопросе располагала самая старшая девочка. Она рассказала нам парочку кошмарнейших и, на сегодняшний взгляд, абсолютно невнятных историй о сверхъестественном коварстве отдельных проходимцев. Авторитетно она заявила – действительно, конфеты брать нельзя, особенно у бородатых дядек. Взрослые об этом редко говорят, но самые опасные из всех – именно те, кто с бородой. Мы дружно ахнули... Один мальчишечка скептически заметил, что его папа, например, носит усы... На него посмотрели враждебно и он срочно умолк.

В это время из-за угла вышли двое... Тогда они показались мне безобразно старыми. Сегодня, я думаю, им было около двадцати. Двое дядей, и что характерно – оба бородатые, один из них весело спросил:

— Дети, а хотите конфет?!

Повисла пауза, практически такая же многозначительная, как в «Ревизоре». Потом вперёд вышел мальчик – отчаянно смелый карапуз, и сурово, хмуро, категорично сказал, как отрезал:

— Мы конфет не едим!

— Странные какие-то дети – конфеты не любят. — улыбнулся второй дядя.

И тут, все мы - детвора, с дикими воплями кинулись врассыпную... Помню неслась сломя голову, не разбирая дороги, задохнулась, боль в подреберье, попятам хныкающая подружка... Спрятались в соседнем дворе.

Воочию убедились – родители не врут, «великовозрастная» приятельница – не сочиняет.

Чудесное исцеление

В старших классах нас отправили в больницу проходить какую-то практику. В больницу – девочек, мальчиков – не помню куда. Женской половине сказали взять с собой чистые белые медицинские халаты. Не знаю, где другие их брали... Благодаря родственникам медикам проблем с «халатностью» у меня не возникло. Мы, девчонки, очень мило радовались тому, что под халат можно одеться «не по форме». Была жарница и все облачились в коротенькие шорты. В больнице мы оказались никому не нужны. Нас почему-то заставили торжественно нацепить халаты и посидеть полчасика в коридоре, а потом отпустили по домам. Пока я со своей компанией сидела в коридоре... Сидели мы вот как: нас было или шестеро или пятеро, нога на ногу, халаты задрались выше колен. Ассортимент ножек на все вкусы: пухленькие, стройные, длинные, накачаные, нахальные и стеснительные... Мы традиционно по-девичьи щебетали, хи-





хикали... По коридору, держась за стену, полз дедуля лет восьмидесяти, весь в бинтах. Когда он подполз ближе и увидел всё это богатство выбора, внезапно оживился. В два прыжка он оказался рядом с нами и успел обеими руками перехватать все коленки. После чего, он так же резво скрылся за поворотом. Всё было проделано настолько шустро, что возмущались мы уже вслед... а его след давно простыл...

Буйство природы

Весна XXI века... Коты почему-то не закатывают сезонных истерик... Иногда одинокий соловей издаёт скромненькие трели по соседству, на озере, которое граждане умертвили, сбрасывая туда свинцовые аккумуляторы.

Так или иначе, природа продолжает гнуть свою, традиционную для данного времени года, линию...

Около двух часов ночи под окнами нашей многоэтажки раздаётся истошный вопль: «Олька! Олька!!! Олька!!!!». Сонно предполагаю, что если бы он обратился к ней: «Оленька, Олюшка, Олюня», то она бы и откликнулась быстрее.

Дом наш длинный... Судя по тому, как меняется интенсивность звука, орун бежит вдоль него.

«Маша!!! Маша!!! Маша!!!»... Такого поворота я не ожидала!

Минут через двадцать понимаю – он упускает из виду одно обстоятельство: окна половины квартир нашей панельной высотки выходят на противоположную сторону. Хотелось бы объяснить ему это. Но давать советы с высоты своего этажа, растрёпанному в чувствах человеку, бесперспективное занятие. А спуститься... Ну... Я не настолько человеколюбивая натура... даже по весне.

Прошло ещё пятнадцать минут:

«Маша! Маша!!! Олька!!! Олька!!!»... «Маша-а-а-а!!!». Потом просто «А-а-а-а!!!!!!!». «А» – хриплое, с особым надрывом, от него першит в горле и у меня... Или звенит в ушах?

Далее без изменений, всё те же, набившие оскомину: «Олька и Маша». Должна заметить, что «Маша», так и осталась до конца просто Машей. А «Олька» не доросла до статуса: «Ольги, Оли», но к её имени временами он присовокуплял всяческую нецензурщину. Пришла к выводу: Маше он доверяет больше, даже питает к ней некоторое уважение, однако между ним и Олькой промелькнула та самая пресловутая искра.

Сокрушаюсь – как всё-таки провинциально мы живём! В век, когда существуют мобилки, интернет и домофоны, мы по старинке выводим рулады под стенами небоскрёбов. Впрочем... Может быть современный человек именно так и голосит, паникуя, в одночасье лишившись по каким-то причинам всех этих, милых сердцу, средств коммуникации.

Обидно только... Разбудить меня разбудили, а чем дело кончилось я так и не узнала...

Strangers in the night

По ночам меня тревожит мотоциклетный рёв. С часу до пяти утра практически под моими окнами проносятся лихие ребята, упоённо и безжалостно превышая скорость.

Днём по этой же трассе чинно ездит Президент.

Первые пару лет вой мотоциклов заставлял меня пробуждаться в ужасе, но теперь я научилась получать от внезапного грохота удовольствие... Он будит меня, как и раньше, но лишь для того, чтобы я снова блаженно провалилась в сон. За окнами бурная жизнь, а я в уюте и тепле ничем не рискую. Примерно так же я воспринимаю зов сирен и музыкальную заставку к сериалу «Закон и порядок».

Недавно при свете дня я увидела одного из этих ночных странников. Он был бритым и крутым, серьги - гроздьями, обильные татуировки, чёрная расписная футболка в стиле культового рок-магазина моего детства «Перекрёсток». Он и в полдень рычал громогласно мотором, дополнительно оглушая местных обывателей Slade. Залюбовалась я! Всем своим видом он опровергал незатейливую реальность спального района. Настроение мгновенно улучшилось, я и думать забыла о том, что красивое платье, купленное на последние деньги, на мне некрасиво сидит.





Suicide blond

В легионе моих подруг есть одна, чей муж водил электрички. Он рассказывал, что существуют места, где люди, традиционно, из года в год, бросаются под поезд. Пережить такую жуть машинистам крайне тяжело, им официально дают два месяца на восстановление, но многие безусловно бросают работу. Однажды, муж-машинист как раз приближался к подобной рискованной зоне, издавдала заметил женщину, которая вела себя подозрительно и сразу стал тормозить. Когда поезд остановился, он схватил «разводной ключ» (или как там его называют?), выскочил с криком: «Да я тебя урою собственными руками, сука!!!», и бросился на даму. Моментально в ней проснулась небывалая любовь к жизни. Она летела над железнодорожной полосой со сверхзвуковой скоростью...

Недавно на посиделках благородных девиц эта история встретила шквал критики. Мне высказывали: «как он мог понять, что она хочет покончить с собой?!!».

Ладно! Никак! Однако представим себе ситуацию: благонравная грибница в десятом колене (благонравная - в десятом, грибница - в пятом) собиралась пересечь пути с целью обнаружения в ближайшем лесу: *Boletus edulis*, *Leccinum aurantiaum* или *Tylopilus chromapes*. Видимо сперва она подумывала проскочить, но воспитание и благоразумие подсказало ей, что лучше подождать, пока поезд проедет. Возможно, в течение минуты она несколько раз меняла решение. Муж-машинист, несклонный к интеллигентским колебаниям, конечно же, вообразил худшее. Что должна была чувствовать и думать дама – грибница, когда поезд внезапно остановился (в неподобающем месте), оттуда выскочил озверевший мужик и погнался за ней?!!

Ach, du lieber Augustin

Если я однажды всё-таки состарюсь и сяду на лавочку возле подъезда, то «близидящие» старушки не поймут моих историй и даже не захотят дослушать их до конца... А ведь кроме 1 000 историй подобного рода ничего внятно-го я рассказать о себе не смогу.

Не в прошлом году, не в позапрошлом, а ранее... водила я знакомство с астрофизиком. Он частенько восклицал: «Да есть ли, в самом деле разумная жизнь, на планете Земля?!». Жил нервной двойной жизнью... То есть, по совместительству был дипломированным астрологом. От астрофизической братии он скрывал свои лженаучные изыскания, а в лженаучной среде всячески отрицал свою принадлежность к серьёзным академическим кругам.

Влюбилась я в него... По-настоящему любила другого, но влюбилась ещё и в этого, т.к. действительно любимый был далеко... и далеко был невыносимо долго.

К тому же, падка я на внешность - на правильные черты лица. В общем, интересно-экзотическая, в целом симметричная телесная оболочка астрофизика возымела своё пагубное действие.

Человеческая психика изворотлива и беспринципна – беззастенчиво стремится избежать благородных мук, посредством вульгарных удовольствий...

Снедаемая внезапным чувством, я немедленно отправила астрофизика СМС. В 5 утра написала честно: «Влюбилась я в тебя...» и ещё, ещё какие-то слова... Не помню точно какие, но в своей несколько агрессивной ироничной манере, которая далеко не всем по душе. Он моментально перезвонил, трубки я не взяла, он срочно написал, однако телефон я отключила. Выспалась, как следует...

Позже заподозрила себя в мелкой мстительности. Случалось, незабвенный астрофизик звонил в 2 часа ночи... Диалог был таким:

- Спишь?
- Ага.
- Встань с кровати...
- ...
- Встала?
- Да. — Вру, конечно.
- Подойди к окну... Подошла?
- Ага. — Опять вру, не отрывая головы от подушки.
- Посмотри, у вас там дождь идёт?



— Нет.

— А в нашем районе ливень. Спокойно ночи!

Может он хотел поговорить, и не знал, о чём принято говорить в это время суток?

Может именно поэтому я выбрала для поспешного признания предрасветные часы?

Через пару дней астрофизик невинно назначил встречу в центральном парке. Я пришла. Пока я шла, он умудрился нарезать не по-детски, чем-то люмпенским вроде джин-тоника.

Завидев меня, он сразу провозгласил: «Штаны поменял на чистые, презервативы захватил, а вот голову забыл помыть... Зря забыл...наверное»... Разочарование, постигшее меня, оказалось таким же внезапным, как и чувство... только не скоротечным, а по глубине – бездонным, как и любовь к тому, кого я тогда действительно любила. И дело вовсе не в гигиене, а примитивном и однозначном толковании понятия «влюбилась».

Я поторопилась удалиться. Пока торопилась обратно в метро, он успел вкратце и весьма навязчиво охарактеризовать хитросплетения моей космограммы. Согласно этой трактовке его собственный знак зодиака присутствовал в моём гороскопе в качестве некоего назидательного начала. Далее он посягнул на мою баресму... Не дослушала! У нас всегда были серьёзные расхождения во взглядах на некоторые аспекты моего астрологического профиля.

Дома, я почувствовала себя плохо... Озноб и дрожь... Я сожгла и спустила в унитаз гороскоп, составленный астрофизиком. Он вручил его за неделю до бездарного смс-признания. Все телефоны разрывались, я игнорировала их и дрожала под одеялом. Никогда не верила в сглаз... Но если он и впрямь случается, то вероятно «порченные» испытывают нечто похожее. В очередной раз на экране мобилки высветился незнакомый и фантастический номер. Не утерпела и ответила. То был астрофизик, он почему-то интересовался моим самочувствием. Я соврала о том, что всё в порядке. Перед сном выпила молока с мёдом... Отпустило!

Несколько дней и меня снова потянуло признаваться... Рано утром я набрала того, кого действительно любила... Не в пять, разумеется... Его-то я любила, а не просто влюбилась. Попыталась рассказать ему всё по порядку. В полусне он возмущённо перебил: «Такие странные вещи ты мне говоришь!!! Да-а... ко мне вчера тоже девицы приставали – полные карманы телефонов и следы помады в самых неожиданных местах!»...

Больше мы не возвращались к астро теме. По-видимому, Действительно Любимый Человек решил, будто ему снилась очередная бредятинка.

После, астрофизик звонил дважды: «Я не доверяю переписке с тобой!»... И первый раз торжественным тоном: «Учти, твоя баресма у меня!». Второй раз – опять про баресму и уже с угрозой. Отказалась я от неё! Наотрез!

Такая вот дурацкая история, про то как у меня ничего не было с астрофизиком... ничего путного или беспутного...

К чему я веду?...э-э...Ах, да! Давеча получила письмецо от Астро... Удивительно, прошёл не один содержательный год со дня той бесславной встречи. К письму прикреплён тщательно заархивированный файл. Подозреваю, там баресма. Наверное, для астролога долго держать у себя чужие баресмы - признак дурного тона ... А вдруг он решил отречься от лжеучения, и перед тем, наконец-то, избавиться от всей этой ереси?!

В любом случае, к чёрту, треклятую баресму!!!

Любимая шапка и японский культурный центр

Вчера ворвалась в Японский культурный центр... Именно ворвалась, потому как опаздывала на презентацию книги. Свою псевдодублинку забросила на вешалку, шапку, по давней привычке, запихала в рукав.

Книгу написала моя подруга. Непостижимые прелести японской архитектуры... Это не название, а сама суть книги, монументального труда. Заслушалась! Засмотрелась на иллюстрации! Уходить намеревалась неспешно, вальяжно, с чувством, тактом... Но вот беда, шапка удивительным образом пропала, прямо из рукава и... совсем совсем совсем не валялась затоптанная, где-нибудь на полу!!!





Я нервно намотала три круга по культурному центру. Никаких признаков любимой шапки. Собственно, ничего сверхценного, даже просто ценного в данном головном уборе нет. Машинная вязка, кустарное китайское производство. Но мне подарили её добрые друзья в прошлом году на день рождения. Вероятно, им поднадоели мои осенне-зимние разглагольствования на тему «шапки моей мечты» – ушастая скандинавская с оленями, на худой конец - с характерным скандинавским орнаментом. При всём богатстве выбора нашлась только из серии – «на худой конец». Спасибо, в любом случае!

В общем, невосполнимая утрата...

Не причитать же дурным голосом: «Граждане японцы, верните шапку – уши мёрзнут!». Насчёт граждан - преувеличиваю. Среди присутствующих был всего один японец - гость подруги архитектора, виновницы презентации. Представительный человек солидного возраста и степенного поведения. При всём своём цинизме и безнравственном воображении заподозрить его я бы не посмела. А вот на местных поглядывала злобно. Мыслишки шныряли не вежливые: «и как у вас после этого рука поднимется иероглифы выводить... «икебанствовать» и «оригамничать», церемониться с чаями». Предвкушала, как буду рассказывать знакомым: «В Японском культурном центре у меня спёрли шапку кустарного китайского производства». Намотала ещё несколько кругов по центру и вдруг...

Шапка валялась в очень дальнем углу, за неприступной ширмой, в нескольких метрах от рукава, который по какой-то загадочной причине, не удержал её в себе.

Умиротворённая, в приступе тихого мещанского счастья, села дожидаться, когда подруга раздаст все автографы. Собиралась поведать ей историю таинственного перемещения вязанки-ушанки из одного пространства в другое.

Отдышавшись, подруга пожаловалась, указывая на вышеописанного японца:

— Сегодня он потерял шапку в одном из храмов на Подоле. Пришлось мне возвращаться и разыскивать. Набегалась!

Она достала из сумки серый, замшевый, с меховой оторочкой головной убор – представительный, как и его хозяин. Весело помахала им... Японец отреагировал сдержанно, точно и не сомневался никогда, в благоприятном для себя исходе «шапочного» дела.

Бывают же такие тематические дни, когда у совершенно незнакомых людей одинаковые проблемы. Правда относятся они к ним по-разному. Пожалуй, мне следует – поучиться у японца не думать сходу плохо о ближних своих... да что там – о ближних, о «дальних» и своих и чужих.

Творческие достижения

Все эти глыбы человеческие: Кох со своей палочкой, Зеленин со своими каплями и Новиков со своей жидкостью... И я, с пачкой собственных сочинений, на меня несётся мордатая собаченция бойцовской породы, рычит - злодейски, а я в панике думаю о том, какую пользу принесла человечеству?! Собрание моих сочинений не способно защитить от клыков и контузить многотомником я пока не могу - не тот объём. Осознаю, и Коха в подобной ситуации палочка не спасла бы. Но мысль о ней утешительна и придаёт силы: хочу жить! Имею право жить! Не все палочки ещё открыты!. Зеленин успокоился бы своими каплями, а Новиков остановил кровотечение жидкостью. А я, как дура, с пачкой своих произведений, не пытаюсь убежать от зубастого чудовища... Приблизившись вплотную, оно нюхает мои сочинения и, развернувшись, стремглав улепётывает... Похоже, они дурно пахнут...





Марина Ещенко

Київ

Народилася 15 березня 1986 року на Полтавщині, закінчила Інститут української філології в НПУ імені М. П. Драгоманова й Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка (спеціальність «літературна творчість»). Твори друкувалися в обласній і республіканській періодиці, альманахах і журналах: «Пробудження» (Київ, 2004), «Дивовижність» (Київ, 2008), «Собори душ своїх бережіть» (Полтава, 2008), «Сполучник-IV» (Київ, 2008), «Нова проза» (Луцьк, 2009), «Сві-й-танок-5» (Київ, 2010), «Вітчизна» (Київ, 2010), «Філео+Логос» (Житомир, 2011), «Дзвін» (Львів, 2011), «Дніпро» (Київ, 2011), «Рідний край» (Полтава, 2011), «Березіль» (Харків, 2011), «Альманах другої літературної школи» (Тернопіль, 2011), «Сонячне гроно» (Тернопіль, 2012), «Мистецькі грані» (Рівне, 2012), «Кур'єр Кривбасу» (Кривий Ріг, 2012), «Альманах 2008-2012 Міжнародної україно-німецької літературної премії імені Олеся Гончара» (Київ, 2012).

Брала участь у другій літературній школі в 2011 році. Лауреат всеукраїнського літературного конкурсу ім. М. Рильського «Троянди й виноград» у 2008 році. У 2011 році стала дипломантом літературного конкурсу імені Вадима Ковалю у Чернівцях, отримала заохочувальну премію «Смолоסקип». У 2012 році стала лауреатом Міжнародної україно-німецької літературної премії імені Олеся Гончара в номінації «Публіцистика».

з циклу «життя моє!!!»

Мій брат

Я рідко їзджу на потягах. Моя робота не вимагає їздити на потягах. Здебільшого – це тролейбус, або метро. Ну і пішки. Але одного разу був саме потяг. Це був час, коли я працювала за їжу і за проїзний в одній громадській організації. Це був час, коли я захопилася вегетаріанством, бо не мала грошей на м'ясо, і захопилася ідеєю неносіння хутра, бо ніколи його не носила, а саме тоді дізналася, що це можна виставляти як свідому позицію.

На базі нашої громадської організації мала відбутися дуже поважна масштабна конференція, тому мене терміново відправили рятувати білих ведмедів в Луганськ чи в Мукачеве... Наразі не згадаю. Пам'ятаю лише, як всією організацією відправляли мене, як посадили на цей потяг і як плакали і махали руками, коли він рушив.

Навпроти мене сидів хлопчик років десяти. З ним їхали матуся й бабуся. Але я їх не помітила. Усю увагу поглинув хлопчик. Він був нервовий. Не такий нервовий, як я у дитинстві, що б'ється, кричить, викидає волосся, кидає на підлогу крихкі предмети зі словами: «Віддай!!!» або «Мое!!!»... Хлопчик знервував бабусю і матусю, і ті сиділи вкрай злякані, мов на порохівій бочці. Малий же крутив в руках кубик-рубик і щось геть спокійно бурмотів під носом...

– Коли я приїду додому, сестричка мене нагодує. Сестричка мене любить. Сестричка у мене хороша. Я подарую сестричці Барбу і вона мене любитиме ще більше... – а цей кубик усе вертівся й вертівся в його руках... – Правда, бабусю?

Знервовані бабуся й матуся вкотре знервовано видихнули (коли вдихнули я пропустила).

– Васічка, у тебе немає сестрички...

– Мам, а ти купила Барбу? – у цього малого гарні голубі очі.

– Вась, скільки раз тобі говорити: у тебе нема сестри! Не сором перед людьми!

Я глибше залажу під ковдру (громадська організація розщедрилася взяти мені квиток із постіллею!!!) але вуха нашпорошую ще дужче.

– Мам, ти що не віриш, що я не спеціально? Ба, ти мені теж не віриш?

Я виглянула одним оком і помітила, що кубик вертівся геть неконтрольовано, проте знервованість виражалася лише через руки.

– Замовкни! – це вже матуся.

– Я не хотів виколовати їй очі! Це не спеціально вийшло!

Мама заходиться плачем, а малий сідає в кутку і ціпеніє. Не крутить куби-





ка, не говорить, не рухається. Бабуся заспокоює дочку різними словами. З усього видно, що ці слова вона говорила вже тисячі разів, що знає, що вони недієві, але не знає інших, а тому говорить ці. Дочка плаче і зовсім не слухає.

Я злякано згадую слова малого і ховаю око під ковдру. Тепер обоє очей під ковдрою, і робиться темно і страшно. Але ні – зовсім не страшно.

Я завжди хотіла мати брата. І тато мій завжди хотів мати сина. Однак мама народила мене, її мрія про доньку збулася, і ніхто так і не зміг переконати її народити ще. Це потім, коли я підросту, вона скаже, що краще б народила п'ятьох ненормальних, аніж мене одну нормальну. Але до того часу я вже звикла до її обіцянок віддати мене в інтернат, до бабусі в село, або навіть позбавити спадку. Останнє слово мене взагалі не лякало, бо я була впевнена, що у квартиру, в якій жила я, побояться заселитися і найвідчайдушніші. Хоча насправді таке виправдання я придумала лише рік тому – доти я просто не знала, що означає слово «спадок».

А брата мені хотілося. Хотілося грати з ним у футбол, ходити разом на дискотеки, щоб він захищав, коли до мене приставатимуть нетверезі хлопці, радітися з ним... Я хотіла мати старшого брата. Але мама не хотіла народити мені старшого – і мені не було з ким радитися! Усе, що я знала про хлопців – я нафантазувала сама. Дещо взяла з «Перших поцілунків», а дещо з історій своїх подруг. Виходив якийсь мутант, а тому я максимально оминала спілкування з хлопцями.

У мене був троюрідний брат. Я його бачила всього лише раз: він запитав чи знаю, що таке капуста. Я відповіла, що росте на городі. Тоді він мене сильно побив ногами у бабусі за сараєм. І саме відтоді я ненавиджу троюрідних братів.

Коли прокинулася, матуся вже не плакала – хіба трохи схлипувала. Малий так і спав сидючи в кутку, затискаючи кубик-рубик.

Страшенно захотілося їсти, але грошей не було. Тому я трохи погризла нігті, а потім, коли матуся десь вийшла, зіслзла з верхньої полицки.

– Чому ви не купите Барбі? – запитую у бабусі. Вона зітхає, але простягає мені домашнього пиріжка з капустою.

– У нього нема сестри, – і зітхає ще раз.

– А як же він тоді виколов їй очі? – дивуюся і роззявляю рота. Шматочок пиріжка випадає на стіл. Далі я дивуюся не розтуляючи губ.

– У нього були ускладнення після грипу. Тепер оце буває таке. Зараз саме пішло загострення.

Я подумала, що це, напевно, дуже цікаво – очі загострення, ускладнення... в одного мого знайомого теж грип шизофренією закінчився, але він марив девочками, яких у нього ніколи не було.

– А чому саме сестра? – питаю, ретельно пережувавши відкушене.

– Самі не знаємо... Але нічого зробити не можемо... Дочка моя переживає, кричить, плаче. А не можна.

– Купіть Барбі.

Потім приходять дочка, і я знов залажу під ковдру з очима. Чомусь мені не хочеться, щоб вона знала, про що ми говорили. Здається, вона вмилася, і на щоках майже не помітно слідів від гірких сліз.

Я знов засинаю. Мені сниться старший брат. Сниться, що він несе мене на плечах поміж людей. А навколо шалено цих людей, і вони кричать, сваряться, штовхаються, але я бачу понад їхні голови, бо я тримаюся міцно в брата на плечах. І раптом у мене виникає бажання впасти, загубитися під ногами натовпу, я навіть відчуваю на тілі удари ніг, хтось вдаряє ніском черевика в голову... Та насправді мій старший брат сильний і незворушний, він тримає мене на плечах доти, доки провідник не смикнув за руку так, що аж затріщало в суглобі.

– Прокидайтеся! Під'їжджаємо до Каховки! Ваша станція!

Я сповзаю з верхньої полицки і сонно дивлюся на малого. Ні матусі, ні бабусі в купешці немає. Малий теж прокинувся від крику провідника і зараз сидить і кліпає очима в мій бік.

У мене в запасі всього кілька хвилин.

– Я знаю, що ти не хотів мені виколоти очі, – різко кажу.

– У мене була менша сестра, – Васько.

– Ти це не спеціально зробив, – я, – ти мій старший брат.

– Ти мене бачиш? – здивовано.





– Я бачу, бо ти те зробив не спеціально. І ляльки мені не купуй, бо я тебе й так любитиму.

– Я приїду, і ти будеш вдома?

– Ні, мене не буде. Ти мені виколов очі, і тепер я вже ніколи не житиму з тобою.

– Але я не спеціально!!! – вперше зривається і реве малий.

–Я знаю, знаю... Але я завжди буду з тобою, і ми неодмінно зустрінемося. Я тобі завжди вірила. А ти мені віриш?

Чути сигнальні гудки. Я зриваюся і біжу вузьким проходом до виходу. Чую, як лементує мій старший брат, як прибігають матуся і бабуса, і як починають лементувати вони.

Я не хочу Барбі, я хочу, щоб у мене був старший брат. Сходжу. Мене чекають білі ведмеді.

Мій Міккі Маус

Я завжди мріяла спробувати себе в охороні. По-перше, мала задавнену хронічну боязнь темряви і потребу виробити відповідальність. Та і взагалі – душа бажала романтики. Годинами могла уявляти, як вартую в бібліотеці, а через маленьке віконечко в туалеті (єдине місце, де чомусь не встановили сигналізації), пробирається читач, спраглий до науки. Але ж я не сплю, не їм, і не граю в ігри, я вартую, обходжу свої володіння і виявляю зло, що проникло всередину... Я буду читати йому закони, які він порушив, а він – цитувати вірші... Або в музеї (чому б і не в музеї?) я виявлю, що одна статуя є живою – причаїлася ще до закриття. Я проведу злочинцеві екскурсію, покажу найцінніші експонати, розкажу, як найзручніше винести непомітно і не пошкодити... А тим часом приїде міліція... Я знаю, що я підла, але ж обов'язок – перш за все. Або в ощадбанку... Але ні, в ощадбанку зовсім не романтично...

Тим часом я влаштувалася в театральну касу. На жаль, касиром, і на жаль, о 20.00 вона зачинялася, тому шансів побороти боязнь темряви не було ніяких. І хоч повертатися додому доводилося пізно, та ці люди навколо ніяк не давали зосередитися на меті. Тому я виробляла в собі імунітет до холоду і тренувала пам'ять – вивчаючи розклад вистав, ціни на квитки і назви театрів. Ранні осінні заморозки давалися ще легко, а от назви вистав – не дуже.

– Два квитки на «Ромео і Джульєтта», – аж заїкаючись від хвилювання промовив потенційний театрал. Я позіхнула (до завершення робочого дня лишалося 15 хвилин!) і стала шукати. В руки потрапляло все підряд, окрім потрібних квитків.

– На який день? – сонно перепитала, бо знесиліла вгадувати.

– На тринадцяте, – сопіння видавало його знервованість. Не піднімаючи очей я продовжувала спокійнісінько копирсатися в зв'язочках.

– Я забув додати: «будь ласка»! – де й поділося хвилювання. Лиш тепер я підняла голову і помітила, що у віконечко на мене дивиться дуло пістолета. Голос побравішав, а от рука все ж тремтіла! Я відхилила дуло і виглянула. Аж м'язи живота звело, коли побачила маску тигра.

– Що ж ти міккі мауса на голову начепив? Тебе ж у камері засміють! – несподівано випалила я.

– Як Міккі Мауса? – знову почав заїкатися і миттю стяг маску. Подивилася я на нього – симпатичний хлопець. Проте дуло твердо вперлося мені в лоба, і я різко посерйознішала:

– Є за десять, двадцять п'ять і п'ятдесят гривень.

– Найдорожчі, – грубо не дав завершити.

– У третьому чи першому ряду?

– У першому, – злився злодій, типу я мала здогадуватися, що він такий пещений.

– Збоку чи в центрі?

– У центрі! – щоразу оперативніше відповідав він.

Тут я вже не втрималася і покотилася зо сміху. Ржала немов коняка я хвилин дві, а потім, відсапуючись і хапаючи ротом повітря, ще хвилину билася об стіл головою. До тям мене привело усе те ж дуло пістолета...

– Нема квитків у центрі! Нема!.. – витираючи сльози ледве проговорила.

– Як нема?.. – не знаю, що більше – розчарувався чи розгубився міккі маус.





– Отак! Уже все розпродали, ти ж за два дні прийшов, треба було раніше!

Злодій кілька разів галантно перепросив, що відібрав мій дорогоцінний час (уже дві хвилини, як закінчився робочий день) і побіг до метро. Я вже було все зачинила, як раптом побачила біля кіоску маску тигра. Довелося усе заново повідчиняти, щоб зайти і повісити її собі над головою: ніколи не пізно зробити на робочому місці домашній затишок.

Я цю історію, напевно, швидко забула б, якби вистава не була наскільки популярною. Через два тижні, за кілька хвилин до закриття, я почула:

– Дайте, будь ласка, два квитки на «Ромео і Джульєтта» в центрі в першому ряду...

Я вже починала збиратися, тому весело, у передчутті голодної вечері відповіла:

– Дався вам той перший ряд! Що всі міккі мауси так на цю виставу валять!

– і збираючи сумку додала: – Сімнадцяте, вісімнадцяте місця. Сто гривень.

І тут-то знову у віконечкові з'явилося дуло пістолета.

– Нащо аж два? – безнадійно промовила я.

– Дівчину поведу... – я відчувала, як у нього рум'янці на щоках загораються – нова маска зовсім не рятувала від морозу.

– Такий бідний, а дівчину маєш – із заздрістю промовила я: у мене й бідного хлопця нема.

– Я студент! – виправдовувався міккі маус.

– Театрального?! – з насмішкою я.

– Театрального!!! – з гордістю злодій.

– То нащо свій бутафорський пістолет в обличчя сунеш? – я різко втратила інтерес і продовжила збирати сумку.

Дуло ще кілька секунд невпевнено покрутилося перед моїм обличчям, а потім-таки зникло.

– Розумієте... – міккі маус зовсім упав духом.

– Звісно, розумію! – тепер моя черга була перебивати, – Дівчина є – грошей нема.

– Що ви! – образився міккі маус, – усе набагато трагічніше!

– Авжеж! І тому ти ведеш дівчину на трагедію!

– Та послухайте ж! – він знову нервово засунув пістолет у віконечко, але миттю згадав, що я ще не забула, що то іграшка, і вийняв. – Моя дівчина покинула мене заради ролі Джульєтти! Проміняла мене на режисера! Я змушений піти на цю виставу!

– Нащо ж іншу ведеш? Не думаю, що твоя Джульєтта ревнуватиме, – співчутливо.

– А я не хочу, щоб ревнувала! Хочу, щоб не жаліла мене!

Я вийняла журнал і мовчки записала туди два квитки – театри час від часу виділяли кілька на благодійність: або сиротам, або студентам театрального.

– Добре, – завершивши нескладну операцію, – Я згодна зіграти твою дівчину.

Нова маска повільно сповзла з його обличчя і як би воно не кривилося, та через кілька секунд я почула:

– Згода...

Через годину усі мої подружки (Катька і Цибуліно – Стася Цибулька) знали про те, що знайшовся хлопець, який веде мене в театр.

– Що, так і сказав: «Дозвольте запросити панночку на одну з найтрагічніших трагедій?» – вдесьте перепитала Цибуліно.

– Ні, він говорив у сто разів краще! – ніяк не втомлювалася я, – У нього такий солодкий голос, а які слова він говорив! Дівчаааааа!!!

– І подарував букет із сімнадцяти троянд?! – Катька.

– Із сімнадцяти...

Що вдягнути в театр я довго не мудрувала: пішла в теплому шерстяному светрі і джинсах з флісом – коротше, в чому була на роботі, в тому й вибігла. Зачинила касу, повісила табличку: «Буду через 15 хвилин», і найкоротшим шляхом пішки до театру.

Міккі маус на мою появу ніяк не відреагував: змирився вже, що Джульєтта буде його жаліти. Хоча ні – зрадів, адже квитки у мене.

Усю виставу я правим оком стежила за дійством на сцені, а лівим – за





реакцією міккі мауса. Мої очі починали боліти і сіпатися, однак ні те, ні те мене не влаштовувало. Джульєтта і справді була гарна, а от Ромео щось слабував. Не встигла уподобати Меркуцію, як його зарізали, як свиню, а щойно я переключилася на постать Тібальда – цей противнучий Ромео відправив і його на той світ. Міккі маус був геть байдужий до побаченого, і навіть коли я верещала і кусала себе за руку, щоб не верещати – його це ніяк не сколихнуло. Він усе не зводив погляду з Джульєтти, яка поки що не те, що не помирала, вона добряче скакала, вдаючи щасливу закохану. Її гопки швидко скінчились (не варто було Ромео штрикати шпагою куди не слід!) і почалося щось цікаве: соплі, сльози і вічне кохання. Коли ці двоє почали увіковічнюватися, хапаючись за отруту і кинджали, я аж очі заплющила: зараз, зараз усе почнеться!!! Зараз мій міккі маус схопиться з місця, одним ривком вискочить на сцену і врятує цю нещасну від сорому... Я ніяк не могла розкрити очей. Усе боялася, що зарано, що ось усе має нарости: емоції, дії, оплески!..

Відкриваю ліве око: сидить. Сидить!!! І такі смішні сльози течуть по щоці. А Джульєтта вже тричі померла і вже відспівують... Бігають сценою навіжені Капулетті, Монтеккі (раніше думати треба було!), а міккі маус сидить і кап-кап-кап... Фу!..

Зал зірвався: оплески, світло, квіти... А мій сидить.

– Наступного разу приходь зі справжній пістолетом, – випаляю я.

У мене маленька роль, але я її виконала – не те, що цей герой-коханець-невдаха. А ще в театральному навчається! Так зіпсував усю виставу. Я пішки побрела додому, намугикуючи якусь попсовеньку пісеньку, почуту вранці по радіо. Треба зав'язувати з театрами – думала я – принаймні зараз, доки в театральному вчать бездарні міккі мауси.

Мій Толік

У вас ніколи не було відчуття, ніби протягом життя робив усе правильно, ні разу не оступився, і ось зараз та мить, коли вперше зробиш дурницю?! Вперше, розумієте?! Відчуваєш, що дурниця, відчуваєш, що на сніжно-білому полотнищі зараз з'явиться перша пляма, але, що жакливо, відчуваєш і те, що по інерції таки це зробиш...

Моя подружка Дарця, вдіявши щось дурне, говорить інакше:

– І все ж мені здається, що ще існують такі дурниці, яких я не робила!

Але в мене інше. У мене вперше. Я щодня відчуваю, що ще трохи... і буде дурниця.

Або назвемо це помилкою – для різноманітності. Щоб філологи не з'їли. А ще краще – фатальною помилкою. Помилкою з наслідками. Ці тонкощі потрібно добре розрізняти. Бо можна, приміром, помилково поїхати в метро не в бік Політеху, а до Академмістечка, помилково там вийти, потрапити на розпродаж джинсів в магазинчику і купити одненькі практично за безцінь. Співбесіда – не перша й не остання – та, що на Політесі, а от джинси – це не помилка, а везіння. Проте вперті філологи зауважать, що помилка і дурниця теж не одне й те саме. Приміром, прийшла я до Дарці в гості. Сидимо, чай п'ємо. Її занудний хлопець розповідає, як за честь фірми у футбол грав, стояв у захисті.... І тут я візьми і ляпни дурницю:

– А твій попередній у нападі грав, Дарцю? Ну звісно ж! Ти ще якось говорила, що він такі голи забиває, що в тебе дух перехоплює й серце немов спинається!

Ну скажіть, хіба не дурницю втнула? Дурницю! Але помилці тут немає місця – сама за руку водила до венеролога.

Тому дурниці у мене асоціюються з Дарцею, а помилки – з червоною ручкою.

– Дякую, дякую, дякую! – говорить вона.

– І зовсім не треба, для мене це не вартувало ніяких зусиль...

– Ото ж бо! – і Дарця чомусь ображається.

Вона складала іспит з політекономії – такого ж віджилого предмета, як і старий марксист, що його викладав. Моє завдання було геть просте: коли вона мені подзвонить, продиктувати відповіді. Есемескою Дарця скинула номери питань, тож, дочекавшись дзвінка, я швидко і якісно усе продиктувала. Часу залишалося вдосталь, а подружка слухавку не клала, і мені стало шкода, що їй





там нудно, а іспит закінчується аж через п'ятнадцять хвилин.

– Передавай привіт старому маразматику! – підтримую Дарцю, – Нехай гопки скаче, а ти складеш цей іспит! Цьом-цьом, Віссаріонич!!!

Але як все-таки інколи добре, якщо люди з різних епох. Коли в Дарці ввімкнувся гучномовець, і вона судомно намагалася вимкнути мобільник, Павло Вікторович подумав про диверсію, переворот, з'їзд інопланетян, та будь-що – навіть ледь не увірував, але ніяк не міг запідозрити навушник у вусі Дарці і підле використання новітніх технологій проти старосвітньої ідеології.

Вона любила робити дурниці разом зі мною, а я ні – завжди була серйозна і зосереджена. Все оте відчуття першої дурниці не полишало мене.

– Ти надто забобонна, – дорікала Дарця, – Думаєш, що якщо спробуєш вино, то почнеш пити і зіп'єшся, якщо прикуриш, то димітимеш, як паровоз, якщо переспиш з кимось, то підеш по руках...

Я сиджу на прочиненому вікні, малюю слоників на своїх некрасивих колінах і намагаюся засвоїти отриману інформацію. По-перше, Дарця нічого не тямить в моїй душевній конституції. Одного разу, ще в школі, мене споїли однокласники так, що ледь не здійснилося оте її «по руках». Мене врятувало те, що я блювала від незвички пити, а хлопців не врятувало ніщо – принаймні двох забруднила. Я не п'ю, бо мене не пре, принаймні, щоб так перло, як тоді – бажання не виникає. Щодо куріння – то це єдине, чим я можу допомогти своєму здоров'ю, бо ні спортом не займаюся, ні стежу за харчуванням... Наївна Дарця...

– Між іншим, оці твої хоботасті слоники вказують на сексуальну нереалізованість! – перебиває мої роздуми.

І я згадую Павлушу. Я завжди про нього згадую, коли хтось нагадує мені Фрейда.

– Дурниці, – ненароком кажу я.

– Дурниці, кажеш? – вибухає Дарця, – Та ти просто боягузка! Так, так, боягузка! Ти завжди усього боїшся – жити, любити, змінюватися! Ти боїшся, що закохаєшся, а він ні, або він закохається, а ти розлюбиш, або що він буде сміятися, що ти не вмієш цілуватися, чи тому, що ти ніколи ні з ким не зустрічалася, або через те, що в тебе маленькі груди...

– У мене нормальні груди!

– Не важливо! Я округлюю, тобто узагальнюю! Ти боїшся, що він тебе покине, або що запропонує жити разом, не розписавшись, і найгірше, що змусить...

Дарця дарма зробила багатозначну інтригуючу паузу.

– Мене цього ніхто не змусить, Дарцю, – досить правдоподібно тримаю рівновагу, – Те, що до цього тебе змушує кожен другий зустрічний, зовсім не значить, що вони б це захотіли від мене.

Дарця червоніє, насуплюється, та за мить підозріло усміхається:

– Твоя правда – що рівняти мене і тебе...

«Мене і тебе... Мене... і... тебе...!» – це довго відлунювалося в голові. І я подумала, що поспішила, вставивши свою репліку, бо тепер ніколи не дізнаюся, що мала на увазі Дарця під оцим «змусить»...

А потім Дарця взяла і вийшла заміж.

– Ай, дурницею менше – більше, – сміялася вона. А я єдина знала, що це в них серйозно. Я сама познайомила її зі скромним хлопцем Толею, ходила з ними на побачення утрюх («Ну пішли з нами, він такий зануда!»), радила йому, які вона любить квіти. Усі її футболісти швидко збігли з дистанції, і я врешті почула ці чудернацькі слова з її вуст:

– Мені здається, що він мене любить!

– І по чому ти це визначила, Дарко? – сміюся. Так хочеться заглянути в сценарій, але страшно спалитися.

– Толік не тягне мене в ліжко, уявляєш?! Йому я цікава! Я шокована!!!

А потім весілля і цілковитий хеппі-енд (я серйозно!).

Толік вчинив найбільшу дурницю, споївши мене у сьомому класі. Але дурниця – це не помилка.



Мій Хтось

Ще зі школи знала, що нічого безмежного немає, здається, на математиці це почула. А потім скільки разів ловила на свою адресу «Обмежена» від викладачів і від співробітників, однак це було не те. А тут раптом – і те!

– Усе має свої межі, – сказав Хтось, – навіть Всесвіт десь обривається.

На цей момент я вже знала, що його зовуть Олег. Познайомилася з ним в неті ще ввечері, всю ніч спілкувалися на всі можливі безглузді теми: від поезії до весілля як однієї з концепцій неусвідомленого прагнення людини до безпеки, а потім на ранок зустрілися біля озера поряд з моїм будинком. Ми були невиспані і виснажені, однак ці кляті концепції варто було обговорити, і ми обійшли озеро, а коли прояснилося, вместилися на лавочці. Тепер я вже точно знала, що він не Олег, що йому це ім'я зовсім не личить, тобто це не його ім'я, бо імена – це лише одна з концепцій...

Вживу зовсім не хотілося жартувати з його чудернацьких ідей, не хотілося говорити «бебебебебе...», коли не подобається думка... Я різко відчула, що ми не в асфальті.

А ще – він обрубав мені світ:

– Усе має свої межі...

Я знала, що життя не вічне, що кожна моя наступна робота – тяж, і що кляті критичні дні врешті всього лиш на кілька днів...

Але в ту мить прийшло геть інше:

«Я добра, я вже третій тиждень дозволяю своїй подружці пожити в мене, вона не платить за їжу, не платить за житло, не платить за комунальні послуги... Нехай не через місяць, нехай через рік, але прийде МЕЖА моїй доброті, і я вижену подружку на вулицю, мені буде все одно, чи буде куди їй піти, адже за час, коли вона в мене жила і не платила ні за їжу, ні за житло, ні за комунальні послуги можна було потурбуватися про своє майбутнє! Мені буде її зовсім не шкода, я знатиму, що вчинила правильно, але...

Але чому не зробити цього сьогодні? Повернутися із зустрічі, збудити ліниву Дашку і вказати на двері? Моя добрість має межі, але чому я відміряла так багато? І ще в мені напевно закладено вбивати, і я не вбиваю лиш тому, що не дійшла ще тієї межі. Тієї – переступивши яку почну вбивати. Я не вегетаріанка, напевно в мені це закладено... Хто сказав, що та межа далеко?... Але що це я?!!

Сонце сліпило в ліве око, я жмурила його і дивилася, як бравий дід підтягує розтягнені плавки. Видовище було гидке, мене нудило, та я дістала фотоапарат і зняла відео. Адже чому я можу казати, що це гидко? Де та межа, до якої гидко, а після якої ні? Чи навпаки...

Не можна не виспавшись ходити на побачення з людиною, яка має на тебе інші плани. Це факт.

– Реальності не існує, є лише те, що ти сприймаєш своїми відчуттями, і то лише в момент сприйняття.

Я зациклена на межах витріщила здивовано очі.

– Поглянь на той бік, – махнув Хтось через озеро, – ми з тобою там пройшли годину тому. Ти нас там бачиш? Ні? Бо нас там немає. Ти не можеш того побачити, почути, відчувати на дотик. Нас по тойбік озера не існує. Минулого – не існує. Є лише ця мить.

Я відкриваю рота, щоб запитати, чи не значить це, що Дашка не живе в моїй квартирі три тижні, і що я прийду і її там не буде, та цей бадьорий Хтось мене перебиває:

– Мамонтів не існувало, доки не знайшли їхні рештки. А хто сказав, що ці рештки – рештки мамонтів? Це все люди, які створюють концепції у примарних пошуках безпеки...

І я раптом розумію, що якщо зараз не скажу йому про свою проблему з Дашкою, то для нього не існуватиме ні Дашки, ні цієї проблеми... Однак через годину я посаджу його на тролейбус і теж перестану для нього існувати. Потім він покаже на дерево, а на дереві табличка, і на табличці написано: «Обережно! Кліщі». Обережно? Кліщі??? Я підриваюся і репетую. Та я в ліс ніколи не ходжу, щоб не підхопити цього клятого енцефаліту, а тут, дідько, кліщі!!!

Хтось сміється, але якось надто зосереджено, мов викладач на лекції, в якого запланований сміх саме після такого вислову – навіть в конспекті відмітку поставив.





– Ось на тебе не впав жоден кліщ. Якби ти не вміла читати українською мовою, то ніколи б не дізналася, що тут водяться кліщі. Отже, кліщів для тебе в цьому місці не існувало б... А зараз існують? Лише тому, що ти віриш написаному?

«Але ж вона моя подружка...» – хотілось сказати, але цей Хтось...

– Друзів не існує, це ВСЬОГО ЛИШ ОДНА З КОНЦЕПЦІЙ БЕЗПЕКИ, ЯКУ ПРИДУМАЛИ ЛЮДИ!!!

Потім ми говорили про шлюб (не буду повторювати, що це концепція) і про сексдо шлюбу. Я хотіла почути щось втішне, але все було вкотре безутішно, окрім хіба того, що я не почула на свою адресу хронічного: «Яка ти обмежена» (але про це теж вище уже говорилося)...

Близько полудня я встала з лавочки і сказала, що йому вже пора. Досі не розумію, чому саме тоді відбила межу. Я провела його до зупинки, запропонувала їхати маршрутку. Хтось категорично відмовився і став чекати тролейбуса. Мене вже ніщо не дивувало. Зараз він поїде, і його більше не існуватиме. Ну хіба зелена квіточка в асьці. Або червона. З написом «Хтось». Він поїхав. Я ішла і думала про роботу, думала про секс до шлюбу і намагалася вибудувати якусь свою концепцію. А ще всю дорогу я боялася згадати про Дашку – якої ніколи не існувало.

Мария Серова

Москва

А ВЫ... ЛЮБИТЕ ОСЕНЬ?

В последнее время ему стало казаться, что кто-то постоянно ходит по двору. Он слышал шаги под окнами далеко за полночь, когда просыпался весь в холодном поту от ночных кошмаров. Он подолгу слушал их. Тихие...шаркающие...вытягивающие душу, шаги...как будто бродит по двору дряхлый немощный старик, замученный болезнями и бессонницей. И от этих шагов у него возникали страшные предчувствия и ощущение неопределённости, ожидание неких ужасных, необъяснимых событий, которые он не в силах будет предотвратить. Ему хотелось спрятаться, накрыться одеялом с головой, плотно закрыть окна...

Потом шаги стали слышны в коридоре. Спустия ещё некоторое время кто-то невидимый своей медленной старческой походкой стал обходить все комнаты в его огромном доме, порой подходя совсем близко к входной двери в спальню...

Тогда он весь замирал, задерживал дыхание, терял контроль над собой, и, дрожа от панического страха и напряжения, ждал, ждал визита своего непрошеного гостя...

Им стал овладевать не поддающийся никакому логическому объяснению навязчивый страх, необратимый, усиливающийся и закрепляющийся в его психике с каждым разом все больше и больше.

С тех пор сон надолго покинул этот дом. Когда на улице темнело, он прибавлял звук на старом радиоприемнике, спрятанном в листьях дикого винограда, оплетавшего стены веранды, и, включив свет во всех комнатах, даже самых отдаленных, наглухо закрывал все двери в доме. Громкий голос диктора и нервно-визгливые мелодии, которые чуть ли не каждые четверть часа доносились из приемника, заглушали эти странные шаги, но они не избавляли его от ощущения постоянного присутствия в доме кого-то постороннего. Теперь, когда он не слышал больше шарканья, ему стала мерещиться темная фигура человека то сидевшего в его кресле в дальнем углу комнаты, то, как позже он уверял всех своих друзей, пытающаяся открыть дверь на чердак. Он стал крайне раздражительным, трусливым и суеверным. Во всем находя только дурное





предзнаменование, он практически перестал бывать на людях, все чаще подолгу сидел на веранде и, углубляясь в чтение давно забытых трактатов по психиатрии, пытался найти в них сомнительные объяснения непонятных ему вещей. И совсем скоро единственным его неммым собеседником стал полный стакан виски, который он судорожно сжимал в руке, листая толстые переплеты.

Однажды, когда сильная боль, сжигающая его изнутри, стала совсем нестерпимой, и физическое изнеможение довело организм до предела, он решил свести счеты с жизнью.

Отравление газом показалось ему наиболее быстрым и безболезненным способом. Плотнo закрыв окна и двери на кухне, и осушив залпом бутылку вина, он повернул газовый кран на плите и сполз на пол, облокотившись на стену...

Дальше его воспоминания прерывались. Он мог вспомнить только то, что, от вина и долгих бессонных ночей его веки быстро отяжелели, глаза закрылись, и он уснул...

Что было потом, он точно не знал. Даже сейчас, спустя столько лет после того рокового дня, он не может сказать, что тогда было реальностью, а что сном или галлюцинацией...

Те из его друзей, которые были посвящены в его историю, до сих пор считают, что тогда летним ранним утром никакой попытки самоубийства вовсе и не было. А всё, происходившее на кухне, было только плодом его воображения, бредом, в котором была виновата лишь хмельная темно-вишневая жидкость в бутылке, закупоренная золотистой пробкой с эмблемой местного винного завода.

Он очнулся от сильного толчка. Чья-то уже сухая, изношенная и жилистая рука трясла его за плечо. Он с трудом открыл глаза. Перед ним стоял худой сгорбленный старик в сером дорогом костюме и темном галстуке. Он стоял, склонившись, почти к самому его лицу и с заметной иронией улыбался своей беззубой улыбкой.

– Кто Вы... что Вам нужно... – беспомощно пробормотал он.

Старик, молча, закрыл газовый кран, и, открыв настежь окна и двери, также молча, стал уходить...

Через тридцать лет он увидит ещё раз этого старика в зеркальной витрине дорогого магазина и с грустью махнет ему рукой...

Но сейчас, почти очнувшись и испытав снова знакомый ужас, он крикнул вослед уходящему старику:

– Не уходите, скажите, кто Вы?!

И тот, обернувшись, посмотрел ему прямо в глаза.

О! Ужас... глаза старика, полузакрытые, с обвисшими морщинистыми веками, совершенно ничего не выражали, как будто их покрасили серой матовой краской. Пустые глаза. Глаза цвета асфальта...

И поймав этот взгляд незнакомца, он вдруг понял, что смотрит в глаза своей старости, своему одиночеству...

Друзья нашли его через несколько часов, уже вечером, на кухонном полу, мирно спящим и обнимающим пустую бутылку. Ни следов старика, ни открытого газового крана не было...

Именно с этого злополучного дня он решил круто изменить свою жизнь. Он решил, что ему больше нельзя оставаться одному. Ему нужен был близкий человек. Да, ему нужна была женщина. Но не из тех, с кем он раньше коротал у стойки бара длинные вечера. И не из тех, в чьих объятиях он просыпался от ярких лучей солнца в прибрежных гостиницах и обществом которых не тяготился долгое время, а имена, если и помнил, то только по чистой случайности, постоянно путая их. Ему нужна была совсем другая женщина. Та, единственная, которую он любил бы больше жизни, и о которой всегда заботился. Та, которая никуда и никогда не захотела бы от него уйти. Ему нужна была хозяйка его огромного дома, мать его детей, любимая, в глазах которой он никогда не увидел бы того мифического старика с тяжелым грузом обреченности на одиночество. И он с необычайным рвением и жадностью оголодавшего пса в поисках своей мечты стал все реже и реже появляться дома. Прекратились и шаги. В доме стало тихо. А он теперь не пропускал ни одного мало-мальски важного мероприятия в своем городе, часто бродил по набережной или





допоздна засиживался в одном из многочисленных ночных кафе. Как он представлял ее себе? Он и не думал об этом, он знал, что как только увидит ее, то тут же, непременно поймет, что это именно она.

Время шло. Лето неизбежно сдавало свои позиции тихой и смиренной осени, набережные пустыли, а он продолжал искать, искать и ждать. За эти месяцы он приобрел много новых знакомых женщин, но ни в одной не увидел того внутреннего света, той жизненной силы, которую он так хотел бы найти.

И вот, когда все его надежды стали покрываться толстым слоем пожелтевших листьев, он встретил ЕЁ.

Выходя из кафе, уже в дверях, он случайно задел плечом высокую фигуру женщины в темно-синем плаще. Поспешно извинившись и уступая ей дорогу, он вдруг почувствовал, как от неё пахнуло на него морской свежестью и какими-то невероятно легкими духами. А два огромных, сияющих внутренним светом, черных уголька ее удивительных глаз заставили его остановиться.

Потом, много лет спустя, пролистывая неподъемные тома своих жизненных воспоминаний, он непременно в самую первую очередь вспомнит этот вечер и ее глаза. Глаза, такие живые, ясные, не похожие на увядшие пустые глаза старика, в которых остались только краски одиночества и смерти.

Он повернул обратно и снова сел за столик.

«Черные глаза» вместе со своим спутником прошли в полутемный уютный зал. Мужчина снял пальто, отодвинул стул и помог даме раздеться. Она небрежно скинула свой плащ и от того, что на ее лицо попали несколько капель дождя, поморщившись, засмеялась...

Это было началом новой жизни. Время остановилось, как останавливаются часы, под аккуратной рукой мастера, перед ремонтом, как останавливаются поезда, прибыв в назначенный пункт, чтобы уже через несколько минут снова двинуться в новый путь.

Обладательница черных глаз, как ему показалось, была совсем еще молоденькой девочкой лет семнадцати. У нее были длинные темные волосы, чуть собранные на затылке и спадающие блестящими струйками ей на плечи, и маленький курносый носик. Синее платье в клетку, так плотно облегающее ее тонкую фигуру, со стороны казалось даже слегка ей маловатым. У «Черных глаз» было имя. По крайней мере, тогда ему показалось, что официант притворно улыбнувшись, поприветствовал ее по имени. Спутником девушки был человек средних лет, чьи волосы уже успела тронуть седина. Его дорогой темный костюм, позолоченные очки и сама манера держаться, выдавали состоятельность этого человека. Он носил густые черные усы, кончики которых закручивались вниз и, видимо, от этого все его лицо приобретало печальный даже немного страдальческий вид.

Они сидели за столиком вот уже около получаса, ни разу так и не обмолвившись друг с другом даже словом. Мужчина все это время, не переставая, писал что-то в блокноте. Девушка пила кофе и делала из салфеток цветы, которыми украшала пепельницу, стоящую посреди столика, бросая то и дело свой жгучий взгляд на мокрое оконное стекло, отделяющее их столик от нескончаемых потоков ливня. Она, кажется, совсем не замечала ничего вокруг и думала о чем-то своем, которое настолько занимало ее мысли, что официанту, подходившему к их столику, приходилось подолгу ждать, пока она вернется в реальный мир...

Он не мог оторвать от нее взгляда. Он больше ничего не слышал, ни шума проливного дождя, барабанившего по крыше, ни замысловатой мелодии, звучащей в зале кафе, ни громких голосов подвыпивших посетителей, только бешеный ритм своего взволнованного сердца, которое заставляло кровь с силой пульсировать у него в висках и наполняло чем-то нестерпимо горячим его грудь. Он даже не заметил, как очутился перед ее столиком.

– Вы, видимо, любите осень? – неожиданно, даже для самого себя, вдруг выпалил он дрожащим голосом, показывая на залитое дождем окно.

– Да...– ответила она, почему-то ничуть не удивившись, как будто, сидя здесь, в кафе она только и делала то, что ждала от него этого вопроса, – только вечерами здесь бывает очень тоскливо, – продолжала она, оглядывая незнакомца с нескрываемым интересом.

Он подошел к ней ближе и, не замечая ее спутника, стараясь придать голо-





су уверенный и развязный тон, продолжил:

– И как же Вы убиваете время скучными длинными вечерами?

– Мы не можем убивать время. Это оно убивает нас, – задумчивым, но не лишенным иронии голосом, многозначительно произнесла девушка и бросила на него выжидающий взгляд.

Он не нашелся, что ответить и глупо смотрел перед собой. Мужчина вопросительно взглянул на него поверх очков и отложил блокнот в сторону.

И он, будто очнувшись, и извинившись за беспокойство, собираясь уходить, почти прошептал:

– Вы слишком молоды, чтобы говорить об этом...

– ... а у них тут отвратительные десерты, – не обращая внимания на мужчину, продолжила девушка, глядя уже сквозь него, – и на улице стало совсем холодно...

– О! У меня здесь есть парочка знакомых Фей, – с детским весельем подмигнул он ей, – и если Вы хотите, я поговорю с ними насчет погоды и меню ресторана.

– Лучше поговорите об этом с шеф-поваром, – с иронией ответила она и, накрыв своей ладонью ладонь мужчины, сказала:

– Ну, нам пора... – а потом, окинув еще раз взглядом его сияющее по-детски и наивно-восторженное лицо, добавила, – приятно, что, не смотря на то, что наступил сезон дождей, в этом кафе все еще иногда светит солнце.

Она улыбнулась и привстала. Что происходило потом? Ровным счетом ничего интересного. Она оделась, накинула свой капюшон, потом хлопнула дверь, и остался лишь легкий запах ее духов.

Они даже не попрощались.

– Даже не попрощались, – подумал он, и сам усмехнулся этой мысли, – да мы и не здоровались...

Было около полуночи, когда он встретил ее еще раз. Прошло уж больше месяца с их первой встречи, а он все это время продолжал думать о ней. Утром, просыпаясь, и открыв глаза, он подолгу смотрел на потолок и мысленно рисовал ее портрет, пытаясь вспомнить все малейшие детали ее образа. И блеск ее взгляда, и аккуратный нос, и ямочки на щеках, и легкую синеву под глазами. Выходя на улицу, он озибался по сторонам, и в каждой женщине искал сходство с ней. Встречаясь с друзьями, он теперь постоянно рассказывал только о ней, что вызывало их новые опасения относительно его здоровья и вполне объяснимые недоумения относительно его любви, поскольку и видел-то он ее всего несколько минут. А вечерами он мечтал. Мечтал, как встретит ее еще раз, как едва завидев его, она побежит ему навстречу и обнимет, и он обязательно купит ей цветы. Во сне он видел ее, то почему-то грозной королевой, облаченной обязательно в меховую мантию, то волевой египтянкой, чье тело покрывали золотые украшения, то ангелом, который спустился с небес, чтобы направить его на истинный путь. Но их следующая встреча развеяла эти красивые сказочные иллюзии.

Один из его старых друзей устраивал вечеринку. Вино, музыка и бесконечный веселый шум сделали свое дело, он устал, и ему безумно захотелось оказаться вдруг в своем уютном кресле дома. Попрощавшись с неунывающей компанией, и отказавшись оставаться до утра, он решил неожиданно для себя пойти домой пешком. Пойти пешком, не смотря на то, что его дом располагался почти на другом конце города, и идти к нему нужно было по узким и темным улицам с крепко закрытыми ставнями на окнах домов. По улицам, где в это время можно было встретить лишь огонек ночного бара или сомнительного заведения, которые он всегда обходил стороной. Заморосил колкий мелкий дождь. И он, закутавшись в шарф и подняв воротник пальто, пошел вниз по дороге, которая вскоре нырнув под мост, исчезла в темных кустах парка. А он, продолжив свой путь, повернул на одну из этих многочисленных темных улиц города. Он шел, и его шаги долгим повторяющимся эхом звучали в пустых дворах спящих домов. Впервые за последние дни он вспомнил о старике, приходившем в его дом, и ему стало не по себе. Он пошел быстрее, но шаги от этого стали еще громче, и его охватила вдруг недавняя паника, он уже готов был пуститься бежать, спасаясь от невидимого преследователя. Конечно, его могла бы успокоить встреча с любым хотя бы одним прохожим, но, как назло, вокруг





не было ни души. Вдруг он заметил у входа в подвал светящуюся вывеску небольшого кабака. Пospешно открыв двери, он зашел внутрь помещения, и сразу же что-то тяжелое свалилось с его плеч. Внутри оказалось много народу, все громко о чем-то спорили и кричали, пытаясь разнять двух не на шутку сцепившихся парней, а по углам обнимались парочки. Ему с трудом удалось найти свободный столик прямо под лестницей, и, заняв его, он облегченно вздохнул и перевел дух.

– Что желаете? – раздался сразу за его спиной приятный женский голос.

Этот голос он не мог спутать ни с одним другим, даже если не слышал бы его целую вечность. Его бросило в жар так, будто бы на него вдруг вылили целую кастрюлю крутого кипятка.

– Что будете пить? – настойчиво повторил голос.

– Водку, – прохрипел он, боясь повернуть голову.

– Любите что покрепче? – засмеялся голос.

Внезапно обрывки фраз, долетавшие до его столика со всех сторон, слились в единый сплошной гул, и, перекрывая этот гул, в его голове зазвенело: любите... любите...

Он с силой обхватил голову руками.

– А Вы? – выдавил он из себя минутой позже, – что любите Вы?

Неожиданно для себя он услышал радостный отклик девушки: « Угощаете?» и тут же затылком почувствовал ее прерывистое горячее дыхание. Она без приглашения присела рядом.

– Я думал, что Вы привередливы... в еде, – нервно произнес он и, обернувшись, посмотрел ей прямо в глаза.

Она отшатнулась и покраснела.

– Я принесу, сейчас принесу Ваш заказ, – заторопилась она, пытаясь встать. Он схватил ее за локоть.

– Оставайтесь... посидите со мной... я долго искал Вас...

Девушка обреченно опустила на стул и потупила взгляд.

Он, не стесняясь, откровенно рассматривал ее. Тот же взгляд, те же ямочки, те же морщинки... коротенькое яркое платье, распущенные вьющиеся волосы... размазанная помада на губах...

– Вы устали? – спросил он, разглядывая ее руки.

– Это там так написано? – спросила девушка и слегка улыбнулась.

– Нет. Здесь. – Он посмотрел ей прямо в глаза.

– Мне надо идти работать. Меня ждут...

– Вы нужны мне больше, чем им, я заплачу.

Он крепко сжал ее руку. Глаза девушки вспыхнули.

– Отпустите меня... я схожу за водкой... мне надо выйти...

– Выйти? Девушки выходят обычно замуж, – засмеялся он, – а Вы выйдете за меня замуж?

Девушка нервно ерзала по стулу.

– Что Вам от меня надо? Вы, верно, не в себе...

– Вы выйдете за меня замуж?! – повторил он и ещё крепче сжал ее руку...

Через час они были в просторной гостиной его дома.

– Надо же, сколько книг? – удивилась девушка, рассматривая стеллажи, которые высились от пола до самого потолка и занимали все стены комнаты.

– Этой библиотекой владели ещё мои родители.

– А я тоже очень люблю читать, – поспешила заверить его девушка и как-то несмело и с особенной осторожностью стала гладить старинные переплеты, будто боясь, что они вдруг могут рассыпаться от ее прикосновений.

– И у Вас есть любимый автор? – поинтересовался он, наблюдая за каждым ее движением.

– Вы, наверное, его не знаете...

– Ну, почему же? – усмехнулся он, – возможно, это и мой любимый автор тоже.

Девушка громко засмеялась:

– Ну, тогда слушайте и попробуйте угадать!

Она быстро достала из сумочки толстую тетрадь, потертую и засаленную до такой степени, что ему показалось – написанное прочесть будет просто





невозможно.

– Садитесь! – вдруг как-то неожиданно произнесла она командным голосом.

– Куда?! – удивился он, оглядывая комнату будто бы впервые.

– Сюда, на ковер, рядом со мной.

Она устроилась на ковре, обнимая свои колени, и начала читать.

«...я люблю Осень...

люблю, когда желтый лист, оторвавшись от дерева, свободно падает, касаясь моей ладони, прощаясь со мной, прощаясь с беззаботной жизнью, в которой совсем недавно он был живым и зеленым...

Теперь он умер, и я оставляю его на желтой тропинке парка...

Каждый из нас одинок в этом мире. Люди часто преувеличивают значение жизни, какая разница между жизнью и смертью? Почти никакой. И в жизни, и в смерти – одиночество...

Я получаю удовольствие от одиночества, потому что пока человек одинок, он независим... и мне нравится одной бродить в осеннем парке и разбрасывать ногами янтарные капли. Я люблю сам желтый цвет Осени, напоминающий о быстротечности нашей жизни...

Люблю легкие прощальные лучи слабеющего солнца...

Осень, именно Осень делает человека истинно свободным...

свобода... я люблю её...

А вы... вы... любите Осень?»

Девушка замолчала и вопросительно на него посмотрела.

Его поразила вдруг неожиданная ясность ее мыслей.

«Удивительно, – подумал он, – я очень боюсь одиночества, одиночества, с которым никогда невозможно войти в сговор. Это верный признак старости и беспомощности...»

– Странно... – тихо произнес он вслух, – одиночество и свобода. Это очень сложно, друг мой, и всякая ясность, думаю, весьма обманчива. Истина противоречива и всегда ускользает от нашего рационального ума.

Но... я точно не читал ничего подобного. Я не знаю, кто автор. Сдаюсь... – он поднял руки и слегка подмигнул ей.

– Я!!! – громко засмеялась девушка, и ее глаза заблестели тем неповторимым, уже знакомым ему, светом.

Он постелил ей у себя в спальне, а сам устроился в холле на диване.

Она упала поверх одеяла прямо в платье и туфлях и тут же уснула, а он до самого утра то бродил по коридорам, то подходил к дверям спальни, прислушиваясь к ее ровному дыханию, и никак не мог собраться с мыслями. Что происходило у него в жизни, зачем он оставил у себя этого хрупкого черноглазого ребенка, который говорил о смерти и свободе так, как будто, за свои семнадцать лет успел уже состариться. Зачем он зашел в это кафе и вообще, для чего судьба снова свела их вместе...

Солнечный луч пробежал по его щеке, лизнул ему подбородок и упал на кресло, в котором он, наконец, забывшись, недавно заснул.

– Я хочу есть, – послышалось у него за спиной, – у вас совсем ничего нет в холодильнике.

Перед ним выросла сонная фигура девушки в помятом платье, с взлохмаченными волосами и размазанной тушью под глазами.

– А что бы ты хотела съесть? – спросил он, быстро поднимаясь с кресла и весело кланяясь ей.

Девушка подняла брови и удивленно сказала: «Еду!»

– Приведи себя в порядок, и мы можем пойти позавтракать в кафе, – предложил он уже с серьезным видом, – а потом я провожу тебя домой.

Девушка опустила голову

– Мне некуда идти. Я жила в подвале, как мышь. Там было темно и сыро.

Хозяин кафе разрешал мне жить в подсобном помещении, но теперь он обратно меня уже не пустит...



я ведь сбежала вчера... с Вами ...

Она села на кресло рядом с ним и, запрокинув голову назад, как ни в чём ни бывало, стала вдруг рассуждать:

– Я всегда рассматриваю потолки в домах, они могут мне многое рассказать о своих хозяевах. Вот у Вас потолок идеально ровный, но по углам паутина и штукатурка сыплется...

– И что это значит? – спросил он, поддерживая ее веселость.

– Ну... – задумалась девушка, – это значит, что пора делать ремонт!

Они оба засмеялись.

– Я тоже люблю смотреть на потолок и мечтать...

– Да Вы – романтик, и моя интуиция говорит, что и профессия у Вас какая-нибудь романтическая! Вы, наверное, писатель, или художник, а, может быть, Вы – музыкант? Ну, да, точно, точно, Вы – музыкант! Я видела фортепьяно в столовой!

Он улыбнулся и откинулся в кресле.

– Я – дантист.

– Дантист? – растерялась она и он, пытаясь сменить тему, разговора спросил:

– Сколько тебе лет?

– Семьдесят четыре года и восемь месяцев...

– Да... тогда я гожусь тебе почти в сыновья... и от чего же ты так быстро состарилась? – усмехнулся он.

– От голода, – засмеялась она, вдруг неестественно скорчившись и показывая всем своим видом явное желание немедленно отправиться в кафе...

Она любила просыпаться от солнечных лучей, проникающих в прохладную комнату между складками штор и поэтому всегда, собираясь спать, специально занавешивала окна не плотно, и всегда зарывалась в подушки и накрывалась с головой одеялом, едва услышав за дверью его шаги.

– Пора вставать, ты проспидишь все интересное! – так он говорил ей каждое утро, просунув голову в дверной проем ее спальни.

Они жили в одном доме, ели за одним столом, перед сном, несмотря на сырую зимнюю погоду и частые ливни, заливающие побережье весной, прогуливались по набережной и смотрели на волны. Часто по вечерам он работал в библиотеке, а она, сидя рядом, листала его старинные книги...

Прошло почти пять месяцев перед тем, как наступило то ясное весеннее утро, которое изменило всю его жизнь навсегда.

Она встала первой, еще на рассвете, долго и тщательно подбирая наряд, впервые после их самой первой встречи аккуратно заколола волосы на затылке и даже приготовила ему завтрак.

– Я хочу тебя кое с кем познакомить, – загадочно произнесла она и весело прищурила свои черные глаза. Нас уже ждут в кафе напротив лодочной станции.

Это странное сообщение его очень удивило. Ни с кем из ее круга общения он не был знаком, да и она сама часто упоминала в их беседах, что ни друзей, ни родных у нее нет, разве что официантка из кафе, где она работала раньше до их знакомства.

– И кто же нас ждет? – поинтересовался он, пытаясь придать своему лицу непроницаемый вид.

– Сюрприз! Тебе понравится! – воскликнула она и исчезла в дверях.

... понравится... понравится... – вертелось у него в голове, когда они шли по кафельному полу к угловому столику в кафе у окна, за которым сидел мужчина.

Ему показалось, что он уже где-то его видел – усатый, угрюмый тип...

И тут его будто пронзило острой иглой, внутри все опустилось, стало не хватать воздуха для дыхания, будто бы его весь вдруг выкачали из помещения.

Да ведь это тот самый мужчина, с которым он впервые увидел ее!

Она поцеловала мужчину в лоб и присела за столик.

И только сейчас он обратил внимание, что на руках мужчины тихо сидела маленькая симпатичная девочка лет двух-трех. Она как две капли воды была похожа на нее...





– А вот и сюрприз!!! Знакомься. Это моя дочь. Я не хотела тебе говорить раньше об этом... я хочу, чтобы она жила вместе с нами... ты же не будешь возражать?..

– Милая, – повернувшись к девочке, также неожиданно произнесла она, показывая на него, – а это твой новый ПАПА!

Девочка подняла встревоженные и испуганные глаза сначала на нее, а потом, с какой-то беззащитностью, несколько раз обернувшись на мужчину, державшую ее все это время, решительно протянула свои маленькие пухленькие ручонки вверх, к новому папе...

Ошеломленный обстоятельствами, еще ничего не осознавая, он взял девочку на руки, и она тут же крепко обхватив его шею, прижалась к его щеке своей нежной щечкой.

Его поразила невероятная адаптация к жизни этого маленького еще почти ничего не смыслящего человечка, которому, видимо, волей судьбы приходилось постоянно приспосабливаться к меняющимся условиям. Она интуитивно чувствовала, от кого сейчас больше всего зависела ее судьба. Боже мой, подумал он, да этим ребенком уже владеет жесткая логика рефлекторного отношения к незнакомому ей миру, к этому нелепому миру взрослых, логика которых порой сама не укладывается даже в обычные рамки рассудочности, но которые настойчиво продолжают ее провозглашать.

Угрюмый мужчина сидел молча, и, казалось, совсем не принимал в этом процессе никакого участия.

– А теперь... мне надо немного поговорить с этим дядей, а вы идите домой, девочка с самого утра ничего не ела и устала от переезда... я скоро догоню вас...

Домой она не пришла...

Много лет спустя он случайно увидит ее мимолетно в последний раз в дорогой гостинице с компанией незнакомых мужчин, далеко от его родного города.

«...значение жизни люди преувеличивают, какая разница между жизнью и смертью? Почти никакой. И в жизни, и в смерти – одиночество. Одиночество – это свобода, и я люблю её...», – вертелось у него в голове, – нет, ты ошиблась, душа не приемлет одиночества сердца – прошептал он, пытаясь встать с кресла, – есть, есть огромная разница, просто ты не смогла ее увидеть...

Ноги не слушались, сильная боль в спине заставила его зажмуриться, рука, на которую он опирался, не выдержала напряжения и подвернулась, и он упал на пол.

– Дедушка, Господи! Зачем ты пытался сам встать?! – бросилась к нему девочка. Тебе нельзя самому этого делать!

Он закрыл глаза.

– Я хотел выйти в сад...

– Ты бы сказал мне, и я бы помогла выкатить твою коляску. Ты не ушибся?

Он отрицательно покачал головой.

– Ты слышишь, – спросил он шепотом девочку, стараясь, чтобы их никто не подслушал, – слышишь шаги под окнами?

– Не бойся, – улыбнулась девочка, – это садовник убирает опавшие листья...

– Да, – подумал он, – в этом году осень наступила быстро...

« – Я ПОМНЮ, ПОМНЮ, КАК ТЫ ВЕСНОЙ ПРИВЕЛА КО МНЕ СВОЮ ТРЕХЛЕТНЮЮ ДОЧКУ... И СБЕЖАЛА...»

– ДА НУ ТЕБЯ! – ЗАСМЕЯЛАСЬ ЖЕНЩИНА. ЭТО ЖЕ БЫЛО ДАВНО! ОНА УЖЕ ВЫРОСЛА! И У НЕЕ ТОЖЕ РОДИЛАСЬ ДЕВОЧКА, ОНА ТЕПЕРЬ ТВОЯ ВНУЧКА! ВЕЧНО ТЫ ВСЕ ПУТАЕШЬ!»

Он приподнялся, и девочка помогла ему вернуться в коляску.

– Вывези меня на порог, – попросил он.

Она открыла настежь двери, и в дом ворвался свежий запах листвы и недавнего дождя.

– Ты хочешь остаться один? – спросила девочка, и старик, засмеявшись,





закивал головой.

Она ушла, а он ещё долго что-то шептал себе под нос и делал какие-то непонятные жесты невидимому собеседнику. Ветер ослабевал, из-за облаков появилось осеннее солнце, и его лучи засияли в лужах. Небо очистилось и стало бледно-голубым, а вдалеке за садом появились первые розоватые полосы заката. Стало необыкновенно легко дышать и казалось, что вот-вот взлетишь и растворишься в последних лучах сентябрьского солнца...

Я долго сижу на скамейке и любуюсь на вечернее осеннее небо, на его размытые теплые тона, на тонкие паутинки, еле заметные в воздухе между деревьями. Закутавшись в шарф, медленно иду по осенней аллее, прислушиваясь к своим шагам и легкому шуршанию. Запоздавший огненно красный лист, медленно кружась в воздухе, падает мне на плечо и, скользя по руке, приземляется в моей ладони. Я люблю эти тихие уходящие сентябрьские вечера, когда природа ещё хранит в себе тепло недавнего лета, люблю маленький парк и золотую речку, в которой как кораблики, плавают рыжие листья. Я люблю ветер, танцующий в разноцветных кронах деревьев и прощальные голоса улетающих неугомонных птиц ...

А вы, вы любите Осень?..

Михаил Блехман Монреаль

Отражение

Тем, кого дай мне Бог быть достойным.

*Моё прошлое не выдумка.
Оно – настоящее.*

Продолжение. Начало см. в XII номере «ЛАВЫ»

XI

Летом сорок первого года их эвакуировали на пару месяцев, максимум месяца на три. Мои королевы и короли остались без надзора на три года, потому что кому они нужны без хозяйки, уехавшей вместе с Марией Исааковной и Владимиром Фёдоровичем в уральский городочек Хромпик, который малыши называли «хромпуник».

Работали все ещё больше, чем до войны, дома почти не бывали – добраться до работы домой, а потом обратно значит потерять добрых пару часов, а их, этих часов, и без того не хватало.

Клара училась так же, как в Харькове, - она была лучшей ученицей, наверно, на всём Урале, и в тетрадях не было не то что кляксы (Стольберг и клякса?), а даже расслабляющей опечатки – одни мягкие буквы с лёгким (чуть не сказала - уклоном) наклоном влево.

Для Клары на Урале продолжился тот же Днепр, что, казалось, закончился в Речице. В школу она выходила ещё более чем затемно, и возвращалась тоже, только - уже, и время, по сути, перестало иметь смысл. Снег не снисходил – времена снисхождения остались в Харькове. Он и не шёл, и не падал, и не валил. Он обрушивался, визжа, как взбесившийся кот, и это обрушивание продолжалось всю дорогу от школы до дома и возобновлялось на обратном пути. Чулки приходилось регулярно штопать, особенно на коленях, да и вообще везде, валенки перестали служить полноценными валенками и были похожи на бессмысленные войлочные галоши, снег попадал в них и из сугробов, и с неба - если это месиво можно было назвать небом. Больше всего на свете





хотелось сесть в сугроб и перевести непереволимый дух, но она уже знала, что главное – не остановиться, тогда выплывешь. Как Мэри поняла то же самое, когда впервые поплыла: чтобы доплыть – нужно плыть.

Чтобы дойти – знала Клара – нужно идти. Она шла и декламировала куски из «Дубровского» и «Капитанской дочки», десятки раз прочитанные на Пушкинском въезде, или считалку для умножения на 5:

Пятью пять – двадцать пять
Вышли в сад погулять,
Пятью шесть – тридцать
Братец и сестрица.
Пятью семь – тридцать пять
Стали ветки ломать.
Пятью восемь сорок
Подошёл к ним сторож.
Пятью девять – сорок пять
Если будете ломать,
Пятью десять пятьдесят
Не пуцу вас в сад гулять.

Она шла, а снег визжал испорченной бормашиной и стонал, словно человек, в чьих зубах эта бормашина визжала. Такое неожиданное сравнение показалось Кларе жутко смешным, и она бы обязательно расхохоталась, если бы ей удалось раскрыть рот. К тому же нужно было открыть дверь, задублённую, залепленную снегом, как дырка в зубе, – она не знала, как называется то, из чего делают пломбу, и уселась на стул в размышлении.

Но прийти к выводу Клара не успела: ей пришлось вскочить и побежать по почти бесконечному коммунальному коридору в такой же безнадёжно совмещённый коммунальный туалет с ванной – Владимир Фёдорович называл это заведение «санузел». Там, раздевшись, она обмерла: между оттаивающих ног текла кровь. Ей недавно, в Сочельник, исполнилось тринадцать лет, и что же она могла подумать?

Что же я могла подумать? Ранена вражеской шрапнелью? Заразилась цингой или малярией? Но самое главное – как я могу кому-то рассказать об этом? Слава Богу, ничего не болело, хотя, если бы болело, было бы хоть понятно, откуда взялась кровь.

Клара помылась холодной даже для февраля и Урала водой, вернулась в их комнату, перевернула все книги, какие были в доме, а книг почти не было, потому что все ведь уехали на пару месяцев, максимум на три, и, наконец, поняла, что случилось. То есть что не случилось ничего.

Просто она переплыла свой Днепр, и теперь никогда не утонет. А впереди – если присмотреться – была вся, ещё не тронутая, жизнь, и конца ей, несмотря на сугробы и визжащий ветер, не было видно.

XI

И Самуил тоже шёл – только не из школы домой и не из дома в школу, а с мельницы в пекарню и потом обратно. Шёл он по бесконечной десятикилометровой аркульской дороге и нёс на спине чумал с мукой. Их эвакуировали в Аркуль из Ворошиловграда – родителей, Семёна Михайловича и Розу Самойловну, и детей – Самуила и сестру Иду с грудной дочкой Майей.

В первую войну у Розы в доме, в тогдашнем Мариуполе, остановился немецкий офицер, очень вежливый и культурный, сразу чувствовалось воспитание. Те немцы вообще были приличные люди, погромов не делали, хозяев уважали. Все в местечке надеялись, что и эти будут такие же, но получилось наоборот, так что пришлось эвакуироваться.

За два месяца до войны, в день рождения Ленина, Самуилу исполнилось пятнадцать лет. В Аркуле он устроился на мельницу, носить мешки с мукой в пекарню. Аркуль – городок маленький, как Хромпик или Первоуральск, только на Волге, в Кировской области. Мужчин там осталось немного, грузовиков совсем не осталось. Семён Михайлович работал на заводе, а Самуил – за грузовик





и мужчину – таскал чувалы с мукой, полцентнера мешок, десять километров в одну сторону и те же десять назад, уже налегке, за другим мешком, два мешка в день, то есть в сутки.

Он шёл, нёс на спине мешок и думал о том, что идёт себе и идёт, и никто не мешает идти, да и попробовали бы помешать! – и что телогрейка всё-таки греет, только немного великовата в ширину, и ботинки почти не пропускают ни снег, ни дождь, ни грязь.

Пот течёт, чёрт бы его побрал, как целая Луганка, из-под ушанки или из-под кепки, и не вытрешь его, ну, да ничего, Бог не выдаст, а свинья уж точно не съест.

Он нёс свой мешок и хохотал в полный голос, думая о том, что одним выпало нести ерунду и чушь собачью, а ему – мешки с мукой. Отхохотав, он пел песню или арию из своего неисчерпаемого репертуара – по-русски, по-украински, на идиш, и вороны на деревьях пристыжено умолкали и завистливо прислушивались, поджав хвосты и давясь забытым, довоенным сыром, не в силах воспроизвести неаполитанские напевы, еврейскую «Маму», «Эх, дороги», «Ніч яка місячна», исполняемые активно формирующимся тенором. Они сидели, старясь казаться хозяевами жизни, на тысячах деревьев, но напоминали всего лишь кусочки ноябрьской грязи, перебравшиеся с голой дороги на голые ветки. Зимой эти бесконечные деревья выглядели бесполезными, как выкуренные папиросы, а летом – приятно растрёпанными, почти как голова Самуила после трудового дня, вернее, почти суток.

В Ворошиловграде Самуил учился в украинской школе, поэтому родных языков у него было два. Он здорово декламировал стихи, особенно „Я бачив дивний сон, немов переді мною безмірна та пуста та дика площина“. Идиш он тоже знал: родители говорили друг с другом и с детьми в основном по-еврейски, и песни мама пела еврейские, но потом они понемножку и русский выучили.

До Аркуля Самуил никогда толком не влюблялся, а тут влюбился, в женщину раза в два старше, и если бы Семён Михайлович не вмешался, то всё было бы иначе, хотя Самуил даже представить не мог, насколько иначе. Но Семён Михайлович вмешался, и, когда освободили Харьков и разрешили вернуться из эвакуации, они поехали прямо туда.

А Гришка, наверно, остался где-то в эвакуации, а потом уехал в другой город, потому что в Ворошиловграде его больше не было. И потом в Луганске тоже.

Самуил шёл той же дорогой за вторым на сегодня мешком, руки в карманах распахнутой телогрейки, жаль, папиросы, как всегда, кончились, ну и чёрт с ними. Из-под ботинок грязь разлеталась, как куры из-под колёс ещё целого ворошиловградского велосипеда или как искры из-под копыт ворошиловградской лошади, и ветки торчали из стволов деревьев, будто спицы из колеса того самого велосипеда, только уже поломанного. Он шёл за вторым на сегодня мешком, пел почти сформировавшимся тенором «Скажите, девушки, подружке вашей» и «Весёлых ребят», или декламировал ворошиловградскую считалку:

Анна ванна тантания,
Сия вия кампания.
Саламадарак тики-таки,
сие вин ван.

А впереди, прямо перед ним, тянулась бесконечная жизнь, которую не могла закрыть от него даже мельница, будь она неладна вместе со своей мукой и всеми мешками.

Бесконечная потому, что как же может закончиться такая классная жизнь, когда всё зависит только от меня самого, и всё будет так, как я придумал.

ХП

Война ещё не закончилась, но немцев из Харькова прогнали, и Мария Исаковна решила вернуться в Харьков. Ей предлагали важную работу в Уфе, но





Харьков есть Харьков, с ним мало какой город может сравниться. В Харькове и работать интереснее, здесь вся техническая интеллигенция, профессура в университете и в институтах. Ну, и потом, это всё-таки вторая родина.

Они стали жить в коммунальной квартире на Сумской, недалеко от площади Дзержинского, в десяти минутах от Сада Шевченко, а до парка Горького – столько же на троллейбусе. Их квартира на Пушкинском въезде была занята, туда их не пустили, и марки с королевами и королями, не говоря уже о серебряных рублях и белом рояле, не отдали.

Работать Марию Исааковну взяли в шикарный Дом проектов, на площади Дзержинского, рядом с самим Госпромом. А Владимир Фёдорович, почти как на Урале, пошёл работать, по словам Марии, путейцем – в управление Южной железной дороги, занявшем непоколебимое здание на Привокзальной площади.

Для Клары харьковский мир расширился, и дорога из школы теперь была длиннее, чем перед войной, но ещё интереснее. Училась она по-прежнему в тихом центре, в их престижной школе, а жили они на величественной Сумской, на четвёртом этаже высокого и мощного семиэтажного дома, построенного во времена Александра то ли второго, то ли третьего,

Пушкинская была трамвайной улицей, чем-то похожей на симпатичную интеллектуалку из института благородных девиц, легко обосновавшуюся в двадцатом веке. А Сумская походила скорее на Элен Безухову или, под настроение, на Екатерину вторую, так она была шикарна, дородна, роскошна и забавна в своей величественности и необъятной гордыне. По Пушкинской идёшь, растаивая от любви, непонятно к кому и откуда взявшейся, и чувствуешь себя ну просто облаком в платье, и читаешь почти вслух все тысячи прочитанных и ещё не прочитанных книг.

На Сумской, под не допускающим компромиссов взглядом Тараса Шевченко, восторгаешься и восхищаешься почти вслух. Потом заходишь в самый старинный и потому самый великолепный гастроном и покупаешь пятьдесят грамм любимой копчёной колбасы, - не сейчас, правда, а вот когда кончится война, обязательно зайдёшь и купишь.

По Пушкинской ходишь не спеша, потому что куда и зачем спешить на Пушкинской, и думаешь неясно о чём, но о чём-то таинственно умно и глубоко, о чём никому не скажешь, ведь разве можно о таком сказать, да и как?

А на Сумской ни о чём не думаешь, а просто улыбаешься, счастливая, что война скоро закончится, вдыхаешь троллейбусный воздух, замираешь и обмираешь, разглядывая эти любимые надменные здания. Гуляешь по Саду Шевченко, собираешь колючие расколовшиеся каштаны и выколупываешь из них гладкие зеркальные каштанчики, как будто их вымыли в Лопани, прежде чем положить в каштаны и повесить на деревья.

Пушкинская похожа на задумчивую каштановую аллею в Саду Шевченко, а Сумская – на повзрослевшую Пушкинскую. Сумская и Пушкинская никогда не пересекаются, они параллельны друг другу, как небо и земля, но именно поэтому одной нет без другой, как двух сторон ладони.

Харькова не может быть без Сумской и Пушкинской. Они – её Харьков.

ХІІІ

Самуилу поначалу никуда ездить не было нужно. Они, то есть родители с Идой и Майей, жили у чёрта на рогах – на Балашовке, на маленькой улочке Доброхотова. Там было тихо, как в пустом аквариуме без воды и рыб, дворик с георгинами и ещё какими-то непонятными розовыми цветами на ходульных черенках. Идёшь по улице – пыль поднимается, но не столбом, как пишут, да и вообще пишут неправильно и читать скучно, - а скорее, уж если сравнивать, то – пыль поднимается старым, нестиранным, заштопанным одеялом без пододеяльника. Идёшь, чихаешь и думаешь: ну зачем мне эта задрипанная Балашовка, зачем мне эти старорежимные домики с двориками, мост, вокзал для товарняков, с просиженными скамейками и засиженными подоконниками?

Я-то хочу всё наоборот. Я хочу быть врачом, и в моей больнице, - вернее сказать, в моей клинике, - не то что пыли – пылинки, и той не найдётся. Врачи, сёстры и нянечки будут носить хрустящие, как довоенная шоколадная фольга,





халаты, окна будут такими чистыми, что стёкол не разглядишь, в приёмном покое – плюшевые диваны, можно со слониками, раз вам так хочется. Туалеты в кафельной плитке, и ещё библиотека, детская комната, столовая лучше любого довоенного ресторана, и в ней запах не прошлогоднего борща, а свежего рассольника и жареной довоенной картошки.

Вот только война закончится, и всё будет, как я задумал: и кафель, и диваны, и рассольник. И тогда можно будет учиться, а потом, наконец-то, надеть этот волшебный, белый с голубизной, халат, повесить на шею фонендоскоп и строго спросить у бабульки с плохо разгибающимися от времени и копания картошки пальцами:

- Ну, на что жалуемся, больная?

И вылечить бабульку так, что пальцы у неё – назло всем знатокам – возьмут и разогнутся.

И сурово отчитать многопудового мужика с одышкой, мешающей уснуть всей выздоравливающей палате:

- Не будете двигаться, уважаемый, сердечная мышца превратится в половую тряпку. Или в зашморганный носовой платок.

А если главврач несмело осведомится:

- Самуил Семёнович, вы это не чересчур?

Я спокойно отвечу старшему, но от этого не более опытному коллеге:

- Лучший способ помочь – гладить, но против шерсти.

И мужик пройдёт курс терапии – займётся спортом, сбросит полцентнера и четверть века и освободит место на койке новому пациенту, которого Самуил тоже, ясное дело, вылечит.

Когда Самуилу исполнилось восемнадцать лет, он пошёл учиться в ФЗУ на слесаря. Дома, на Балашовке, делать ему было совершенно нечего, наоборот. Есть хотелось ужасно, но есть тоже было нечего, намного хуже, чем даже в Аркуле. Самуил вытянулся, и при его росте худоба была особенно заметна. Зато тягание мешков натренировало его, как спортсменов тренирует регулярный бег на длинные дистанции по полностью пересечённой местности. И он решил – сначала получить рабочую специальность, в жизни это пригодится, особенно если в институт поначалу не примут, а потом – поступить в этот самый недосяжимый, казалось бы, медицинский институт, где, говорят, конкурс безнадёжный.

Ну, предположим, это он для кого-то другого безнадёжный. А Самуил мог пронести на спине чумал с мукой от мельницы до пекарни, десять километров в любую погоду и в любое время года и суток, и чем труднее было тащить мешок, тем громче он пел свои неаполитанские песни, не обращая внимания ни на бесконечную дорогу, ни на самого себя, уже не чувствующего ни ног, ни рук, ни мешка. Он знал, что его сердце выдержит всё, что угодно, и никогда не превратится в зашморганный носовой платок или дырявую половую тряпку.

В ФЗУ Самуил был одним из лучших учеников. Жил в общежитии при училище. У него была одна-единственная пара брюк на выход, зато это был такой клёш, что не обмереть дамам всех возрастов и социальных групп не удавалось. В комнате у них чуть ли не каждый вечер собирались коллеги ФЗУшники, пели песни, и когда Самуил брал самую высокую неаполитанскую ноту и, улыбаясь, удерживал её дольше целой вечности, его слушали и слышали на всех этажах и во всех окружающих домах и, наверно, даже в замедляющем ход гортранспорте. Нельзя сказать, что он был душой компании, потому что это означала бы, что компания была сама по себе, а он к ней в придачу. На самом-то деле он и был этой самой компанией, и компании без него просто не могло быть. Впрочем, это, наверно, как раз и есть душа, и он был ею.

XIV

В их избранной школе в тихом центре – лучшем харьковском районе – она была лучшей ученицей всех времён. Вообще-то все девчонки в их классе были ученицы как на подбор, хотя никто их, разумеется, не подбирал, и нельзя сказать, что они были хуже Клары, просто она – ещё лучше. Предстоящие тринадцать экзаменов, даже наводящая на остальных свирепый ужас геометрия, были для неё не грецкими орехами, а довоенными орешками в шоколаде. В





тетрадах у неё не было не то что кляксы – Клару Стольберг и кляксы не смогла бы совместить и бесстрашная фантазия Жюль Верна, - там не было даже позволившей облегчённо вздохнуть постороннему наблюдателю помарки. Одни мягкие буквы с лёгким наклоном влево, как будто лошадей умело и вовремя придержали на скаку.

Только однажды и на старуху вышла проруха, и старухой этой оказалась совсем ещё не старуха, а навсегда оставшаяся в бальзаковском возрасте преподавательница русского языка и литературы, утончённая аристократка в безнадёжно забронированном платье и в пресекающем даже мысль о несложности отношений пенсне, по имени Елена Филипповна Райская. Училась она – в той ещё жизни – в пансионе благородных девиц и была явно и исключительно благородной девицей, поэтому девушки называли её «Девушка как роза». Суровость взглядов Девушки как розы и строгость её взгляда сквозь пенсне сравнимы были разве что с сухостью и строгостью тихо обожаемой всеми геометрии, но её, тем не менее, обожали по-настоящему, хотя тоже тихо.

«Язык, - говаривала Девушка, - это не просто «что», а ещё и «как», - и оба они, и «что», и «как» - одинаково важны. Поэтому давайте учиться и тому, и другому в равной степени.

И вот – в день упомянутой выше прорухи – она вызвала Клару к доске отвечать домашнее задание - что-то о Маяковском, которого Клара не возражала считать лучшим и талантливейшим поэтом эпохи.

- Стольберг, - с тайным, сдержанным удовольствием промолвила Девушка как роза, нежно грассируя и невольно подтверждая тем самым своё нескрываемое происхождение, - попрошу Вас к доске.

Лучшая ученица вышла, поправила чёрный фартук на коричневом платье с двумя белыми горошинами на груди и стала рассказывать о «Клопе». Но в голове у Клары крутилась вчерашняя кинокомедия, которую она ходила смотреть в кинотеатр Жданова с очередным безнадёжно в неё влюблённым, и она – неожиданно даже для самой себя, не говоря уже об остальных девушках, - но главное – всё-таки для самой себя, - сказала – по теме, но кошмарно:

- договор.

Лепестки сдуло с розы, соловей поперхнулся и умолк, шипы скукожились. Девушка как роза на мгновение напомнила увядший бутон - потрясённая, унижённая и оскорблённая в лучшем из чувств. Негодуя приподняв пенсне растерянно дрожащими пальцами и страшно взглянув на Клару, она произнесла, грассируя так, как, наверно, грассировал маршал Ней, бледнея перед Бородиным и Кутузовым:

- Стольберг!?!..

Нет, так:

- Стольберг!?!..

- А ещё, - продолжала Клара, покрывшись отражающей её состояние пунцовостью, но не делая роковой паузы, - а ещё он говорил: «Я вас понял, коварная!..» У большого писателя речь персонажа всегда выдаёт его происхождение.

- Чем же вам не нравится происхождение Маяковского? – затрепетала Девушка как роза.

- Я имею в виду персонаж, - гордо ответила Клара, и румянец, как, наверно, у судорожно сжимающего древко флага князя Болконского на поле брани под Аустерлицем, заиграл на её щеках, как раз над ямочками.

И она почувствовала себя маршалом, проигравшим битву, но выигравшим кампанию.

XV

В сорок пятом весна оказалась даже роскошнее, чем до войны. Началась она ещё 8 Марта, когда Клару поздравили, кажется, все ученики мужских классов. Кларе было смешно от обилия влюблённых в неё brunettes, blondes, shaguns, рыжих, высоких, маленьких, толстых и тонких. Все как один они краснели, заикались и бледнели, не в силах больше секунды удержать дрожащий взгляд на её румянцах и ямочках, не говоря уже (попробовали бы!) о чём-то другом.

Восторг слегка тешил самолюбие, но не был ей очень уж необходим, как





и первый и пока последний поцелуй, который она инициировала в седьмом классе для рекогносцировки и обретения базового опыта. Из всех мужчин ей нравился только маршал Рокоссовский. Клара знала себе цену, так что новой информации все эти символические трофеи, аккуратно сложенные у её ног, не добавляли. Клара знала, что она не просто красива – просто красива была, скажем, её послевоенная подруга Мила, – да и мало ли просто красивых? Она знала, что уникально красива, красива, как не бывает, а если и бывает, то в порядке даже не исключения, а противоположного правила.

Черты её лица, улыбка, мимика, походка и всё прочее не принадлежали ни какой народности, а были гремучей смесью нескольких. Её внешность была результатом многовековых, нечеловеческих усилий. Этот сложный проект начался на Святой земле, продолжился на Пиренеях, после Колумба развился в нескольких королевствах и царствах и завершился в Харькове, когда Демиург наверняка вытер пот со лба и проговорил, тяжело вздыхая, «Уф, не могу больше». Он поскромничал: проект был завершён не из-за того, что автор устал, а потому, что цель была достигнута.

В Клару влюблялись ещё чаще, чем в Марию, и все безнадежно влюблённые в неё, что само по себе тавтология (в кого же ещё безнадежно влюбляться?), испытывали к ней даже не безнадежный страх, а скорее неполноценный ужас. Эти безнадежно влюблённые знали, что книг, которые она не прочитала, не было, а те, которые будут, она прочитает. Если же не прочитает, то просто потому, что они не заслуживают её внимания. Вопросов, на которые она не могла бы ответить, не было. Вернее, для себя-то она знала, что такие вопросы, к счастью, есть, и их более чем немало, но ответить на них предстояло ей одной, а окружающие вряд ли даже догадывались о наличии этих вопросов, какие уж там ответы.

Её внимание стоило слишком дорогого, чтобы хотя бы попытаться заслужить его какой-нибудь банальностью вроде смущений, словесных излияний, затравленного выражения телячьего или поросячьего восторга или – никому ещё не пришло в голову, но кто их знает? – дребезжащего пения серенады под её балконом на Сумской: не хватало ещё, чтобы ей вознамерились помешать делать домашнее задание, читать, учить английский или слушать музыку.

Клара была весьма общительна, но, общаясь и позволяя общаться с собой, произвольно создавала вокруг себя прозрачную и одновременно непреодолимую то ли оболочку, то ли стену. Собственно говоря, никакой стены она создавать не хотела, это за неё делали священно боящиеся её бесчисленные романтики. Они сами были виноваты, ведь Клара ничуть не вынуждала бояться её замечаний и думать, что она смеётся над якобы посрамлёнными. Смеялась она, разумеется, не над ними (велика честь), а только потому, что ей было смешно.

Например, Марик Штейнберг, один из лучших учеников во всём Харькове, уверенно шедший на золотую медаль, до заикания влюблённый в неё (а может, он всегда заикался, откуда я знаю), решил сообщить Кларе то, что ей и всем в радиусе ста километров было очевидно. Она сочувственно – именно сочувственно (почему никто этого не понимает?) – расхохоталась почти до слёз, так, что румянец из нежно-розового стал агрессивно-красным, и так же сочувственно – именно сочувственно, искренне не желая Марику ничего, кроме добра, – ответила:

- Марик, ты видел себя в зеркале?

- Видел, – пролепетал Марик, покрывшись каплями пота, похожими на волдыри.

Клара перестала смеяться, строго посмотрела на него и заключила:

- Тогда твой поступок необъясним.

Больше Кларе сказать было нечего, да и не хотелось.

Мария Исааковна уважала семью Штейнбергов и ожидала, что из Марика получится большой человек, выдающийся врач, скорее всего. Несколько раз она пыталась пригласить Марика в гости, но Клара принимала меры противодействия, понимая, что опуститься с небес на землю бедному влюблённому будет ещё тяжелее, чем подняться с земли на небо.

- Не понимаю, дочка, что тебе нужно, – говорила Мария Исааковна. – За-





- Мама, - ответила Клара раз и навсегда, - я не замечаю в нём ничего, в том числе замечательного. Что же касается семьи, то мне моей вполне хватает.

Тут Владимир Фёдорович понимающе улыбнулся, но сделал вид, что внимательно читает «Известия».

XVI

Марик остался наедине с улетучивающимся, но, увы, никогда не исчезающим запахом её духов, а Клара пошла к себе, на Сумскую.

Вокруг неё – не только в Харькове, а, наверно, во всём мире, ещё не излечившемся от войны, – сходила и сводила с ума обалдевшая от собственного великолепия весна. Её долгожданный апрель, как никогда, рифмовался с «Временами года», с приближающимся Праздником, подобного которому больше никогда не будет и с которым не сравнятся ни Новый год, ни 7 Ноября, ни 1 Мая. С Любовью – в роскошно облегающих рейтузах танцующей чечётку на тумбе посреди цирковой арены. С любовью, обволакивающей тебя изнутри рифмами Тютчева, тенью замка Нейгаузена, «Вешними водами», картинками весёлой выставки. Снег, пахнущий остывшим парным молоком, вместе с нею замирал и хохотал, растекаясь по Лермонтовской, Пушкинской, Маяковской, по её Харькову, подмигивающему ей каждым стёклышком каждого здания Чернышевской, Дзержинской, Каразинской, Сумской, Совнаркомовской, Рымарской.

Она шла и сочиняла стихи и музыку, возможно, уже сочинённые кем-то до неё, но от этого не менее, а даже более значимые.

Она шла по Рымарской, сочиняя музыку и стихи, и одним глазом заметила высокого, жутко худого парня с чёрными волосами, зачёсанными, как у Николая Островского, и глазами, в которых – это же надо! – отражались солнечные зайчики окон Оперного театра. Или, может быть, его глаза сами пускали эти зайчики, и поэтому он был похож на весёлого солнечного зайца.

Парень шёл в противоположную сторону, к Бурсацкому спуску, в одной компании с такими же, как он, но совсем не такими, приятелями, и казалось, что если вдруг взять и убрать его из этой компании, то и все остальные, сами по себе, не сохранятся и уберутся, потому что без него вся их компания или – как её? – ватага - станет бесформенной, да и вообще потеряет смысл. Смысл был в нём – ни у кого другого в глазах не отражались солнечные зайчики, и ни у кого другого солнечные зайчики, отразившись, не выпрыгивали из глаз.

Голосом оперного певца на досуге парень рассказывал приятелям что-то невыносимо смешное, они покатывались, сгибались в три с лишним погребели, хлопали его по плечам, и снова сгибались и покатывались. А парень, похожий на солнечного зайца, продолжал веселить их, тоже хохоча лемешевским тенором и профессионально перекачивая во рту папиросу, – немыслимо расклешённые брюки, почти драная куртка и руки с длинными пальцами, как у пианиста или, вернее, хирурга. Больше Клара ничего заметить не успела, ведь смотрела она вполглаза, совсем даже не присматриваясь, и слушала вполуха, не прислушиваясь.

И Самуил в первый и последний раз в жизни не заметил Клару. Они с приятелями по ФЗУ решили погулять по центру, попить на Свердлова пивка, хоть и разбавленного, а всё-таки не вода, а пиво, - сегодня как раз выдали стипендию. Они шли по Рымарской, мимо Бурсацкого спуска, и он рассказывал старые аркульские и новые харьковские анекдоты, хрустящие у него на зубах, как солёные бочковые огурцы.

Самуил любил гулять по Рымарской, спускаться по Бурсацкому спуску к Благбазу – здоровенному Благовещенскому базару, бурлящему неподалёку от торжественно неслышного Благовещенского собора. Говорят, Бурсацкий спуск называли Бурсацким потому, что при царе там, наверху, недалеко от Сумской, была бурса, и бурсаки на переменах, как оглашенные, толпой летели по этому спуску, вопя: «Со святым Иаковом!!», а святой Иаков считался, рассказывают, главным святым харьковской бурсы, вот они его и поминали все при всяком удобном случае. Базарные торговки жутко этих святых Иаковок боялись: те, говорят, с сумасшедшими глазами и чуть ли не с пеной на губах врывались на базар, бегали между рядами, хватали всё, что плохо лежит, а хорошо для них





ничего не лежало, и учиняли разгром похлеще, говорят, самого настоящего погрома.

Торговки называли «святых Иаковов» «сявками», а когда сявок было много – «сявотой», поэтому ни сявок, ни сявоты нигде, кроме Харькова, не было, и быть не могло. То есть, конечно, сявки-то были, как без сявок, но назывались они иначе. Впрочем, сявка, он и есть сявка, как ни назови. А с другой стороны, бывает человек сявка сявкой, а назовёшь его как-нибудь попримечнее, глядишь – вроде бы по-прежнему сявка, но уже не совсем. Всё-таки, что ни говори, от названия многое зависит, а иногда – если ничего другого нет – вообще всё.

На Пасху в Благовещенском было тихо, отрешённо и сурово. Пахло чем-то церковным – ладаном, что ли. Поп особого почтения не внушал, да и ребята, которые ему то ли помогали, то ли прислуживали, скорее для количества собирались, а дел у них особых не было.

А что Самуилу действительно нравилось, так это иконы. Некоторые из них – настоящие картины, не зря же их сам Репин рисовал. Вот ведь, казалось бы, жил человек всего-навсего в Чугуеве, не лучше и не хуже Аркуля, меньше Харькова раз в сто, да и не сравнить его с Харьковом: Чугуев – районный центр, городишко малюсенький и по сравнению с Харьковом несерьёзный, – а рисовал так, что украсил своими картинами сам Харьков, ну, то есть не Харьков, а одну только церковь, хотя и главную, но всё равно ведь – украсил. Значит, можно, если сильно захотеть.

Особенно потрясающая была Мария. Самуил смотрел на неё и понимал, что только у такой женщины мог родиться Иисус, другая бы не смогла.

Он зажёл свечку от горящей, поставил в медное донышко, поглубже, чтобы случайно не упала, хотел перекреститься, но постеснялся. Да и зачем креститься на людях? Когда вокруг столько народу, лучше подумать про себя, перекреститься мыслями, а не рукой, и подмигнуть спокойной красавице на картине Репина.

Народ как один бухался на колени и бился головой в пол. Но если бухнуться на колени, то получается, что вы с ней и не друзья вовсе, а как будто она тебе наряд на завтра выдаёт на несколько мешков по полцентнера каждый. А вот когда подмигнёшь, кажется, что и она тебе подмигнула, и что вы с ней заодно. И вроде бы она тебе говорит: «Слушай, ты не пропадай надолго, ладно? Приходи, если что, я ждать буду».

И он поправлял свечку, чтобы не завалилась, незаметно улыбался на прощание и уходил...

Но это они на Пасху разговаривали, и иногда на Новый год, а в тот день, когда Самуил в первый и последний раз не заметил Клару, они с приятелями ФЗУшниками шли по Рымарской, мимо тёмно-вишнёвого, как старинная шаль, ломбарда, спускались по высоченной лестнице с Университетской горки на улицу Свердлова, а там, недалеко от Южного вокзала, возле остановки шестой марки, напротив пожарной части, была пивная, прокуренная до трещин в потолке, и они могли себе иногда позволить – когда им выдавали стипендию, а сегодня как раз выдали.

Кое-кто, самых что ни на есть строгих правил, их называл так же, как старинные торговки тогдашних бурсаков, но это было несправедливо, потому что они не орали и тем более не хватали ничего с прилавков. Просто хохотали себе и покатывались от историй и анекдотов, которые им рассказывал Самуил. Ну, или, если быть точным, не рассказывал, а очень здорово травил, и они, эти анекдоты, хрустели у него на зубах, как солёные бочковые огурцы до войны.

Продолжение следует.



Сергей Огиенко

ВСАМДЕЛИШНОЕ*

**Из неопубликованной книги:*

С. Огиенко. Избранное / Сост. и ред. – Богдан Ант.

А КЛОУН БЫЛ ПРАВ

Сосед Толик тяжело стоял у БАМом протянувшегося серенького тына и пальцем долбался в месторождения носа, вынимая оттуда сонных «коз» и размещая их на вершинах растрескавшихся от скуки кольев. Далее, за козами, по тыну от него шли: формой под немецкую каску ночной горшок (женский вариант?) с пожарным румянцем розы во всю округлую щёку и разномерные ёмкости и сосуды невыявленного пока назначения. Тوله с утра очень хотелось юмора – юмора не получалось: в пробоины его глаз – небрежно выполненные в очень идущей тыну пустой голове – ничего смешающего не попадалось. Ну что может быть смешного в одиноко сажающей благодушную картошку бабе Дуне? Её голова, верно хранящая форму недодутого воздушного шарика, завязанный под ниточку рот спереди или вялый буболёк скелотых волос сзади?

На тын, лоснясь спецэффектами, взбиралась дородная гусеница. Толик раздул и без того имеющиеся у него щеки – щетина на них по-кошачьи встала дыбом. Гусеница наткнулась на одну из засыпающих «коз» и брезгливо принялась её огибать.

Баба Дуня вдруг вытянулась над картофельными насаждениями и крикнула сильным голосом в прикемаривший в зарослях дом:

– Эй, поможет мне кто, или вся в картошках прямо в гроб лягу?

Сосед Толик неумно заблестал глазами и ляпнул первопопавшийся юмор:

– Бабуня! Ваши родичи гроб для себя сэкономят, вас же – в мешок да и в речку!

Баба Дуня встряхнула комплекцию и во всю отпущенную юбкой ширь пространства водрузила стоянку ног.

– А ты отойди подальше, а то пузом тын вывалишь! – и, взглядевшись в силуэт ночного горшка, добавила: – Фашист проклятый!

– Ладно, ладно! – запорхал руками Толик и быстро увёл блестящие безуменки в глубокую темноту глазных пробоин. – Война уже давно окончилась!

Из-за прямого угла разбуженного дома выбрался пёс Учиха, имевший на себе всю грамматику родной речи: точку носа, запятые глаз, восклицательные знаки ушей и вопросительный – хвоста. Отметившись утробным «бав!», он густым многоточием шажков перебрался за другой угол. И тотчас же, как будто бы вытесненный из оттуда, показался худющий, как аппликация в детском альбоме, зять Венка (раньше он был Венька, но бабуня мягкий знак из него упразднила). Выплюнув из себя в кокетливую причёску молодой травы что-то блеснувшее солнцем, он трагично прогундосил сквозь затиснутый в очки нос:

– Не могу, БабДунья! У меня все руки в машине! – покрутил над головой густо намасленными руками и унырнул под крокодиловый капот «Москвича».

– А где Александра? – крикнула дому баба Дуня, и затронутый ею дом эхом вернул иностранное «Сандра!».

– Не называй её так! – джазом рыкнула баба Дуня, дом сник и перестал отвечать. – Александра!

– Ну чего-о, ма-ам? – длинным и липким голосом ответила дочь Александра, заклеив всё пространство окна своим раскатанным, как корж, лицом. – Я-а чем-то занята-а!

– Зараза ты откормленная! – тихо сказала посадочным картошкам баба Дуня и громко замолилась: – Димка!

– Я здесь, бабуль! – моментально проблеснул в другом окне худенький, в отца Венку, Димка.

«При ней, толстюке, – подумала баба Дуня, – всем остальным места нету!»

– Иди к бабуне хоть ты!





Внука упрашивать не пришлось, – явился быстрее факса. В руках принёс тряпичного клоуна с нарисованным смехом на лице.

– Больной, – пояснил он весенне улыбающейся бабушке. – На него мамка вчера наступила. Боюсь, не выживет.

– Точно, – согласилась баба Дуня, отведя его взглядом чуть в сторону. – Рядом со мной побудь, а? А то пап-маме некогда.

– Хорошо, ба! – обрадовался малыш и уселся прямо в прятную землю, присоединившись улыбкой к широкой клоунской.

Розовые от удовольствия картошки послушно укладывались в лунки. Димка следил за бабушкиными действиями беззаветно любящими глазами. Тёплая земля ласково, как бы залечивая льнула к его обоюдоострой попке, урчала, свернувшись огромным космическим котом. Обоим – бабе Дуне и Димке – было так хорошо, что малоопытного внука потянуло в сон, а повывавшую жизнь бабку – в думы.

– Димка, я умру, – сказала БабДуня, бросая тихие картошки в опрятный ротик посадочной лунки.

– Когда, ба? – не понял Димка.

От нескольких секунд сна непривыкшие к жизни глаза смотрели неточно и чуть плавали, словно принадлежали совсем иному существу, с ходу вскочившему в это худенькое тельце.

– Не знаю пока. Но когда-нибудь – точно...

Димка попросил:

– Ба, только до мая не надо. Потом, а? Хорошо?

Димка очень любил девятые май. Бабушка его была когда-то военной, теперь – ветераном. У неё имелся большой майорский китель со звеняшками красивых медалей, но больше всего Димке нравилось затягивать парадный ремень на упорно толстеющем БабДунином теле. Даже недавно живущий Димка заметил, как от девятого к девятому все труднее и труднее застегнуть белый обруч ремня на нежадной на себя БабДуне: выдохнув наружу весь хранившийся в ней воздух, баба Дуня выпячивала далеко вперёд биноклевидные глаза и командно-полевым гиком кричала: «Давай!» Димка упирался головой в вязкую плоть и двумя карандашными ручками тянул ремень за язык на себя; язык вываливался дальше и дальше – ремень выжимал из себя всё и издыхал до следующего мая, а бабушка, раздутая, как борчиха сумо, ходила на встречи седых маленьких ветеранов с видом их большой и недовольной матери. Ветераны с виноватыми видами робко жали ей руку и молча, без боя отходили каждый в свою сторону. Так всё это виделось Димке: молодежавые ветераны боятся раздавленную бабушку из-за её майорового звания. Бабуля хранила своё мрачно-дутое состояние до самого «снятия с ремня» дома – а там уже двигалась, говорила и ела обыкновенно.

– Хорошо, попозже. А они, – БабДуня кивнула полусдутой головой в сторону нелюбимого дома, – могут меня в речку бросить!

За их чуткими спинами сдержанно треснул тын. Сосед Толик, стоя за ним в туберкулёзно бледненькой от страха перед волосатым телом хозяина маечке, лужгал большие чёрные семечки, по одному, строго по очереди, отправляя их в методично открывающийся рот. От удовольствия его глаза подёрнулись масляной пленкой.

– Дядь Тольк, а почему ты скорлупу обратно не плюешь? – поинтересовался стажирующийся на место в жизни любопытный Димка.

– Плюю, – серьёзно ответил сосед Толик, – только позже и другим способом.

И икающе заржал, дрыгая звериным телом в обморочно белой майке.

– Дурик, – снова тихо сказала БабДуня разрозовевшимся на свежем воздухе картошкам и отправила их с этим знанием в землю. Затем – громче, перебросив голос через плечо:

– Никогда не подкрадывайся, слышишь? Подслушивай открыто, я разрешаю!

– Правда?! – от изумления жирные черты лица соседа Толика стекли к самому подбородку. – Тогда я сейчас, только табуреточку принесу!

Как в плохом балете, раскидав руки, он куриной пробежкой заскакал к своему похожему на надкушенный кусок рафинада дому. Майка на его спине





взмокла и выглядела совсем мёртвая.

– Не дам, – сказал Димка.

– Что? – не поняла баба Дуня.

– Тебя в речку бросать не дам, – непривычно сильно повторил Димка, и его нетвёрдые глаза до отказа наполнились любовью. – Не дам!

– Умничок! – растрогалась БабДуня и спрятала слёзы за свою широкую спину. – Любишь бабушку – люби её хоронить!

Картошки ныряли в лунки без страха – земля ведь была их родным домом.

Деньги и всё остальное «на смерть» БабДуня начала собирать едва ли не с сорока лет. Она аккуратно складывала неконспиративно громко хрустящие новенькие купюры в целую систему кошельков, там и сям спрятанных в много-летних бельевых отложениях древнего комода. Там же лежали и два комплекта одежды «на смерть»: зимний и летний варианты. Деньги «на смерть» были самым надёжным банком в мире. Александре приданое, свадьба – деньги из БабДуниного комода. Венке «Москвич» – тоже со «смерти». Все важные приобретения неизменно оплачивались «смертными» деньгами.

– Я уже здесь! – радостно донеслось из-за тына. Сосед Толик пристраивал там табуретку, а на его земноводном лице проступало и проявлялось что-то человеческое. Усопшую от шока майку он где-то сбросил, сменив её на настоящую украинскую вышиванку. Устроившись на удобной табуреточке и полу-умно сощуриив не всегда похожие на орган зрения подвальные свои глаза, он теперь походил на базарного торговца, товар которого не пользуется спросом: сосед Толик, продающий тын.

– Гроб возьмёте в госпитале, где я работала, они обещали дать, – мечтательно говорила баба Дуня, и высыпавшиеся из забытого ведра картошки, обступив полукругом, внимательно её слушали. – Хотя, может, надо бы и сейчас – вдруг они потом забудут?

Картошки не возражали. Возразил Димка:

– Ба, так к тому времени гроб уже и сам помрёт!

– Ты думаешь? – спросила БабДуня и продолжила мечтать дальше. – Да, вдруг шашель побьёт? А жаль: хотелось бы собственный гроб посмотреть!

Тын смело хрустнул, и невидимый теперь из-за сидения на табуретке сосед Толик очень серьёзным голосом предложил:

– А если железный? Бронированный, а? Вы же, БабДунь, боевым хирургом были...

– Полевым, – поправила баба Дуня. – А железный нельзя: он же тяжёлый, как его люди понесут?

Сосед Толик едва ли не впервые за всю свою тридцатилетнюю жизнь заметил собственную глупость и ошарашенно засел на своей табуретке каким-нибудь модернистским памятником «Мыслитель Родена у Великой Китайской Стены». Кости тыновского скелета двоились перед его несфокусированным взглядом, мешая видеть БабДуню с Димкой. Он оттолкнул от себя бесполезную табуретку – она воткнула все свои четыре ножки в отстранённое небо и осталась лежать так. БабДуня как раз оглянулась: над тыном, как солнце в горах, взошло разгорающееся интересом лицо соседа Толика.

– Ну чего тебе? – с удовольствием спросила она, видя, что с соседом что-то происходит впервые. Димка сжал пальчики на маленьких даже для него ножках и притянул поближе клоуна с хроническим смехом в лице.

Сосед Толик в этот миг больше всего напоминал собой небольшой тихий пруд, вдруг преображённый неизвестно откуда налетевшим многобальным штормом. Произнеся изменившимся голосом:

– У вас лунки закончились, я помогу... – он надёжным буфером живота нокаутировал секцию тына и решительно шагнул к БабДуниной лопате.

– Я буду копать, а вы картошки кидайте. А ты, – обратился он к Димке, – учись бабушке помогать.

Удивлённая картошка выпучила клубни глаз, едва не вываливаясь за борт ведра. Димка скрыл клоуна за спину: считал его ещё слабее себя. Баба Дуня поощрительно сдвинулась в сторону, и они вдвоём с Толиком принялись предавать ручные картофелины земле. Теперь перед Димкиными неокрепшими глазами мельтешили двое, сосредоточенно прячущие картошки в ямочные лузы – маленькая похоронная команда. Димка вынул из-за спины тряпично-





го дурака клоуна с беззвучным шпагатом смеха на лице, проверил, не боится ли, взял за зачем-то вытянутую изготовителями вбок правую руку и стал медленно подтягиваться к молчаливо работающим взрослым. Левая рука клоуна, кстати, аналогичным способом тянулась в свой, левый, бок, но теперь-то хоть это было оправдано желанием быть симметричным. Или таким образом он пытался расширить свою улыбку? Делая с каждым шагочком ключющее движение острым, как кончик швейной иглы, подбородком, Димка мелкими стежочками подобрался к сажальщикам и, помогая им глазами, стал пропитываться важностью процесса.

Сосед Толик копал открытыми слоновьими движениями, земля с его лопаты тяжело бухала кучкой и замирала курганчиком, боясь преждевременно ссыпаться. Узор на его вышиванке оживал и произвольно менял сюжеты. БабДуня щедрым движением от плеча забрасывала картофелины в лунки, вслед за руками переставляя по земле топтавшие ещё войну ноги. Из прячущегося в зарослях дома не доносилось никакого интереса к происходящему, всё в нём было втянуто и схлопнуто, как в космической «чёрной дыре». Работали молча. «Ну и враг с ними, – думала БабДуня, любовно поглядывая на младенческую розовизну картошки. – Помру если – Димка вон по-людски похоронит... Да и Толик-сосед: что-то в нём сегодня случилось к лучшему».

Сосед Толик думал о том, что умирать человеку всегда рано, надо всё откладывать и откладывать собственную смерть, пока ты, окружающие и сама смерть не забудут о смерти – и некому станет умирать! Он улыбался в себе шире любого клоуна, и радость эта растекалась по влюбляющимся в работу мышцам.

Худющий Димка думал о том, что его папе и маме никто не нужен – ни он, ни «ба», ни они сами, всё это давно уже вошло в привычку, никого не шокирует и видимого вреда в общем-то не приносит. «Но так быть не должно, и я таким никогда не буду!» – решил Димка и крепко пожал в поиске симметрии протянутую руку клоуна. А вот клоун ни о чём не думал. Он просто широко и во все тряпичное лицо радовался – и этим был прав!

АУКЦИОН ЛЮБВИ

Теперь я очень хорошо понимаю, что такое конченный человек. Конченный человек – это человек, в котором что-то кончилось. Кончилось что-то вовсе не начатое. И я становлюсь этим человеком. Вернее, уже стал им.

Когда умерла моя жена, я как-то не сразу понял это, меня увлекла и отвлекла вся эта деловитая суeta вокруг, одетая в строгие чёрные одежды. На кладбище долго звучала односторонняя музыка, она очень нравилась внимавшим ей воронам; я стоял и всё ещё ничего не понимал, а у ног моих тёрлась наша Мурка, шедшая за мной из самого дома, и мне это было очень приятно.

Когда человек умирает, мы вдруг и впервые открываем его драгоценность, всё стараемся перещегоолять друг друга в комплиментах усопшему, всё выше и выше оценивая неопценимую утрату. Кто больше? Раз, два... Аукцион. Настоящий аукцион запоздалой любви.

Я же – тоже такой, как все, один из многих прощальных комьев земли. И я не сразу распознал, что же всё-таки произошло.

Теперь, когда настанет утро, сюда кто-нибудь обязательно явится: люди – они вездесущнее насекомых. Они объявят меня сумасшедшим, они отдадут меня в омут правосудия, но никто, ни один из них не позволит себе задуматься над тем, что же действительно во мне произошло.

Когда я, наконец, понял это, то вернулся на кладбище, разрыл свежую, ещё помнящую всё землю, раскрыл гроб и сажу совсем рядом с ним. Мурка снова здесь, но это не мешает мне вспоминать.

Я смотрю на это спокойное лицо и понимаю, что оно уже не принадлежит никому, даже ей; её самой нет и никогда уже больше не будет. Вот поэтому я и здесь, чтобы попытаться понять и запомнить всё.

Моя жена была очень полезным человеком, а я всё барахтался в плаценте детства и только мешал ей собою, но она не отсекала связывающую нас пуповину и честно делилась со мною собой.

Я же был утерян в себе и только наращивал свою обильную фигуру. Пом-





ню, испугался, когда организованно, по одному, у меня начали выпадать зубы, и на все её уговоры пойти сдать стоматологу я отвечал: «Ещё одно слово – и я сбегу!» Зубы быстро закончились, и стоматолог долго терзал меня своей победой.

«Будь человеком! – внушала мне она и добавляла: – Хотя сейчас человек – только то, что ему от него оставили». Я смотрел в её понимающие глаза, но тогда они казались гвоздодёрами. И теперь я их больше не увижу.

Мурка отчаянно трётся о мои ноги, эта тоже преданная кошачья женщина, и мне начинает думаться, уж не завещала ли ей чего-то отходящая жена. В переселение душ я не верю, но ведь раньше Мурка никогда не бывала такой заботливой. Я смотрю в её наполненные тайным смыслом глаза и вспоминаю, как частенько, будучи выпившим, неохотно выпускал Мурку во двор и кричал ей вслед, тыча в несуществующие на руке часы жёстким пальцем: «Через пять минут не вернешься – убью!» Мурка ещё со мной, а жены теперь вовсе нету.

Считается, это любовь: надо биться за любовь, биться в любви, без любви – тоже биться. Конвульсии. Любовь – это не вымпел, не знамя, не приз и не награда в соревнованиях. Это что-то сразу и навсегда данное, мы просто не умеем её применять. Теперь же я научен: любовь – это всегда больше, чем у тебя есть.

В шутку я называл жену кинологом, хотя так и не понял, любила ли она собак, либо, наоборот, ненавидела. Хотя, скорее, так: просто жалела, жалеть ведь можно всех – и любимых, и не очень. Жалость может быть ступенью к любви, а может стать шагом к отречению – это кто как видит. Кинологом я называл её потому, что она всё сравнивала с собаками: «голодный, как собака», «дурной, как собака», «бежала, как собака», «я его любила, как собака», «врешь, как собака», «старый, как собака» и т.п. В её речи постоянно присутствовали собаки, но все они были со сравнимаемыми с ними недостатками, поэтому никакой угрозы ни для кого не представляли, и Мурка чувствовала себя абсолютно спокойно. Только я иногда от жены вырывался – и дышал свободно, как на природе, а когда возвращался поесть-полежать, то дурачился: ходил, например, летом в самой зимней шапке, уверяя, что у меня радикулит. Жена смотрела на меня с болью, но с ненавистью в ней я не встречался никогда.

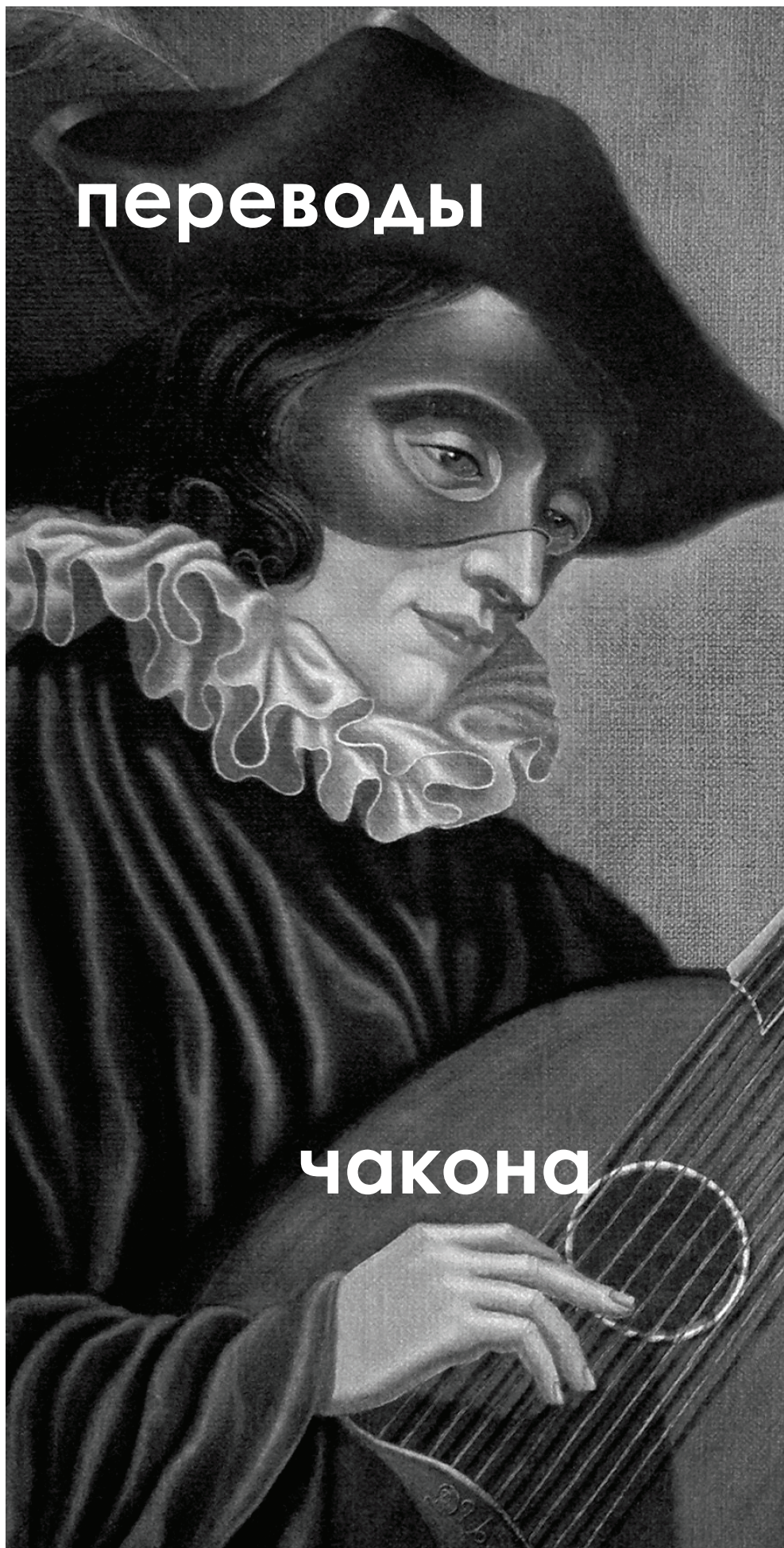
А теперь я остался один и даже не сразу внятно осознал это. Осталась твущаяся в ногах Мурка – ирония прибудившейся судьбы.

Настанет утро, и кто-нибудь обязательно отыщет меня и объявит на весь свет, и свет не поймёт меня и станет спасать, лечить и учить, а для меня всё это будет уже немного лишним, ведь я опоздал даже на аукцион любви; молоток, не остывший ещё от гробовых гвоздей, ударил третий, последний счёт.

Мурка села напротив меня и смотрит своим крупным, оберегающим взглядом. Сейчас, Мурка, сейчас, только гляну в последний раз на уже не принадлежащее никому лицо. Пока не пришли люди...

переводы

Чаконна





Василь Саган	3
Елена Амберова	3
Ксана Коваленко	10



ПЕРЕВОДИ

Василь Саган

Харьков

(переклад з польської)

Болеслав Й. Корженьовскі

Пунктуація

Після крапки починається інша людина,
Із-за окличного знака любов визирає,
Дужки означають примруження вік,
А за знаком питання є Бог.

Розмова

Із Богом треба розмовляти якнайпростіше:
– Як розмовляє гора із птахом, а птах зі струмком,
– Як гомонять дерева зі своєю власною тінню,
– Як квітка на лузі говорить до комашки,
– Як шемрає ліс, коли западає сутінь,
– Як уночі діти шепочуть до своїх ведмежаток,
– Як пишуть вірші сільські поети...

.....

Я так не вмію.

* * *

Бог – один,
Світ – один,
А людей так багато...
Доля – одна,
Мета – одна,
А до мети – сто доріг...

Елена Амберова

Харьков

Перевод рассказа «Я там, где Свет своё заметил отраженье...»
(«ЛАВА», №12).

Where the Light has sighted Its reflection... ...I am...

(Based on the city legends)

The end of the 16-th century, Ozeryiana Plain, Malorossiya...

Being still half awake Nikolka felt chilly and opened his eyes. His lashes quivered and the first thing he caught sight of was a huge drop of dew on a blade of grass right in front of his face. Thick, tall herbs he flung himself down into at the sunset yesterday have been covered with big drops of dew since then. – How did I happen to fall asleep? Oh! What a scolding I'm to get from Mum! – thought he.

But then he recollected all. Long before his last escape to the open field he had





told his mother about his intention to spend the night in the hayloft. He was indeed going to. But later he changed his mind and ran to the steppe. Only there he could enjoy being alone with something huge and kind, the name of what he knew, but wasn't really aware of. – Nay! Mum ain't be scolding, – thought he heaving a sigh of relief. A tender smile softened his childish face like a breeze and brushed away his frown. – It's high time me going! – remembered he. The next moment he rose from the grass and looked around.

A dense haze was floating above the field. The milky-white clouds of yesterday seemed to have settled stately for a night rest in the soft lush grass of Malorossiya. The moment the sun rose the haze turned pink and started evaporating coming slowly back to the heaven. Finally a copse emerged from the milky gaps in the haze. Along its border a road to Ozeryiana was winding. Nikolka adjusted his clothes crumpled and humid with the dews, girded himself with a string belt and hastened towards the road, his legs rising high in the tall thick herbs.

While hurrying home after the night in the steppe he let his thoughts return to the yesterday evening. He remembered being unable to bear his mother's sobbing when he ran away never knowing where to, desperately suffering his helplessness and smallness. Mum was weeping again. She scolded his father for going to Cossacks, blamed the Tatars who raided their land and forced them hide in the wood. She cursed the devastation and something else, her own, something mere female that Nikolka being too young wouldn't yet realize. He raced for long unaware where to and what for. He had no strength to bear his mother's tears as they made his eyes steep in a great deal of his own, but he thought himself old enough to be ashamed of them.

On reaching the open field, Nikolka threw himself down onto the grass and at last gave way to his tears. Presently he felt exhausted. He turned over and lied on his back gazing at the sky. Words of a daily pray came to his mind, gradually becoming his private pleading of God and his Mother. He asked them to help his Mum about the house and the harvest and bring his Dad back home. He implored them to keep the Tatars away from Malorossiya and his dear Ozeryiana forever... He kept on revealing his soul to that unknown One whose existence he always so evidently sensed in the vast expanse of the steppe under the tremendous heaven.

The sun coloured the sky pink and hid behind the copse unheeded by the boy. Nikolka kept on talking to God in his thoughts. First he tried to persuade Him He might hear him. He might do it! Didn't He exist? And he, Nikolka, needed Him so much at that moment! At length he began questioning: "Where are Thou?!"

The time flew, the day merged into the night. The boy fell asleep right in the thick lush grass fully unaware of what was in store. After such a hard day his young but already worn out with suffer soul happened to be caressed by the most peaceful and sweetest night-dream of his life.

He dreamed some incredibly beautiful things. He even heard someone talking to him while sleeping in the open air. A gentle kind voice told him very important and right words – some absolute truth that Nikolka tried to recollect after waking up, but all in vain. Only several words that came into his night-dream with a milky-honey flavour have imprinted themselves in his young pure soul:

"... where the Light... ...there I am..."

Old Matvey, a famous skilled mower from Ozeryiana has been already working for several hours. The sun was at its height making the man's head hot even through his straw hat. Waving away bees and butterflies now and then Matvey was smoothing the field enjoying an habitual song of his old friend – a well sharpened scythe. "Zhick-zhick" – the scythe was singing... And the swarm of midges and cicadas seemed to sing along with it...

Suddenly Matvey's ear caught a new sound between two "zhick" – as if a woman's moan. Frightened the mower stopped and made a sign of the cross. – Good heavens! What if a woman was sleepin' there in the grass?! What if I wounded her with my scythe?! God forbid!

He put his scythe down and with a great care moved tufts of the grass apart. He was dreading the things he was to see.





– Jesus Christ! What’ve I done?! Whence did it come?! – exclaimed he.

The eyes of the Holy face were looking at Matvey from the canvas in the thick grass. He knew this face like everyone else in the Christian world. It was the face of Virgin Mary on a canvas icon. Two parts of the icon cut by Matvey’s scythe were lying there, beside them a burning candle stuck out from a tussock. How had the icon got there? Who could have possibly put it into the grass and lit the candle? Such a mystery...

– How hath it happened? – old Matvey pondered.

Ultimately amazed he made again a sign of the cross.

– Whence did Virgin Mary come? Besides along with a burnin’ candle! Hath it fallen from the sky? Or had some Divine Hand laid it there? Oh! What’ve I done! Such a sin! I’ve cut the holy icon! Woe is me! What should I do now?! – old mower muttered scratching helplessly his head.

He mused a little and picked up the two pieces of the canvas, the candle and the scythe from the grass. Being quite perplexed he went home. All the way to his village old Matvey kept on muttering. The first thing he did when entered his house was go to the Holy corner. Making signs of the cross he pleaded God to be forgiven for his unintentional sin.

Then he took an egg, broke it into a wooden bowl, added three pinches of flour, stirred all the stuff properly and got some sort of glue. With this glue he fixed two pieces of the icon together. When the work was done he scrutinized it with a sudden joy then put the icon into the Holy corner and lit again the candle found near the canvas. The rest of the evening the old mower spent in sincere praying till he got overcome with a slumber. Like Nikolka the night before Matvey dropped into a deep sweet sleep.

The next morning the first thing he thought about after he woke up was the mysterious canvas. He looked at the Holy corner expecting to see the icon, but... it was not there anymore. Stricken Matvey started to his feet, went to the inner porch, scooped up some water from the wooden keg and washed his face. Then he ran out of the house heading for the place in the open field where he had found the icon. There where he thought the Virgin Mary had descended from the Heaven.

Being deep in thought he tried to figure out everything that has happened to him since yesterday noon. All connected to the mysterious icon of Virgin Mary troubled his mind. Was that icon real? Did I dream it all? – debated Matvey. – But I remember everything! I did see that icon as clear as a nose on my neighbor’s face! I would ne’er forget it! So where hath it gone then?! Yesterday the canvas appeared nobody knows whence and in the morning it hath gone! Lo and behold! Perhaps it is a token! If so, what’s in store? Good or evil? – reflected he. – Nay! It ain’t bringing evil! Impossible! The Virgin Mary – the Hallow Patroness can’t come for the evil! ‘Tis for the good, ‘tis only for the good! Maybe she’ll protect us from the Tatars... But...maybe all that just seemed to me... And the night-dream was such a weird one! Like a city in the heaven with silver domes... Oh, what a beauteous dream I saw this night! How could I possibly forget when woken up? And like a gentle voce was tellin’ me something... What a pity – I don’t remember... All passed o’er! – sighed he.

When returned to the open field he retraced his own path to the mysterious place of the icon appearance. He briskly moved tufts of the unmown grass apart and stared at the crumpled by someone place in the herbs.

What a fate Matvey was to face these days! He felt so greatly amazed, so bewildered that words slipped out of his mind. They simply abandoned him... Quite helpless, alone with Life and Miracle, he was...

The holy face of Virgin Mary with the child Jesus in her arms was gazing at him from the totally safe canvas. And next to the canvas a fount has suddenly gushed out...

It took him long after a thorough and reverent probing the canvas by his fingertips to come to a conclusion it was a real miracle. Neither groove nor trace of his mending was there. Nothing at all! As if both Matvey’s sharp scythe and his hand have never touched the holy icon...

The only word his lips whispered was “Miracle!”





* * *

The icon found by the mower at the end of the 16-th century has since been known as Ozeryana miracle-working icon of Virgin Mary. Numerous facts of healing and miracle-working brought it the glory. In the place where the icon and the fount had appeared a monastery was built many years later. The holy icon first dwelt in the Ozeryana St. John the Baptist church and after in the Kuryazh Transfiguration monastery. Afterwards it was regularly carried with the cross procession from Kuryazh to Kharkov. The residents of Kharkov have regarded it to be the Patroness of their dear city for many years, till...

September 1930, Kharkov is the capital of the Ukraine...

A mayor of Kharkov Gregoriy Mihailovich Borodai got up very early that morning. It was before the dawn when he woke up. No light penetrated through his windows, the dead silence reined over the house. He was lying in his bed seeking for explanations of his night-dream. The things he saw that night have never occurred to him before. Neither in the imagination nor in night visions he has ever seen such things. If he had been told about something like that before, he wouldn't have believed. The remains of his night-dream lingered in his memory counter to all his reasoning and wouldn't leave him alone. Having lost all hopes to get rid of them, the mayor called the car, hastily had breakfast and left his apartment for the city hall.

When arrived he proceeded straight to his office. The sentry on night duty was taken aback by the mayor's early arrival, but according to all the rules, he saluted the chief and after Gregoriy Mihailovich shut the office door behind his back, telephoned the secretary Vasiliy. As the latter lived nearby in Rimarskaya Street, ten minutes later, looking a bit unkempt but very cheerful, he was making tea for his boss.

Gregoriy Mihailovich was pacing up and down his vast office. Now and then he stopped at the window to cast a wistful glance at the picturesque ruins outside. The remains of the Cathedral of St. Nickolas, exploded in March by the National Commissariat of Internal Affairs immediately after the Myrrhonosizkaya church explosion, were raising their arms-like debris towards the sky now as though from the yawned wound. Were they beseeching the new city's masters for clemency? Or were they demanding vengeance?

Little by little mayor's frown deepened and the idea crept into his mind after his waking up seemed to get stronger every time he glanced at the ruins outside the window. That scenery like a silent reproach tormented his soul.

Quiet as a cat, Vasiliy scratched the door. He was fully aware of his chief's disposition and was ready to be sent away. Sometimes it's better to avoid coming into the boss' sight. But the mayor let him in.

– Good morning, Gregoriy Mihailovich. Would you have a glass of tea? – He asked entering the room, the glass of tea in a silver holder in one hand, a porcelain saucer full of lump sugar in the other.

– Yes, sure! Come in Vasiliy! Share my meal! You surely would love to have a glass of tea, wouldn't you? – A tense smile stiffened Gregoriy Mihailovich's face. – Sugar is a tasty thing to start your day with, isn't it?

– Why not to? If you won't mind I'll take my glass and some hot water! I'll be back soon!

Glad Vasiliy put the mayor's glass and the saucer with lump sugar on the green cloth of the desk and left the room. A little later he returned and put timidly his glass in a brass holder on the end of the desk.

– Take a seat, Vasiliy. Let's talk, – Gregoriy Mihailovich hospitably pointed out a chair. – And help yourself with sugar! Don't be shy! – He pushed the saucer with the sugar to the other end of the desk.

– Hearty thanks! – said Vasiliy. He shifted the chair closer to the desk, sat on its edge and took modestly two lumps of sugar. Having drowned them in the tea he fished a teaspoon out of his shirt pocket and began stirring. His face with a smile on it kept an expression of a satisfied cat.

– Could you tell me something, Vasiliy? Have you ever heard of the underground tunnels that are so much spoken of now? The entry into these tunnels is believed to be found under the Cathedral of St. Nickolas. – The mayor's voice





sounded deliberately indifferent.

- Sure, I have! Why? The locals have known about them for long time!
- Tell me!
- Haven't you heard indeed?! – Vasiliy's eyes sparkled with astonishment.

– What a surprise! You can't be ignorant of them at your position indeed! – He shook his head in a doubt. – Well, listen to me then. In the middle of the previous century a fire happened to burst out in Mordvinov lane. My Granny told me about that. An awful throng gathered there at once! You know, ordinary folk are like that. They are fond of having any kind of fun. But the most they fond of is gaping at other folk's misfortune. So, well, people are like that, you know. Little later a horsed gendarme galloped up there and at once both the steed and the rider fell down through the earth into a sudden gap! They disappeared together under the road. That was the moment the throng came in handy. People jointly dragged both the steed and the man out. So what about the gap you may ask? The gap happened to be an underground tunnel! So, you may well guess that none of the crowd agreed to explore that tunnel. But the authorities found a way out. They proposed two lifelong convicts to explore the tunnel and promised them both a discharge from prison and the Tsar's general absolution. Well, could there be any other lucky chance for them? I don't think so. They certainly knew which side their bread was buttered. They agreed and went into the hole in the road. They spent three days underground and got out inside the Cathedral of St. Nickolas.

– How did they get out? – Gregoriy Mihailovich asked after long and attentive listening to his secretary. – Did they find any door?!

– Well, there could possibly be a door, but they didn't find it. They broke the floor and got out from the tunnel. That was all!

On hearing those words Gregoriy Mihailovitch jumped to his feet and approached the window again. His gaze penetrated through the window glass and fixed on the black gap in the middle of the Cathedral ruins. At the same time the images of his night-dream came to the surface of his mind and he suddenly bethought a kind gentle voice suggesting him to do such things which sent shivers down his spine...

– Now then, – Vasiliy's voice dragged the mayor back to the reality. – Thereupon the convicts asked for some food to last for several days and went back to the underground tunnels. The next time they came out was the yard of the governor's mansion in Ekaterinoslavskaya Street. After that they got out near the Holodnogorska prison. And the tunnels were said to lead even to the Kuryazh monastery. And the men were said to see there an enormous underground hall and straight in the centre of that hall there was a huge table with 12 chairs around it... All that seemed to be intended for the holy apostles... Well, who knows? – muttered Vasiliy wistfully. – So it was...

Gregoriy Mihailovich went back to the desk and retook his seat. His thoughts darted in an unusual direction and such odd intellectual journey astonished him so greatly he couldn't even believe his thoughts were his own. The change happened to him at night made him feel some prostration. He used to be a convinced communist who sincerely believed the religion was a fairytale for poor oppressed people. The tale invented by the bourgeoisie to enslave people and make them work without any payment. He used to believe so... till this morning. Sudden doubts seized his mind and shattered the grounds he used to stand on. The principles of the atheism that once had seemed to be ultimately solid and inviolable suddenly gave way. As if the gentle and incredibly kind voice from his night-dream has grazed them to reveal their weakness. Everything the party has taught him seemed to be a fragile construction built either on the swamp or on the deadwood. And being now in his usual environment the mayor was dumbfounded at his own thoughts. He was totally at a loss wondering whether his persuasions are to be crumbled to dust or stuck in the marsh.

After finishing the story Vasiliy took another lump of sugar and biting it treated himself to tea. The mayor rose again and approached the window.

- I saw a strange dream this night, – his aloof voice reached Vasiliy's ear.

Gregoriy Mihailovich whether became oblivious or presumed to confide in his secret which has haunted him since the very morning. The secretary astonished by such a confidence listened to his boss with bated breath.

- There was a town in the sky... – the mayor told wistfully. – Marvelous one





– a real treat to feast one’s eyes on! ...Silver domes hovering above the white houses, pink quartz-like paths winding between them... And a sudden kind voice, such a gentle one, tells me: “Take the miracle-working icon of Oseriana Virgin Mary and descend into the underground tunnel beneath the Cathedral of St. Nickolas. There you’ll find help...” And there was something else said to me but I wouldn’t recollect it! It has been tormenting me since the very morning, but the rest of the words slipped from my mind! And the thing is that I felt so well hearing that voice, so sweet... As though the Paradise exists indeed and I happened to visit it...

Vasiliy’s eyes wide with astonishment were piercing Gregoriy Mihailovich’s back, his hand with a glass of tea in it hung over the desk. Having pulled himself together at last he put the glass on the desk and stammering, almost in a whisper, asked:

– And what about the icon? Where is it now?

– It’s in my lockbox. – The mayor replied without turning his head to the secretary. His eyes have suddenly riveted on a girl walking over the pavement in the street. She seemed to him so happy, so striking, as though there was an extraordinary glare radiating from her.

– I can’t get why it’s in your lockbox? – wondered Vasiliy.

Gregoriy Mihailovich’s eyes were still fixed on the girl walking in the street. He was so absorbed in that scene that having forgotten the fact that it was a secret data meant to be strictly kept from other’s ears said:

– We’re going to explode it in the altar of the Annunciation Cathedral when it’s destroyed...

– Ah! – exclaimed Vasiliy. – Is it our Mother-Patroness you are going to blast?! Oh! She’s made so many miracles, so much good! She’s healed a lot of folk, saved Kharkov from cholera, helped out so many poor folk! Why?! What for?! It’s not fair! – Vasiliy began snuffling grievingly.

Presently he got a grip on himself and rose from the chair.

– I think I had better go, – he mattered scowled.

He gathered the empty glasses, pushed indignantly the saucer with sugar away and took his leave, his head bent.

Gregoriy Mihailovich kept on standing by the window. The last Vasiliy’s words didn’t pass unheeded. They were ringing now the tocsin of his heart. – What if Karl Marx and Lenin hadn’t either known everything? – thought he, – any person is said to make mistakes, hadn’t it been proved by the ancient Latins? They had been used to say about that fact in such a weird way... I’ve forgotten!

His glance kept on following the happy girl in the street. Suddenly she raised her eyes as though in longing to be caressed by the sky, and he caught sight of their expression. The Light! That was the Light he saw that night in his dream! All of a sudden the words said by the gentle voice, which he tried to recollect all the morning, jumped forth as though from the magic box, where his rational conscience had hidden them from him!

“... where the Light has sighted Its reflection...”

The next day the mayor of the Ukrainian capital of such turbulent times disappeared without a trace. The Miracle-working icon of Virgin Mary was gone either. Perhaps that was the reason why the Annunciation Cathedral wasn’t blasted as it had been arranged by the National Commissariat of Internal Affairs. Thus the church became an architectural gem of the city and years later it turned to be again the site of religious services.

The beginning of the 21-th century, Kharkov...

Katusha sat on her parents’ wide bed playing with a toy bear. She massaged the bear’s legs and assured him they would be healthy and he would have a nice pace. There was a little icon of Virgin Mary with the child Jesus in her arms on the bed-side table. A diminished copy of a replica of the lost miracle-working icon of Ozeryiana Virgin Mary it was.





Katusha's mother had gone to the church, having left her daughter with her grandmother. The latter was now busy cooking in the kitchen. Four-year-old Katusha despite of the orthosis' on her legs has been quite independent in her walking about the flat long since. Yes, she still couldn't walk like other children did, and what if so? Since her very birth she has been massaged regularly and every time her parents were promised that she would walk elegantly without any difficulties. Her mother believed and either did her father. And Granny with her elder brother believed too. Could they afford to cease doing that?

The toy bear massaged properly, Katusha pressed gently his paunch to listen to his song and laid her head on her Mummy's pillow. Her glance wandered a bit about the room and when met the eyes of Virgin Mary on the icon has rested there. For some time the Holy Mother and the little girl have seemed to gaze at each other till Katusha's eyelids closed and she dropped into a dream.

She found herself immediately in the wonderful town in the sky. She freely walked among white houses with silver domes along the pink pavements. She felt so wonderful there, so sweet...

Her mother returned home from the church a bit later and found Katusha sleeping in her parents' bed. She sat on the edge of the bed and put her palm on her daughter's forehead. While gazing at her sleeping angel her eyes radiated such a glow which only mother's eyes can produce.

Presently Katusha woke up, smiled at her mother and began unfastening her orthosis'.

– Have your legs been tired? – Mother asked tenderly.
– No, Mum! The Virgin Mary told me I wouldn't need them anymore. I can walk like other children! Look at me!

Her eyes were shining brightly like stars; her mother smiled and helped her to put off the orthosis'. The girl got down on the floor from the bed and first made one step, then another... Mother was watching her little daughter walking and failed to recognize her gait. All of a sudden Katusha dashed forth! She ran like all healthy children did! It was a miracle! But they have been waiting for that miracle for so long!

Katusha burst out laughing cheerfully. She was happy to show to Mum her nice walking.

Some tears dropped from her mother's eyelashes and streamed down her cheeks. Both Granny and her brother attracted by the Katusha's merry laughter came into the room to see what was going on there. What a happy excitement and elation burst out there at once! All together they made so much noise! But the mother all of a sudden was stricken by the recollection. The words which she has tried to remember since her waking up were unexpectedly brought back! She remembered a gentle, incredibly kind voice comforting her tormented by suffering heart and the words that had seemed so important and right emerged from her memory:

"There where the Light has sighted Its reflection I am..."

The cultural inspirer, the guardian of Kharkov legends, Herman Titov.





Ксана Коваленко

Николаев

Весна (*переложение 'The Springtime' by DENISE LEVERTOV*)

Не грустны глазки кроличьи,
хоть и красны, но не плачевны.
Ничьей избы форштевень
не рассечет позолоченной грусти деревни.
И застигнет ее в одиночестве белый рассвет.
А коль занавески и косо висят,
в том вины чьей-то нет.
Вокруг, жаль не слышит никто, но вокруг
воцаряется звук
скрипенья колес и дряхленья вещей,
и смолкания вдруг.
И если собаки деревни
уйдут в перелай на всю ночь,
а из глаз их посыплются искры,
никто и не сможет помочь,
да и дела до них никому уже нет.
Для лая и воя глухой этой пустоши
хватит вполне.
А кролики скалят резцы
на весенней луне.

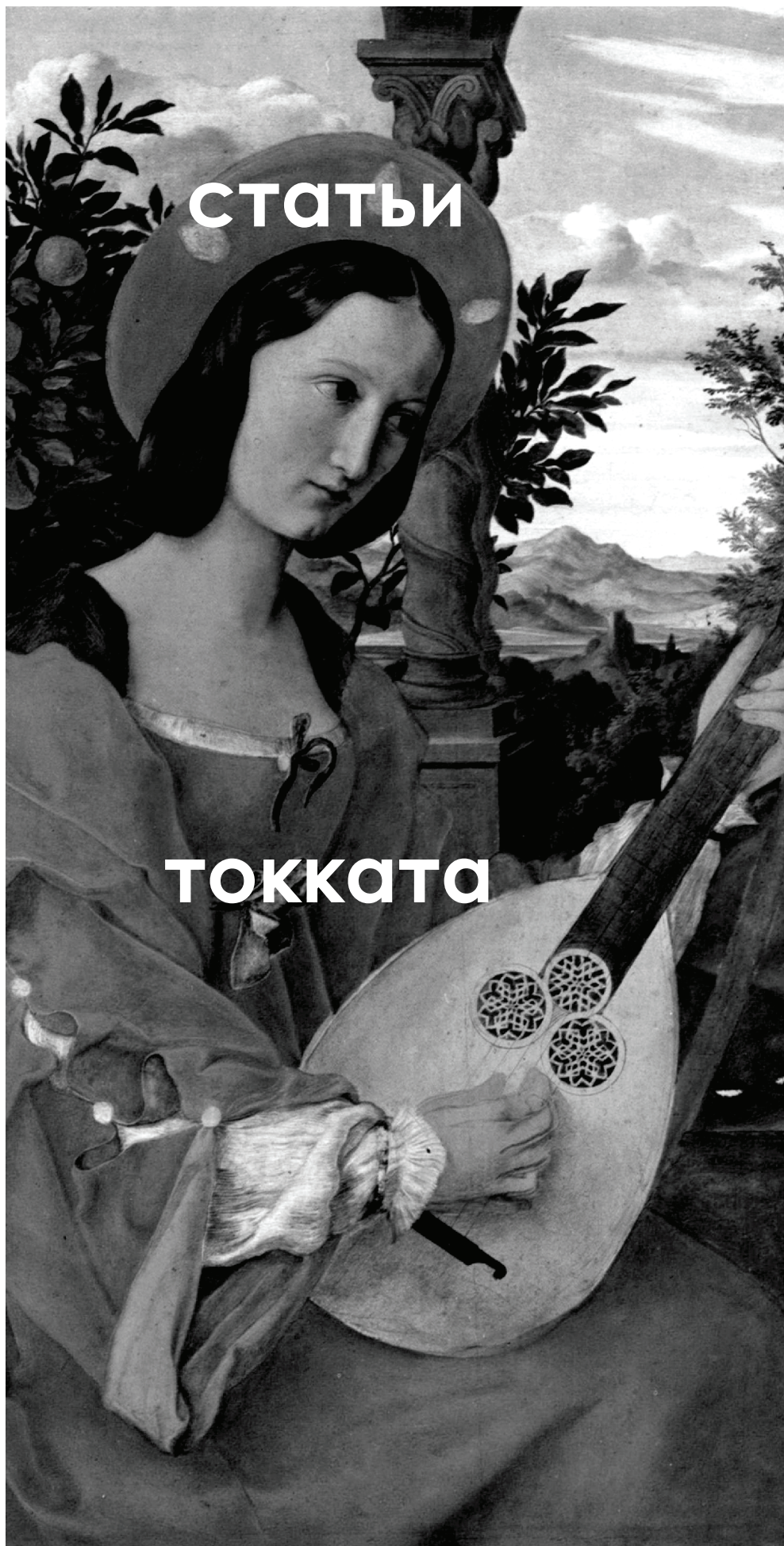
The Springtime

BY DENISE LEVERTOV

The red eyes of rabbits
aren't sad. No one passes
the sad golden village in a barge
any more. The sunset
will leave it alone. If the
curtains hang askew
it is no one's fault.
Around and around and around
everywhere the same sound
of wheels going, and things
growing older, growing
silent. If the dogs
bark to each other
all night, and their eyes
flash red, that's
nobody's business. They have
a great space of dark to
bark across. The rabbits
will bare their teeth at
the spring moon.

СТАТЬИ

ТОККАТА





Александр Минаков	3
Анна Минакова	7
Евгений Баран	11
Станислав Минаков	12
Александр Приймак	15



Александр Минаков

Харьков

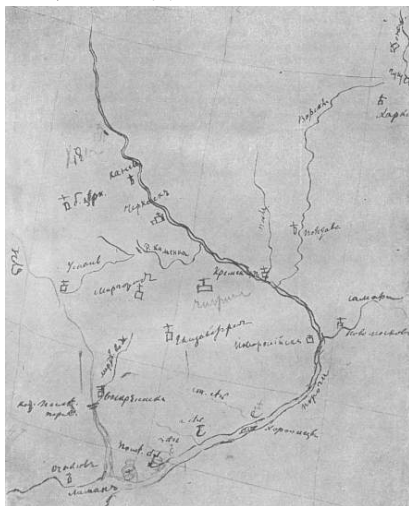
Пушкин для Харькова и Харьков для Пушкина

Пушкин провел на Украине около четырех лет жизни. За эти годы Александру Сергеевичу удалось побывать во многих городах Крыма, Одессе, Запорожье, Екатеринославе (ныне Днепропетровск), Чернигове, Мариуполе, Каменке (на Черкасщине), Нежине, и многих других. Сохранилась карта территории нынешней Украины, нарисованная Пушкиным. Малороссия осталась в творчестве русского гения — множество произведений посвящены природе, городам и людям этой страны. Читая их, понимаем, что поэт полюбил историю и культуру малороссов. Это памятно и по тому восторгу, с которым он принял сочинения Гоголя. Вот начало предисловия к гоголевской публикации в пушкинском журнале «Современник»: «Читатели наши, конечно, помнят впечатление, произведенное над ними появлением «Вечеров на хуторе»: все обрадовались этому живому описанию племени поющего и пляшущего, этим свежим картинам малороссийской природы, этой веселости, простодушной и вместе лукавой. Как изумились мы русской книге, которая заставляла нас смеяться, мы, не смеявшиеся со времен Фонвизина!...»

В Харькове Пушкин, к сожалению харьковцев, так и не побывал. Но тема «Харьков и Пушкин» вполне содержательна.

Пушкин и Харьков

Харьков, после открытия в 1805 г. университета (по Указу Государя Александра I от 1804 г.) становился крупнейшим городом восточной Украины, его посещали друзья и родственники поэта Пушкина — родной брат Лев Пушкин, поэты Василий Жуковский, Антон Дельвиг.



Карта востока Малороссии, нарисованная Пушкиным в 1828 г.

Пушкин и сам намеревался посетить Харьков — в частности, ради встречи с проживающими здесь знакомыми — Руфином Ивановичем Дороховым, прапорщиком Нижегородского драгунского полка, и Михаилом Андреевичем Щербининым, офицером, с 1820 г. служившим председателем гражданской палаты. Пушкин вел активную переписку с семьей Щербининых. Вроде бы Михаил Андреевич находился под следствием по обвинению в распространении пушкинских стихов, которые, по мнению доносчиков, были слишком вольнолюбивы. В исследовании пушкиниста В. Моисеенко сообщается: «По пути Пушкину удалось уточнить, что Дорохов и его друзья уже воюют на Кавказе, а друг его молодости Щербинин негласно находится под следствием по





доносу подпрапорщика Курилова, обвинявшего его в распространении вольнолюбивых Пушкинских стихов, и прибытие его в гости Пушкина еще больше бы усилило бы подозрения. Дорохова через несколько недель Пушкин нашел на Кавказе, а со Щербининым встретился в конце того же 1829 года в Петербурге».

В Харькове также жил еще один знакомец Александра Сергеевича — участник войны, поэт Владимир Федосеевич Раевский, которого поэт 5 февраля 1822 г. предупредил о неизбежном аресте, после которого Раевский стал «первым в истории декабристом».

Но попасть в Харьков Пушкину так и не удалось. Об этом он в «Путешествии в Арзрум» оставил едкую, в своем стиле, реплику: «Мне предстоял путь через Курск и Харьков; но я своротил на прямую тифлисскую дорогу, жертвуя хорошим обедом в курском трактире (что не безделица в наших путешествиях) и не любопытствуя посетить Харьковский университет, который не стоит курской ресторации». Сарказм поэта следует отнести, конечно, в первую очередь не к самому университету, а к вышеупомянутой обстановке. А в самом Харьковском университете, между прочим, в 1825 г. побывал друг Пушкина, польский поэт Адам Мицкевич, поскольку в университете преподавал его родной брат Александр.

Однако 12 сентября 1829 г., возвращаясь с Закавказья, Пушкин, похоже, изменил свой маршрут на север. По мнению харьковского краеведа А. Зинухова, пять дней, с 12-го по 17-е, поэт все-таки провел в Харьковской губернии, где теперь располагаются поселки Карачевка и Бабаи, в имении губернского прокурора Петра Андреевича Щербинина, с которым велась активная переписка.

Известно, что Пушкин использовал в работе некоторые книги и материалы библиотеки харьковского университета. Например, в «Истории Петра I» использовались данные, привезенные из этой библиотеки товарищем поэта Михаилом Погодиным, а при работе над «Историей Пугачева» Пушкин использовал статью «О внутреннем состоянии донских казаков в конце XVI столетия» выходца харьковского университета Василия Сухорукова. О Сухорукове Пушкин писал: «Вечера проводил я с умным и любезным Сухоруковым. Сходство наших занятий сблизило нас».

Некоторые харьковские литераторы работали с Пушкиным в основанных им же изданиях — «Современнике» и «Литературной газете». В редакциях можно было заметить Василия Сухорукова, Ореста Сомова, Алексея Петровского. Встречались с поэтом и другие харьковчане — писатель Василий Алексеевич Якимов, историк и поэт Иван Васильевич Росковшенко, математик Михаил Васильевич Остроградский. В Молдавии Александр Сергеевич пересекся с ректором харьковского университета Андреем Ивановичем Стойковичем.

Харьков и Пушкин

Пушкин, конечно, повлиял на культуру Харькова, города имперского, русского — в конце XIX-начале XX вв. хорошим подарком ребенку считался томик произведений поэта. Среди харьковчан тексты и стихи Пушкина зачастую ходили и в рукописях. В Национальной библиотеке Украины им. В. И. Вернадского числятся 104 листа стихотворного романа «Евгений Онегин», переписанных от руки неизвестным поклонником из г. Лозовая Харьковской губернии.

Харьковчанка Христина Алчевская, основательница первой воскресной школы для женщин-анальфабетов (то есть не умеющих читать), особо выделяла сказки Пушкина и рекомендовала их для чтения в народных школах. В последствии Пушкин был внесен в ее рекомендательное библиографическое пособие «Что читать народу».

Столетие со дня рождения поэта в Харькове отмечали серьезно — вторую центральную улицу города — Немецкую — переименовали в Пушкинскую. К этой дате Городская Дума приняла решение об установлении на народные средства памятника Пушкину. Однако деньги сразу собрать не удалось, поэтому памятник появился только в 1904 г. Заказ получил известный одесский скульптор Б. В. Эдуардс. Установить памятник планировалось на Сергиевский





площади (ныне Пролетарская), но из Санкт-Петербурга отдали распоряжение: установить только в самом центре города. Так памятник получил место в начале Театральной площади, напротив Драматического театра. Его открыли на 105-летие со дня рождения поэта, который по старому стилю отмечался 26-го мая. Отметим, что именно памятник Пушкину, «солнцу русской поэзии», символу русского языка и русской культуры, стал первым памятником в истории Харькова.



Открытие памятника Пушкину 26 мая 1904 г.

Однако в том же году, ночью 31 октября, не смотря на день святого Луки (который, по народным приметам, выводит из людей гниль), памятник Пушкину был подорван. В окрестных домах из окон мощной взрывной волной выбило стекла, но человеческих жертв, к счастью, не случилось. Памятник остался почти без повреждений, лишь откололся кусок от постамента. На месте акта вандализма были обнаружены листовки с националистическим содержанием. Автор текста и организатор взрыва был без труда определен — им оказался известный украинский националист и революционер, адвокат Мыкола Михновский. Михновский был основателем и главарем Украинской народной партии, которая вела активную агитацию о революционной борьбе среди студентов и интеллигенции. О том, что это был за человек, говорят его высказывания: «Украинская нация должна уничтожить правление над собой чужеземцев, поскольку они выжигают душу самой нации. Должна нация добыть себе свободу, даже если зашатается от этого целая Россия! Должна нация добыть себе свободу из рабства национального и политического, даже если прольются реки крови!» Или, из его 10-ти принципов: «Все люди — твои братья, но москали, ляхи, венгры, румыны и жидаы — это враги нашего народа, пока они правят над нами и эксплуатируют нас». Увы, мы живем в такие времена, когда мерзавцу и человеконенавистнику, русофобу Михновскому открыта памятная доска с его портретом на первом здании Харьковского университета.

Памятник Пушкину подорвало боевое крыло партии Михновского «Оборона Украины». Мотивы своих действий подонки объясняли так: Пушкин в своих бессмертных произведениях исковеркал образ Мазепы, показав его предателем. Акт был реакцией на празднование 250-летия воссоединения Малороссии и Великороссии. Михновцам было непонятно, почему в городе установлен памятник именно Пушкину, а не Тарасу Шевченко. Как ни странно, за эти действия никто наказан не был.

После размещения в театре им. Пушкина театра украинской драмы им. Шевченко бронзового Пушкина перенесли на другой конец сквера, лицом к улице Пушкинской, где он стоит по сей день, а на его место в 1909 г. был поставлен выполненный в том же стиле памятник-бюст Н. Гоголю, также изготовленный Б. В. Эдуардсом.



На площади Поэзии в Харькове минувшей осенью. На заднем плане виден памятник Гоголю.

Памятник поэту стал символом русской культуры в Харькове. Возле бронзового Пушкина во время оранжевого переворота 2004 г. собирались городские митинги в поддержку и защиту русского языка.

В 2006 г. Харьковский Городской Совет постановил в день рождения Пушкина по новому стилю, 6-го июня, отмечать День русского языка, в солидарность с Днем Пушкина в России. В этот день у памятника поэту каждый год проходят выступления поэтов и чтецов.

Русское национально-культурное общество Харьковской области, под руководством М. Годунова и при содействии Харьковского Государственного Технического Университета Строительства и Архитектуры (ХГТУСА) проводят Пушкинский конкурс школьных сочинений и рисунков на пушкинские темы.

Харьковский областной научно-методический институт непрерывного образования (ХОНМИНО) проводит конкурс на знание русского языка: ученики старших классов харьковских общеобразовательных школ пишут эссе по творчеству Пушкина и Гоголя.

С 1933 г. в Харькове работает академический театр русской драмы имени А. С. Пушкина.

Не забыли поэта и харьковские любители стрит-арта. Улица Пушкинская изобилует изображениями поэта, сценами из его жизни и произведений. На одной из стен он предстает читающим стихи дамам, на другой — прогуливающимся с Натальей Гончаровой, на третьей — скачущим на сказочном коне...



«Дуэль века». Современное харьковское граффити

Отметим граффити в одной из арок. На одной стене арки изображен Пушкин-дуэлянт, вскинувший пистолет, отбросивший цилиндр и накидку. А на другой — множество персонажей современной масс-медийной продукции, то есть разнообразных героев мультипликационных фильмов, персонажей известной саги «Звездные войны», Рокобопа, Терминатора, комиксоидных персонажей Бетмена и Супермена. Не знаю, что имели в виду авторы, разрисовывая арку и подписав «Дуэль века», но я увидел картину удара фундамента классики по современной, зачастую ничего не стоящей, поп-культуре. Как видим, Пушкин в Харькове и сегодня противостоит бескультурию и распаду.



Анна Минакова

Харьков

Жизнь, слезы, и любовь Анны Керн

Имя Анны Керн в сознании русского читателя неразрывно связано с известнейшими строками Пушкина: «Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты, как мимолетное виденье, как гений чистой красоты...». За два столетия, прошедшие с момента написания этого стихотворения, литературоведы и историки успели провести множество изысканий по поводу отношений великого поэта с незаурядной женщиной — от их первой встречи в Петербурге, в аристократическом салоне Олениных, до последней, похожей на мистический миф: существует версия, что гроб Анны Керн повстречался с памятником Пушкину, который ввозили в Москву к Тверским воротам. По другой версии, Анна Петровна незадолго до смерти из своей комнаты услышала шум, вызванный перевозкой огромного гранитного постамента для памятника Пушкину, и, узнав, в чем дело, сказала: «Ну, слава Богу, давно пора!».

Надо сказать, высокая нота, взятая А. Пушкиным в стихах, ощутимо «приземляется» его нелепеприятными высказываниями о «гении чистой красоты» в письмах к друзьям, что до сих пор щекочет нервы любителям пикантных подробностей. Оставим это на совести поэта. Как бы там ни было, посвящение Пушкина А. Керн стало чуть ли не самым популярным лирическим стихотворением в русской литературе. А сама Анна Петровна в памяти потомков осталась воплощением женственности, идеальной музой.

Но та, реальная, жизнь, которую Анна вела вне «ореола» Александра Сергеевича, была непростой и порой трагичной. Сохранились воспоминания, дневники и письма А. Керн, в которых задокументированы ее переживания и факты жизни. Большую их часть Анна Петровна написала в возрасте 70 лет в местечке Сосницы на Черниговщине.

«Грудным ребенком я переехала в Лубны, где отец получил имение в 700 душ. Родительская усадьба располагалась на чрезвычайно живописном месте, на склоне горы, спускавшейся террасами к реке Суле, среди берестовых, липовых и дубовых рощ...»

Дед Анны Марк Полторацкий принадлежал к старинному украинскому казачьему роду. Уроженец сотенного местечка Сосницы, он учился в Киево-Могилянской академии. Алексей Разумовский, разыскивавший на малороссийских землях талантливых певцов для Придворного хора, пригласил М. Полторацкого, обладателя прекрасного баритона, в Петербург. Из северной столицы молодой певец вскоре был направлен в Италию для совершенствования вокального мастерства. Вернувшись в Петербург, он стал дирижером, а спустя 10 лет — управляющим Придворной певческой капеллы. За многолетнюю службу он получил чин действительного статского советника, который давал право на потомственное дворянство. У М. Полторацкого было 22 ребенка! Анна Керн родилась в семье его младшего сына Петра, подпоручика в отставке, Лубенского предводителя дворянства.

О своем отце Анна вспоминала: «Он был выше всех на голову, и его все уважали. Он своим умом и образованием обаятельно действовал на простодушных лубенцев и снискал их любовь». В лубенский круг общения Полторацких входили Новицкие, Кулябки, Кочубеи — потомки старинных родов казачьей старшины.

В Лубнах Анна Петровна прожила до замужества, учила брата и сестер, танцевала на балах, участвовала в домашних спектаклях ... «и вела жизнь довольно пошлую, как и большинство провинциальных барышень. Несмотря на постоянные веселости, обеды и балы, в которых я участвовала, мне удавалось удовлетворять свои страсти к чтению, развившиеся во мне с пяти лет. В куклы никогда не играла и очень была счастлива участвовать в домашних работах».

В те годы в Лубнах был расквартирован конно-егерский полк, и многие офицеры были поклонниками юной красавицы. Но замужество Анны было решено по воле отца, человека строгого и деспотичного: ее женихом стал 52-летний генерал-майор Ермолай Федорович Керн, участник войны с Наполеоном,





командир дивизии, к которой принадлежал Лубенский полк. Девушка была поражена таким решением: «От любезностей генеральских меня тошнило, я с трудом заставляла себя говорить с ним и быть учтивою... Зная желание родителей, я предвидела, что судьба моя решена родителями, и не видела возможности изменить их решение».

Венчание Анны Полторацкой с Е. Керном состоялось 8 января 1817 г. в Лубенском соборе. Ее отвращение к генералу после женитьбы только усилилось. В дневнике молодой женщины постоянно появлялись записи, полные то глубокой тоски, то негодования: «Его невозможно любить — мне даже не дано утешения уважать его; скажу прямо — я почти ненавижу его».

В 1817 г. на балу в Полтаве, устроенном по случаю смотра 3-го корпуса генерала Ф. В. Остен-Сакена, состоялось знакомство Анны с императором Александром I.

«Не смея ни с кем говорить доселе, я с ним заговорила, как с давнишним другом и обожаемым отцом! Он заговорил, и я была на седьмом небе и от ласковости этих речей, и от снисходительности к моим детским понятиям и взглядам! Я возвратилась домой такая счастливая и восторженная, рассказала мужу весь разговор с царем и умоляла устроить мне возможность ещё раз взглянуть на него, что он и исполнил. ... По городу ходили слухи, вероятно несправедливые, что будто император спрашивал, где наша квартира, и хотел сделать визит... Потом много толковали, что он сказал, что я похожа на прусскую королеву... Может быть, это сходство повлияло на расположение императора к такой неловкой и робкой тогда провинциалке! Я не была влюблена... я благоговела, я поклонялась ему!.. Этого чувства я не променяла бы ни на какие другие, потому что оно было вполне духовно и эстетично. В нем не было ни задней мысли о том, чтобы получить милости посредством благосклонного внимания царя, — ничего, ничего подобного... Все любовь чистая, бескорыстная, довольная сама собой!»

Известно, что император Александром I стал крестным отцом первой дочери А. Керн, Екатерины.

Анна Петровна впервые приехала в Петербург в 1819 г., где была представлена своей тетке Елизавете Олениной, жене Александра Оленина, видного государственного деятеля, президента Академии художеств. (Спустя много лет именно А. Керн напишет стихотворную эпитафию для надгробия А. Оленина в Александро-Невской лавре). В аристократическом салоне Олениных на набережной Фонтанки, д.101, собиралась творческая элита того времени: К. и А. Брюлловы, О. Кипренский, Н. Гнедич, В. Жуковский, Н. Карамзин, И. Крылов и др. Там и произошла ее первая встреча с Пушкиным, ставшая судьбоносной. Поэт, тогда еще не слишком известный, не произвел на Анну сильного впечатления. Об этом вечере А. П. Керн вспоминала: «За ужином Пушкин уселся с братом моим позади меня и старался обратить на себя мое внимание ластивыми возгласами, как, например: «Можно ли быть такой хорошенькой!» Потом завязался между ними шутливый разговор о том, кто грешник и кто нет, кто будет в аду и кто попадет в рай. Пушкин сказал брату: «Во всяком случае, в аду будет много хороших, там можно будет играть в шарady. Спроси у m-me Керн, хотела ли бы она попасть в ад?» Я отвечала очень серьезно и несколько сухо, что в ад не желаю. «Ну, как же ты теперь, Пушкин?» — спросил брат. «Я раздумал, — ответил поэт, — я в ад не хочу, хотя там и будут хорошенькие женщины...»

Их следующая встреча, ставшая эпохальной для русской литературы, состоялась шесть лет спустя в с. Тригорском, близ с. Михайловского — в июле 1825 г., в имении А. Осиповой, тетушки Анны. К тому моменту А. Керн стала матерью двух дочерей: Екатерины и Анны. В день отъезда Анны Петровны из Тригорского Пушкин передал ей экземпляр второй главы «Онегина», в который был вложен лист со стихотворением «Я помню чудное мгновенье...». Согласно дневникам Керн, когда она собиралась спрятать подарок в шкатулку, Пушкин пристально посмотрел на нее, выхватил листок со стихами и не хотел возвращать. «Наси́лу выпросила их опять. Что у него промелькнуло в голове, не знаю...».

Сам Пушкин так писал о своих чувствах в письме, адресованном кузине А. Керн, Анне Вульф, с которой она из Михайловского уехала в Ригу: «Каждую





ночь я гуляю в своем саду и говорю себе: здесь была она... камень, о который она споткнулась, лежит на моем столе подле увядшего гелиотропа. Наконец я много пишу стихов. Все это, если хотите, крепко похоже на любовь, но боюсь вам, что о ней и помину нет».

Переписка между Пушкиным и Керн, завязавшаяся после встречи в Тригорском, длилась около полугода. Письма А. Керн к Пушкину не сохранились, а вот Анна долгие годы берегла письма «солнца русской поэзии». В дни лишений на закате своих дней Анна Петровна вынуждена была продать дорогие сердцу письма поэта за бесценок (каждое по пять рублей).

Александр Сергеевич в письмах к А. Керн был не только сладкоречив, но и весьма остер на язык: «Вы уверяете, что я не знаю вашего характера. А какое мне до него дело? очень он мне нужен — разве у хороших женщин должен быть характер? главное — это глаза, зубы, ручки и ножки... Как поживает ваш супруг? Надеюсь, у него был основательный припадок подагры через день после вашего приезда? Если бы вы знали, какое отвращение испытываю я к этому человеку! ...Умоляю вас, божественная, пишите мне, любите меня».

А. Керн достаточно трезво рассуждала о чувствах поэта: «Живо воспринимая добро, Пушкин, однако, как мне кажется, не увлекался им в женщинах; его гораздо более очаровывало в них остроумие, блеск и внешняя красота. Кокетливое желание ему понравиться не раз привлекало внимание поэта больше, чем истинное и глубокое чувство, им внушенное... Причина того, что Пушкин скорее очаровывался блеском, нежели достоинством и простотою в характере женщин, заключалась, конечно, в его невысоком о них мнении, бывшем совершенно в духе того времени. ... Я думаю, он никого истинно не любил, кроме сестры своей да старенькой няни».

Весной 1826 г. между супругами Керн произошел разрыв, приведший к разводу. Вскоре умерла их четырехлетняя дочь Анна. А. Керн не присутствовала на похоронах, поскольку была беременна дочерью Ольгой, которая умрет в 1834 г.

В первые годы после развода Анна Керн нашла поддержку среди друзей Пушкина — поэтов А. Дельвига, Д. Веневитинова, А. Илличевского, литератора А. Никитенко. Известно, что в 1827 г. во время пребывания в Тригорском она посещала родителей Пушкина и успела «совершенно вскружить голову Льву Сергеевичу», брату поэта. Он даже посвятил ей стихотворение: «Как можно не сойти с ума, внимая вам, на вас любуюсь...»

В 1837—1838 гг. Керн проживала в Петербурге в маленьких квартирках, с единственной оставшейся в живых дочерью Екатериной. У них часто бывал Михаил Глинка, ухаживавший за Екатериной Ермолаевной. Ей он посвятил романс «Я помню чудное мгновенье...», так пушкинский опус стал адресован и дочери Анны Керн. Е. Керн впоследствии закончила Смольный институт благородных девиц и была оставлена в нем в качестве «классной дамы». Она вышла замуж за М. Шокальского и стала матерью Ю. Шокальского, известного ученого-океанографа и картографа, академика, выдающегося исследователя, именем которого названы 12 географических объектов Земли.

Последняя встреча А. Керн с А. Пушкиным состоялась незадолго до трагической гибели поэта — он навестил Анну, чтобы принести свои соболезнования в связи со смертью ее матери. Об этом Анна Петровна вспоминала с большой душевной благодарностью.

1 февраля 1837 г. А. Керн «плакала и молилась» на отпевании поэта в полумраке Конюшенной церкви. Вскоре, по просьбе родственницы из Сосниц, Д. Полторацкой, Анна стала навещать ее сына, А. Маркова-Виноградского, который учился в I-м Петербургском кадетском корпусе и доводился Анне Петровне троюродным братом. Неожиданно между ними вспыхнуло чувство. Ей было 36, а ему — 18.

Вспоминая о тех днях, Александр Марков-Виноградский поэтично и вдохновенно писал в 1850 г.: «Я помню приют любви, где мечтала обо мне моя царица, где поцелуями пропитан был воздух, где каждое дыхание ее было мыслю обо мне. Я вижу ее улыбающуюся из глубины дивана, где она поджидала меня... Когда сходил я с лестницы той квартирки, где осознал я жизнь, где была колыбель моих радостей, по мере удаления моего от заповедных дверей, грусть большее и сильнее вкрадывалась в сердце, и на последней ступеньке невольно





всплывали слезы на отуманенных глазах... Из той квартиры выходила она и медленно шла мимо окон корпуса, где я, прильнувши к стеклу, пожирал ее взглядом, улавливал воображением каждое ее движение, чтобы после, когда видение исчезнет, тешить себя упоительной мечтой! Она повернула за угол... Кончик черного вуаля мелькнул из-за угла, и нет ее... О, как жадно порывалось сердце вслед за нею... Хотелось броситься на тротуар, чтобы и след ее не истерся посторонним, казалось, и в нем была ласка, и завидовал я тротуару!.. А суббота настанет, в чаду мечты летишь по проспекту, не замечая ничего и никого, превратившись весь в желание скорее дойти до серенького домика, где ее квартира... И вот уже взгляд отличает то, к чему сквозь здания, сквозь деревья и дом... Уже обозначилось в доме окно, и она выглядывала из него, освященная заходящим солнцем... И вот поцелуй сливает нас, и мы счастливы, как боги!.. Так я царствовал в сереньком домике на Васильевском острове!.. Много, много чудных воспоминаний толпится в моей душе теперь... Но можно ли выразить все очарование происшедшего блаженства? Не сильны вы, холодные буквы!»

Закончив корпус в чине подпоручика, прослужив всего два года, Марков-Виноградский выходит в отставку и, когда умирает генерал Керн, женится на Анне в 1942 г. Они прожили вместе 40 лет в бедности и лишениях. Даже рождение у Марковых-Виноградских сына Александра в апреле 1839 г. не сменило гнев отца Анны на милость: он лишил дочь всех прав наследства. Марковы-Виноградские жили в крохотном имении Александра Васильевича в Сосницах, состоявшем из 15 душ крестьян. Этот скромный человек души не чаял в Анне: «Благодарю тебя, Господи, за то, что я женат! Без нее, моей душечки, я бы изныл, скучая. Все надоедает, кроме жены, и к ней одной я так привык, что она сделалась моей необходимостью! Какое счастье возвращаться домой! Как тепло, хорошо в ее объятьях. Нет никого лучше, чем моя жена. Семейная жизнь, освященная любовью, есть величайшее счастье — она уравнивает все несчастия наши».

В 1855 г. Александру удалось получить место в министерстве государственных имуществ, и Марковы-Виноградские переехали в Санкт-Петербург. Через десять лет Александр Васильевич по состоянию здоровья в невысоком чине коллежского асессора с маленькой пенсией оставил службу, и супруги возвратились на Черниговщину. В те годы Анна Петровна писала сестре мужа: «Бедность имеет свои радости, и нам всегда хорошо, потому что в нас много любви... может быть, при лучших обстоятельствах мы были бы менее счастливы. ... Мы, отчаявшись приобрести когда-нибудь материальное довольство, дорожим всяким моральным впечатлением и гоняемся за наслаждениями души и ловим каждую улыбку окружающего мира, чтоб обогатить себя счастьем духовным. Богачи никогда не бывают поэтами... Поэзия — богатство бедности...».

Кстати, А. Марков-Виноградский, посетив родные земли Анны, писал: «Лубны раскинулись по холмам и террасам высокого правого берега реки Сулы, впадающей в Днепр. Они замечательны ботаническим садом и казенною аптекою, заведенною Петром I. В них, кроме грязи, в которой тонут не только собаки, но и лошади и даже иногда люди — бывают такие случаи — есть и библиотека для чтения! Да и помимо этого Лубны достойны замечания по своему древнему живописному положению и прекрасному климату. Верно, тут в древности промышляли лубом, а может, как некоторые думают, любовью, и от того и город получил свое название». Уже в 2000-х годах в Лубнах почтили знаменитую землячку: улицу Котовского переименовали в ул. Анны Керн.

Супруг Анны Петровны скончался в январе 1878 г., а год спустя, 27 мая 1979 г., ушла из жизни и она. Ее свинцовый гроб привезли по железной дороге в Торжок, но до Прямухина (где был похоронен ее муж) оставалось еще несколько верст по размытому дождями проселку. Проехать туда было невозможно, и тело Анны Керн по желанию ее сына, губернского секретаря, было погребено 1 июня 1879 г. на церковно-приходском кладбище погоста Прутня (ныне Новоторжского района Тверской области) — то есть на погосте Львовых, рядом с могилой ее тети Т. П. Львовой. Считают, что точное место захоронения установить невозможно, однако на кладбище есть символическое надгробие.



Евгеній Баран Ивано-Франковск

ЗОРЯНА ЩІЛЬНІСТЬ ВОЛОДИМИРА БРЮГГЕНА

До 80-літнього ювілею Самітника із вулиці Астрономічної

Початок III-го тисячоліття критик, перекладач, афорист Володимир Брюгген із Харкова розпочав досить активно. Я тільки назву ті книги, які вийшли: «Блокноти» (2001), «Блокноти» (2003), «Блокноти» (2007), «Блокноти» (2010), «Блокноти» (2012), «Лиди і книги» (2006), «Прозріння» (2008). Він є лауреатом двох літературних премій – ім. Василя Мисика та ім. Олександра Білецького. Якщо зважити, що першу літературну рецензію він опублікував у 1951 році, перша книга літературно-критичних статей під знаковою назвою «Людина творить добро» вийшла 1966 року, а членом Національної спілки письменників України Володимир Олександрович став у 1965 році, – то перед нами один із могіканів романтично-легендарної доби шістдесятництва.

Я не називаю ще перекладів, здійснених Володимиром Брюггеном, а це з французької С.-Ж. Перс (вперше вийшов українською 1995 року), а ще Л. Селін, Р. Фалле, Л. Буссенар, Ж. Верн; з англійської А. Крісті, Д. Чейз, Б. Меламуд, а ще для росіян переклав двотомник сороміцького фольклору В. Гнатюка...

Але головною книгою Володимира Олександровича Брюггена залишаються «Блокноти» – книга афористичних блискіток. Знаменно, що перша і п'ята книги цієї унікальної енциклопедії людської мудрості вийшли українською.

Володимир Брюгген належить до авторів, які зцементували мої естетичні і світоглядні принципи. Це він влучно зіронізував/сконстатував: «У житті важлива не поза, а позиція»; це він самоіронічно зауважив: «Критиків не любить ніхто, і в цьому є щось заспокійливе»; це він виголосив основне кредо літератури: «Література – професія, яка зобов'язує бути закоханим»...

Володимир Брюгген належить до авторів, яких я перечитую. Їх не багато, але й не мало. З критиків це Євшан, Шерех, Світличний, Брюгген, Ільницький. З афористів – Дмитро Арсенич, Валерій Ніколенко і знову Брюгген. До того ж, він найвіртуозніший з названих афористів. Арсеничу інколи бракувало легкості, Ніколенка зачасто роз'їдає сарказм, Брюгген залишається найоптимальнішим. Навіть банальності у вигляді Брюггена є стилістично довершені.

Так склалося, що ми знайомі вже більше десяти років. Наше знайомство довший час було заочним – листи, телефонні дзвінки. У грудні 2009-го мені пощастило відвідати Харків. І одним з найкращих вражень було спілкування із Володимиром Брюггеном. Це не означає, що Брюгген лагідний і відкритий до всіх. Але він уміє бути вдячним другом. Брюгген належить до людей, які є ворогами побуту. Але він уміє створити комфорт для людей, які йому симпатичні. Він уміє бути поблажливим до них.

Його любов до Харкова фантастична. Про кожную вулицю в Харкові, про кожний будинок у центрі Харкова він розповідає із юнацьким захопленням і закоханістю. Я не знаю, чи знає Харків найзакоханішого у нього письменника?

Брюггена-критика відзначає такт, вираженість, логічність і аргументація. Його приятелями були Ігор Муратов і Роберт Третяков. З ним любив розмовляти Василь Мисик. Його друзями залишаються Іван Драч, Іван Дзюба і Юрій Щербак.

Цей письменник є феноменальний у своїй любові до життя. Цей мислитель є феноменальний у своєму розумінні світу людей. Цей чоловік найбільше любить споглядати природу і мандрувати. Він є зятим велосипедистом. Нарешті, він є тим унікальним творцем власного світу, небайдужим до інших, який все життя висвічував талант інших. І як такий Володимир Брюгген для мене є взірцевим у ставленні до літератури і до життя. За що йому вдячний і з чим його вітаю.





Станислав Минаков

Харьков

Харьков как Антиохия

Антон Чехов в одном из итальянских писем выдал такую сентенцию: «Рим похож в общем на Харьков». Кое-кто волен полагать, что тем самым этот иронический человек «понизил» Рим, и фраза его родственна восклицанию Раневской «Париж — как это провинциально!», однако мне, со своего десятого, последнего этажа, откуда Харьков виден, как на ладони, вольно вывернуть чеховскую мысль наизнанку, подобно перчатке: Харьков, лежащий на холмах, похож на Рим!

Мы ищем соответствий не то чтобы для возвышения, а для понимания природы, дабы составить из подобий внешнее, а там, глядишь, и внутрь удастся пронырнуть. Когда мы в 2002 г. прогуливались по Харькову с Александром Кушнером, поэт отметил, что столица Слобожанщины весьма схожа с Питером, — наличием небольших рек, мостов, а также неоклассицизмом старого центра, привитого семейством архитекторов Бекетовых. Впечатление А. Кушнера отчасти подтверждает дореволюционная надпись на фризе одного из бекетовских домов: «Петербургский международный коммерческий банк». Харьков стал побратимом Петербурга в 2004 г., году празднования 350-летия Харькова и 300-летия Питера. Мог ли я не порадовать поэта рассказом о том, что в Харькове некогда имелся Васильевский остров! Ныне, правда, несуществующий, поскольку одна из речек пущена в подземную трубу.

«Харьков смотрится ничуть не хуже, к примеру, Милана или Мюнхена», — уверяет исконный харьковец Юрий Милославский, глядя то из Нью-Йорка, то из Монреаля, или прохаживаясь по харьковским улицам, убеждая нас в наличии здешнего «фирменного» архитектурного коктейля, уверяя, что некоторые улицы Харькова буквально целиком, в хорошем смысле слова, музейны, антикварны, тут тебе и «модерн», и «арт-деко», и конструктивизм, и купеческие двухэтажки александровских времен, и вся эта прекрасная «бекетовщина»...

Одному моему знакомцу Харьков напоминает Москву — тем, что тоже похож на комод, в котором вещи растыканы в случайном, безсистемном порядке.

И хотя у того же Чехова в «Скучной истории» герои обмениваются невеселыми репликами: «Не нравится мне Харьков... Серо уж очень. Какой-то серый город. — Да, пожалуй... Некрасивый...», однако у Бунина в «Жизни Арсеньева» воздух Харькова импрессионистичен и волнующ: «В Харькове я попал в совершенно новый для меня мир. <...> И вот первое, что поразило меня в Харькове: мягкость воздуха и то, что света в нём было больше, чем у нас. Я вышел из вокзала, сел в извозчицьи сани, — извозчики, оказалось, ездили тут парой, с глухарями-бубенчиками, и разговаривали друг с другом на «вы», — оглянувшись вокруг и сразу почувствовал во всем что-то не совсем наше, более мягкое и светлое, даже как будто весеннее. И здесь было свежо и бело, но белизна была какая-то иная, приятно слепящая. Солнца не было, но света было много, больше, во всяком случае, чем полагалось для декабря, и его теплое присутствие за облаками обещало что-то очень хорошее».

Что бы ни говорили, Харьков насквозь литературен, поэтичен.

Лиля Брик в письме 1921 г. просила Маяковского: «Не изменяй мне в Харькове!»

Широко известен мемуар Мариенгофа, как «Есенин вывез из Харькова нежное чувство к восемнадцатилетней девушке с библейскими глазами. Девушка любила поэзию. На выпряженной таратайке, стоящей среди маленького круглого двора, просиживали они от раннего вечера до зари. Девушка глядела на луну, а Есенин в ее библейские глаза. Толковали о преимуществах неполной рифмы перед точной, о неприличии пользоваться глагольной, о барабанности составной и приятности усеченной. Есенину невозможно нравилось, что девушка с библейскими глазами вместо «рифмы» — произносила «рыфма». Он стал даже ласково называть ее: — Рыфмочка».

Харьков — это и два Бориса русской поэзии, Слуцкий и Чичибабин. Остался





чудесный десяток стихов Слуцкого о Харькове, но пока процитируем пророческие строки Чичибабина, кажется, в последние 20 лет воплощающиеся в абсурдную действительность:

*Не будет нам крова в Харькове,
Где с боем часы стенные.
А будет нам кровохарканье,
Вражда и неврастения...*

И нельзя сказать, что провидение поэта совсем уж далеко от вибрирующего впечатления, мелькнувшего за полвека до этого у М. Булгакова, в романе «Мастер и Маргарита»: «Кроме котов, некоторые незначительные неприятности постигли кое-кого из людей. Произошло несколько арестов. В числе других задержанными на короткое время оказались: в Ленинграде — граждане Вольман и Вольпер, в Саратове, Киеве и Харькове — трое Володиных, в Казани — Волох, а в Пензе, и уже совершенно неизвестно почему, — кандидат химических наук Ветчинкевич».

Но еще до того у Булгакова, в «Белой гвардии», Лариосик является харьковским студентом. А в «Преступлении и наказании» адрес старушки-процентщицы Алены Ивановны Родиону Раскольникову дает харьковский студент Покорев. И ведь вряд ли о них оформилось катаевское выражение «полузабытая фигура харьковского дурака».

Образ Харькова-ученого утвердился, однако что до Харьковского университета, ставшего отправной точкой роста и сияния Харькова, то для Пушкина он «не стоил курской ресторации», о чем «наше всё» шутливо, но и едко черкнуло в «Путешествии в Арзрум».

Харьков категорически русско-литературен: и рифма в нем, как ни странно, жива, да и, пожалуй, «рыфмочка». И сегодня он является одной из признанных столиц русской поэзии, кое-кто полагает, что третьей, наряду с Питером и Москвой.

И отправной точкой разговора о Харькове вообще — чаще всего становится русская литература.

Тем не менее, Пушкин отправился на Кавказ через Курск, а в Харькове на памятнике основателю университета Василию Каразину из литых букв собрана кумулятивная фраза: «Блажен уже стократно, ежели случай поставил меня в возможность сделать малейшее добро любезной моей Украине, которой пользы столь тесно сопряжены с пользами исполинской России». В нынешней Украине, увы, достанет сил, желающих срезать окончание фразы. Мы же можем только восхититься этими скрижальными формулировками, ставшими девизом для многих поколений харьковчан.

Утвердившись более всего за счет университета, учрежденного по указу Государя Александра I одновременно с Казанским в 1804 г., Харьков пришел к нашим дням мощным цивилизационным сгустком (хотя годы так называемой незалежности сильно пошатнули как его научно-промышленный, так и культурный потенциал).

Несколько раз ездил в столицу к Императору с ходатайством об учреждении университета харьковский городской голова Егор Урюпин, который из-за конфликта с губернатором даже в сумасшедший дом (Сабурову дачу) был упечен (но победил-таки!). А идея университета в Харькове принадлежала Василию Каразину, первому его ректору, резонно впоследствии заметившему: «Я смею думать, что губерния наша предназначена разлить вокруг себя чувство изящности и просвещения. Она может быть для России то, что Древние Афины для Греции».

Этот посыл подхватил в наши дни писатель Ю. Г. Милославский, введший в обиход термин «Харьковская цивилизация», что и зафиксировано в ряде наших с ним апологетических публикаций, некоторые из которых, так случилось, построены диалогическим образом, подобно древнегреческим литературно-философским беседам.

«Харьковчане, — все же, правильное будет — харьковцы, — слишком привыкли к уникальности своего города, — говорит Ю. Милославский, — Между тем я,





грешный, считаю, что существует не просто харьковский культурно-поведенческий стандарт (как парижский, одесский, нью-йоркский, старо-московский) и даже не только харьковский этнокультурный тип (т.е. почитай, есть такая «национальность»: харьковец-харьковчанин). Полагаю, что о Харькове можно говорить как о своеобразной, самодостаточной цивилизационной системе. В этом смысле наш город можно уподобить древней Антиохии, античным и средневековым городам-государствам».

Припомним: Антиохия была третьим по величине городом Римской империи после Рима и Александрии. Новый Завет гласит, что последователи Христа впервые начали называться христианами именно в Антиохии. Тут родились Евангелист Лука и Иоанн Златоуст.

Стояние в вере столь же несомненно присуще харьковчанам, как и «чувство изящности и просвещения». Сюда, к своей родной сестрице Прасковье Андреевне Горленко, в замужестве Квитке, приезжал в Основьянское имение святитель Иоасаф Белгородский, 100-летие прославления коего отмечено в сентябре 2011 г.

В сущности, дом в Харькове, в котором я живу уже четверть века, находится на территории бывшей усадьбы писателя, помещика Квитки-Основьяненко, сохранившей до наших дней лишь одно строение (подотдел УВД) и парк на берегу речки Уды.

Духовная преемственность не пресеклась в городе служения святителей Мелетия, архиепископа Харьковского и Ахтырского, и Афанасия, Лубенского чудотворца, в городе, где издавался на рубеже XIX-XX вв. уникальный религиозно-философский журнал «Вера и разум» (в котором публиковались лучшие умы русского богословия, философии), где служили митрополит Антоний Храповицкий и протоиерей Николай Стеллецкий (взят как заложник и зверски разрублен на куски в июле 1919 г. в Сумах, изувером харьковского ЧК Саенко — не путать с «подростком Савенко»), где окормляли народ харьковские отцы-священномученики второй половины 1930-х, прославленные теперь в Соборе новомучеников Слободского края.

Митрополит Антоний оказался в шаге от избрания его на возрождавшийся Патриарший престол, а в годы послереволюционной смуты возглавил Русскую Православную Церковь Зарубежья. Духовным учеником владыки был уроженец Харьковщины, молодой выпускник юридического факультета Харьковского университета Максим Максимович, прославленный в 1994 г. как Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский, новых времен чудотворец, осенивший своим подвижничеством несколько континентов.

Воистину небезоснователен Умберто Эко, описывающий в «Маятнике Фуко» некоего героя, который в 1902 г. «пускает гулять по Парижу загадочное обращение к французам с призывом поддержать Патриотическую Русскую Лигу, основанную в Харькове».

Так бывает в современной жизни: диалог начинается как виртуальный, электронно-почтовый, а потом, слово за слово, собеседники обнаруживают, что, беседуя через океан, приходят к формулированию фундаментальных основ собственного бытия. Перебрасывая шарик словесно-умственного пинг-понга из Нью-Йорка в Харьков и обратно, мы с Ю. Г. Милославским задумались о ментально-исторической общности, характерной для Харькова. О том, что Харьков издавна является носителем уникальной совокупности культурных особенностей, порожденных особыми историческими и отчасти геополитическими обстоятельствами.

При внимательном рассмотрении выяснилось, что Харьков вообще является сильным центром стягивания больших пространств и энергий, что в «харьковскую парадигму» вовлечены многие города и страны, с которыми связали судьбу уроженцы Харьковщины. Большое число известных деятелей, в частности Русского мира (мыслителей, писателей, священства, воинства), приложившихся к поприщу «Харьковской цивилизации», оставило в жизни города внятный след, и настал пора осмыслить место Харькова в «мировом раскладе». Назовем — для улады — еще несколько имен. Мыслителя Григория Сковороду, коего, как помним, «мир ловил, но не поймал». Из здешних мест — лингвист





Потебня и биолог-нобелиант Мечников. Отсюда «мир-искусники» — ученик А. Архипова и К. Коровина Александр Шевченко, а также Зинаида Серебрякова, ветка от семьи Лансере-Бенуа; здесь на Сабуровой даче Всеволод Гаршин породил свой «Красный цветок», тут же скрывали от мобилизации то в Белую, то в Красную армию Велимира Хлебникова. В Харькове жил и сочинял обэриут Александр Введенский. Тут Чайковскому сделали лучший его фотопортрет. Не забудем и о харьковце графе Ф. А. Келлере — единственном из российского высшего генералитета сохранившем верность Царю в смуте 1917 г.

Завершая введение в краткую апологию Харькова, скажем: место Харькова на карте русской культуры носит характер системообразующий. Бесспорно, Харьков и сегодня остается градом не случайным, не статистом, а делателем в общем пространстве Русской, а значит и мировой цивилизации.

Лопахин в «Вишневом саде» восклицает: «А я в Харьков уезжаю сейчас... вот с этим поездом». Отправимся и мы.

Автор благодарит Андрея Краснящих за изыскания цитат о Харькове из произведений русских писателей.

Александр Приймак

Письмо в «подземное царство»... и поверх него

«О чудовищная неблагоприятность:
Маяковскому, Хлебникову...
Ахматовой, Гумилёву...
Ведь все они русские поэты
не на вчера, не на сегодня,
а навсегда»
(Осип Мандельштам)

«Я встречал людей, которые
говорили мне, что они не любят
Маяковского. И мне жаль их.
В чём-то эти люди неполноценные»
(Роберт Рождественский)

Отчего, почему?»

Написать письмо в «подземное царство» побудил меня Мирошниченко Анатолий Михайлович (МАМ, он же - Автор). Который написал статью в журнале «Славянин» № 1 за 2010 год: «Размышления на берегах Леты». А вскоре МАМ опубликовал практически тот же материал и на сайте издательства «Добрыни» (http://dobryni.com.ua/publ/razmyshlenija_na_beregu_lety/1-1-0-7).

Решил, видимо, «отсалютовать». — Что, мол, не зря занимает он в «Славянине» кресло редактора в отделе поэзии.

МАМ берёт на себя немалую смелость — судить, да, притом, восседая на берегу реки Леты. — Претенциозно, весьма!.. Прям, «витязь»... Но не будем спешить давать окончательные определения. Попробуем разобраться по порядку.

Для начала — в отношении Леты. Поскольку это — река в подземном царстве, то выходит, Автор добровольно зарывает себя под землю — вместе с друзьями, реальными «мертвяками». — Смело! — Чтoб не сказать больше...





Вообще-то во всём, в том числе, славянском, мире – об ушедших в мир иной – принято говорить либо хорошо, либо никак.

Но – хорошо, очевидно, не может, а никак – тоже «что-то где-то» не даёт. И пытается Автор пойти «третьим» путём.

А ведь христианская мораль, на которую так уповаet МАМ, предупреждала:
- Не суди, да не судим будешь!

Ослушался её Анатолий...

И поднял руку на Маяковского. Который сам уже не сможет ему ответить. Налицо – макиавелиевско-сталинский цинизм, однако!..

Хотя, ещё начиная со школы и ещё долгие годы, МАМ «стал поклонником его (Маяковского) творчества», «писал сочинения по мотивам поэм «Владимир Ильич Ленин» и «Хорошо!».

А теперь, выходит, что предал МАМ того, кому «как бы» поклонялся десятилетиями...

«С ХОЛМА (здесь и далее – выделенные мною слова принадлежат МАМ) прожитых лет» новоиспечённый редактор позволяет себе добить ... давно умершего.

А заодно – «стравить» того с Есениным, умершим ещё раньше... «Об этом... позже и подробнее».

Анатолий утверждает, что Маяковский погружается в тень забвения. – Ой ли!

Похоже, что, благодаря хотя бы таким, как «наш» Автор, Владимир Владимирович ещё долго не будет давать покоя... Именно оттого, что в творчестве Маяковского есть то, что не даёт покоя. – И бездарям, и людям талантливым.

Одни будут выискивать «соринки в глазу» Поэта. Другие – вместе с ним глядеть на звёзды:

*«Если бы я
 поэтом не был,
я б
 стал бы
 звездочетом...»*

Несколько забегая наперёд, напомним, что писали о Маяковском профессионалы:

«В родстве с поэзией Маяковского великолепие Державина, нагая простота поэзии Пушкина, железный стих Лермонтова, гражданственное служение Некрасова, фантастика и сатира Гоголя и Щедрина, доброта и жесткость Чехова, чеканка Брюсова, рыцарство Блока (50).

Верно сказал Владимир Луговской: не надо завешивать Маяковского занавесом из агиток и плакатов. Гул его поэзии – всегда о великом. С солнцем он говорит, как с человеком, а в человеке открывает солнце.

«Я внимательно и не спеша перечитал» всё произведенное Автором «из подземелья» на могилу Гения, умерщвлённого восемьдесят лет тому...

И хотя, или скорее – нехотя, первый вынужден признать второго – «разбираемого» первым - всё же «классиком русской литературы».

И, видно, чётко осознавая это, МАМ небезосновательно предвидел «бурю возмущений, обличений, обвинений и (даже) оскорблений в свой адрес после публикации этого эссе».

Определимся с жанром...

Кстати, несколько слов об эссе, как жанре. Словари трактуют эссе, как жанр философской, эстетической, литературно-критической, художественной, публицистической литературы, сочетающей индивидуальную позицию автора с непринуждённым, часто парадоксальным изложением, ориентированным на разговорную речь (1).

Философией тут и «не пахнет». Эстетикой – также (извращениям некрофилии не симпатизируем). «Художественной» ли, «литературно-критической» ли – назвать это также сложно.

Ибо уже вполне ясно, что, во-первых, Автор, мягко скажем так, перебежчик. Значит, скорее всего, его жанр тут – донос. «Значит, это кому-то нужно» - полагает он.

Одному – звёзды в небесах, другому – на погонах...

Во-вторых, как мы ещё покажем, цитаты Автором подвёрстываются на-



меренно «кастрированные». А «как бы» комментарий даётся всегда исключительно его же: как будто до него никто ничего о данном предмете не писал. Хотя и это далеко не отвечает истине.

Так, ничего по существу не противопоставив ни А.М.Горькому, на которого ссылается А.И. Метченко, ни Межелайтису, «наш пострел» голословно утверждает: «...Думаю(?), что трезвомыслящие (?!) читатели, одолевшие правдинский двухтомник Маяковского, поймут абсурдность утверждений Межелайтиса и Метченко (?)...».

Позвольте, а что, если я, став редактором, напишу в «своём» издании, что Мирошниченко А. М. – агент Москвы или ФСБ, то, что же – и мне, как и ему, – надо просто поверить на слово?!

Несколько слов по поводу навязчивой мысли Автора о «трезвомыслящих (?!) читателях». – Как говорится, «у кого что болит...», или – «С пьяной головы на здоровую»?

Итак, наш очередной вывод относительно статьи МАМ таков. Честным критическим анализом тут также не «пахнет».

А чего стоят такие до боли знакомые «штампы» партийно-официозной советской прессы. Вот их образчики: «с холма прожитых лет»(!); «человек мира Давил Давидович Бурлюк (позже ‘слинявший’(!) в Японию»; «...поражают обилием обличительной грязи» - как будто вообще возможна «обличительная...чистота»; «Учился Маяковский из рук вон плохо» (мы покажем, что это ещё и неправда); «За примерами не надо далеко ходить...»;

«...и «не пахнет»; «Комментарии, как говорится, излишни»; «...прожжёному космополиту»; «Невозможно поверить, чтобы...»; «Похоже, что их злодеяния с точки зрения Маяковского оправданы...» (так у МАМ); «...пустился во все тяжкие»; «песни с чужого голоса»; «не вызывает у меня ни малейшего сомнения»; «священной... короной»; «Будем верны истине» (так ли? - ПАИ)...

Отдельно отметим пустопорожние выражения, способные убедить разве что самого Автора. Вот они: «очевидные факты»; ««Облако в штанах» сплошное (?) ...богохульство»; «Точно такая же(??) поэма «Война и мир»(так в тексте МАМ); «Может ли поэт с нормальной психикой написать такие кошунственные стихи?» (ну вообще-то «нормой» являются стишки «гладкописи», а у гениев они, безусловно отходят от этой «нормы» - неплохо бы Автору почитать, например, многочисленную литературу на тему «Гений и безумие»); «Может ли нормальный писатель преподносить читателям свои вопиющие недостатки в качестве своих выдающихся достоинств?»

(Ну вот преподносит же МАМ ...).

И далее в таком же стиле: «они, как семена сорняков, рассыпаны» по этому сочинению Автора.

Например: «Невозможно поверить (а Вы бы хоть каких-то доказательств наскребли, когда в очередной раз пытаетесь похоронить Гения! - ПАИ) чтобы Маяковский, ...не знал подробностей... о расстреле в 1921 году выдающегося русского поэта Николая Гумилёва.

На самом деле до сих пор точно не установлена роль Гумилёва в подготовке очередного восстания против советской власти, хотя он и не скрывал, что является монархистом по убеждениям. А вот, что свидетельствуют люди, знавшие об этом не понаслышке. Из интервью со Светланой Стрижневой, директором Центрального музея В.В.Маяковского в Москве: Загадки в деле Маяковского еще остались:

«Много было историй с арестами и в первые годы революции, и в последующие. Все знают об аресте Гумилева. Эта история и для самого Маяковского была очень трудной, он пытался заступиться (! – ПАИ) за Гумилева, но опоздал со своим ходатайством»...

Но для «нашего» Автора «наведение тени на плетень» - дело привычное. И он продолжает свой пасквиль: «Он несомненно был осведомлён...»; «Похоже, что их злодеяния с точки зрения Маяковского оправданы...(так в пасквиле, готовившемся целый год!); «не вызывает у меня ни малейшего сомнения...» (да, изредка встречаются и такие особи...)

А вот что писал таким «несомневающимся» Маяковский:





«Уходите, мысли, восвояси.
Обнимись,
души и моря глубь.
Тот,
кто постоянно ясен,-
тот,
по-моему,
просто глуп».

И, наконец, «вершина» холма им. Мирошниченко, выдающая его, как говорится, с головой. Это его заключительные «вводные»: «... пора делать оргвыводы». Вот это-то и есть сермяжная правда о нутре Автора. И это тот самый, «кондовый», видимо, до сих пор не выкорчеванный из глубин подсознания, увы, штатного оплёвывателя гения Маяковского, стиль – партийных и цеховых собраний по разоблачению как бы «врагов народа».

То есть, в который раз, как бы борясь с наследием сталинизма, МАМ вновь и вновь бьётся о те же грабли!

Так что и художественным эссе тут даже не пахнет.

А пахнет иным – попыткой доноса на почившего вечном сном кумира.

Следовательно, с горем пополам сию работёнку можно признать лишь публицистической разновидностью эссе. «Холм» родил... мышь!

Напомним, что «Публицистика – отрасль литературы, освещающая вопросы политики (!) и общественной жизни...».

А ведь, пожалуй, А.М.Мирошниченко хотелось бы претендовать на что-то иное, нежели политический донос. Притом – на физически давно мёртвого льва – классика русской и мировой литературы!

Ну-с, с «жанром» уже определились.

Не первая попытка...

Теперь обратим внимание на то, что МАМ отнюдь не первый пытается очернить Маяковского. Юрий Карабчиевский тоже был не первый. Но он, по крайней мере, посвятил этому целую книгу (44). Впрочем, что объединяет обоих критиков, так это то, что оба начинали то ли с почитания, как у МАМ, то ли даже, казалось, с неумной любви, как у Карабчиевского.

Оба Автора, очевидно, цитировали то, что им было нужно. Потому из всего Маяковского оба выбрали самые плоские, самые натужные, самые бездарные строки (4, стр.50). Обоим вольно или невольно оппонирует Б. Сарнов: «В стихах, запомнившихся мне совсем другой Маяковский».

Прежде всего – это очень несчастный человек. Бесконечно уязвимый, постоянно испытывающий жгучую боль... одинокий, страдающий. Главные чувства...- огромная жажда ласки, любви, простого человеческого сочувствия.

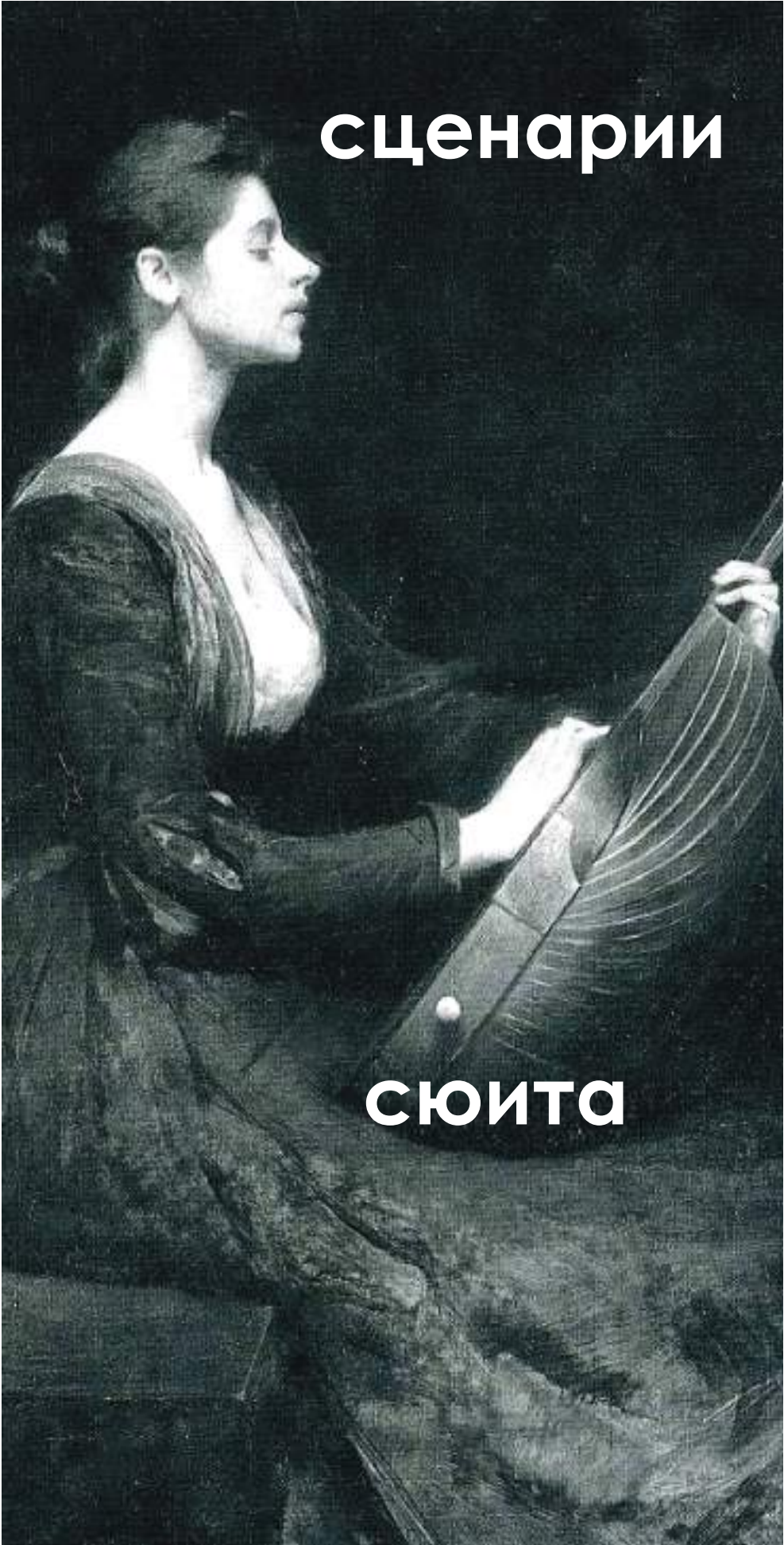
Б. Сарнову вторит Р. Яковсон, хорошо знавший Маяковского:

«Он был очень тяжёлый и глубоко несчастный человек, это чувствовалось. У него было действительно какое-то вечное отрочество, какое-то недожитое созревание...»

Маяковский был лириком больших полотен, и он действительно верил, что будет все время возвращаться к лирике...

Но он сломался. Сломался он, я думаю, в год встречи с Татьяной Яковлевой... а они возьми и влюбись, и так серьёзно. А это было в момент, когда ему стало жить одному уже совершенно невтерпёж, и когда ему нужно было что-то переменить».

Продолжение следует.



сценарии

сюита



Богдан Ант

3



СЦЕНАРИИ

Богдан Ант

Харьков

И С ВЕЧНОСТЬЮ НА РАВНЫХ ГОВОРЮ

(Сценарий музыкально-поэтической композиции к 10-й годовщине со дня смерти Сергея Черняева. Исполнена 11 мая 2012 г. на Вечере памяти С. Черняева в Харьковском отделении НСП Украины)

Стихи Сергея Черняева исполняют:

Виталий Ковальчук

Екатерина Погребная

Инна Олейник

Макс Самокиш

Богдан Ант

Свои песни на стихи С. Черняева исполняет Алексей Воронько (гитара).

Музыкальное сопровождение – Леся Кофанова (флейта).

Слова автора – Богдан Ант.

Богдан Ант:

все познано в живом единстве мной
и в сердце принято – надежней нет оплота
и даже если дрогнет шар земной
то это будет лишь предчувствие полета

Леся Кофанова: флейта

Богдан Ант (на фоне флейты):

ОСЕННИЙ БАЛЕТ

Гудят под ветром клены как куранты
Снует листвы безликая толпа
Как томно осень встала на пуанты
В стремительном и страстном па

Трагичен дух осеннего балета
Но он как маг со смертного одра
Срывает умирающее лето
Шепча что жизнь и смерть – одна игра

(Флейта смолкает).

Поэзия Сергея Черняева – это исследование окружающего мира в творческой лаборатории духа. Это изучение взаимодействий мира видимого и невидимого, находящегося за гранью чувственных отражений и интеллектуальных построений, выше земного бытия, – мира, поиск путей к которому и составляет основное содержание лирики поэта.





Инна Олейник:

ЛИТАНИЯ

взываю к горней милости Твоей
из мигнов дней веков миллионлетий
приблизь меня ко глубине из глубей –
сомнению во всем что есть на свете

низринь меня в нее и воскружи
и если я свою сломаю выю
то может быть за всю земную жизнь
с собою – падшим – примирюсь впервые

но если я преодолею ту глубину
стрелой Твоей в неслыханном полете –
я разметаю мировую мглу
почиющую в духе и во плоти

и вопрошу Тебя – испепели
мои грехи развеи по ветру золы
и проведи меня путями всей земли
к предвечному небесному престолу.

Таково было духовное кредо поэта, тонкого лирика, обладавшего острым восприятием безобразия нашей эпохи. Как эзотерик, он знал ее имя – Кали-Юга – эпоха разврата и духовного падения человечества. Он знал, в каком мире он живет, и неприятие окружающего непотребства, в сочетании с осознанием своей причастности к миру и человечеству, и стало стержнем того внутреннего конфликта, в борьбе с которым закалялся меч воина духа и крест распятого сына человеческого.

Виталий Ковальчук:

ГОЛГОФА

ливанский кедр поднял Тебя в зенит
земных страстей и самобичеваний
но слуха Твоего не осквернит
постыдный гул и рокот богобрани

последней судорогой сдавлены персты
мятется плоть и скорбно алчет гроба
в предчувствии разверстой пустоты
затмился взор от боли и озноба

пробил Твой час и вот толпа нема
свершается чудовищная треба
едва-едва – Эли Эли лама
асахвани – и только небо небо

Леся Кофанова: флейта

Виталий Ковальчук (вступает после того, как флейта смолкает):

ДРЕВНЯЯ ПАМЯТЬ

Я знаю как листья поют на ветру
Как сумерки пахнут луной
Как мартовский хмель скользит по нутру
И соков солнечный зной





На поднебесья крутых берегах
Сны и мудрей и древней
Все мы – деревья но только в бегах
С тех пор как лишились корней

Мытарствами нашими бредят ручьи
А совы пугают совят
Но если отыщем мы корни свои
Они нас благословят

С нас же довольно надежд и борьбы
И стоя на кромке миров
Мы просим у домохозяйки-судьбы
Савана катастроф

Богдан Ант:

АМАЛЬГАМА

Тютюнового диму рій
у зіниць стуманілому люстрі.
Правил жодних – в одвічній грі,
де перо, як і ніж, златоусті.
Наша плоть, мов живий палімпсест,
на якому перстом незримим
Деміург епігонствує. Все,
що накоїв він – образи й рими,
од котрих злостивий зоїл,
чи гаспид, впадає у кому.
Словеса всіх пророцтв – нічії
і не зрозумілі нікому.
Вже гімн полиновій зорі
творює зацькований геній.
Тютюнового диму рій
розтинає навпіл легені.
І ладан у горлі гірчить,
і душа спізнає, мов огуду,
що вічність коротша за мить
для свідків останнього суду.

На этом фоне глубокого осознания плачевного состояния мира, впавшего в кому, было суждено жить и творить тому, кто имел все основания называть себя человеком, хотя и не в рамках того размытого и неумытого понятия, которое это слово приобрело в его эпоху. Но смысл жизни поэт видел, как и заповедано Великими Учителями человечества – Махатмами Востока, в гармонии жизни неба и жизни земли.

Сергей не боялся смерти. Что есть смерть для человека, знающего, что он – лишь одно из воплощений своего вечного духа? Не более, чем смена одежды. Надо было лишь использовать данное тебе время для полнейшего изучения жизни здесь, на этой запущенной планете. Он начал с азов. Он начал с любви.

Инна Олейник:

К СВЕТЛОМУ ГРАДУ

я в лике Богоматери узнал
твои черты, себя – в небесном чаде
чьи солнечно лучащиеся пряди
терновый гребень ветра расчесал





и каждый волос как бы ни был мал
стезею стал и к скорби и к отраде
для путников с мечтой о Светлом Граде
в ком ключ любви живой затрепетал

мы – в их числе и два надмирных лика
влекут наш дух к себе равновелико
как древле так и сонмы лет спустя
мы – у черты и выбор наш не труден
шагни вперед – и нас уже не будет
останутся лишь Матерь и Дитя

Богдан Ант:

ПИГМАЛИОН

Подснежники в руках ее нежней
Чем утреннего солнца поцелуи
И ей как жрице а не как жене
Он нес цветы заведомо ревнуя

К тем девственным и трепетным лучам
Которые с росой на губы лягут
И вдруг открыл что втайне жаждет сам
Не ласк ее а лишь сердечных тягот

Екатерина Погребная:

ХОРОВОД ДЛЯ ДВОИХ

Почти сумасшествие – всё невесомей
Становится плоть превращаясь в пунктир
Жестов и кажется что хромосомы
Жадно заглатывают эфир

Сердце от пульса отмежевавшись
Звёздной токкатой увлечено
Так баритон связки порвавший
Икаром выбрасывается в окно

Ангел ли в мыслях моих верховодит
Бьёт ли чечётку неистовый бес –
Голосом кровью стихов половодьем
Рвётся душа навстречу тебе

Чтоб за чертой где тела и тени
Мир замыкают в свой хоровод
Устало обнять твои колени
И не почувствовать ничего.

Алексей Воронько:

Песня на стихотворение К ТЕБЕ

К тебе – сквозь черемух ладан
И звезд голубую стынь,
К тебе – обжигая прохладой
Горячечный лоб и персты,





К тебе – как бог, бесприютен
И грешен, как мытарь, тоской,
К тебе – доверяясь минуте,
На вечность махнув рукой,

К тебе – как забытому чуду,
Храму без прежних святынь
Я больше спешить не буду.
Маршрут изменен. Аминь!

Макс Самокиш:

НЕПРИКАЯННОСТЬ

Взирают звезды на салют черемух,
Луна в небес ныряет полынью.
В глазах твоих, родных и незнакомых,
Все реже сам себя я узнаю.

Не веря зеркалам с их буквоедством,
Я все дороги свел к извечным трем
И ныне втайне горд своим соседством
С погостом, кабаком, монастырем.

Мне пьяный смех милее благовеста,
Я навсегда в размолвке с тишиной,
А ты в себе замкнулась, как невеста,
Избраннику не ставшая женой.

В душе дождит которую неделю,
По телу бродят то озноб, то дрожь,
Но ангелы спасают от похмелья,
А бесы снова тянут на кутеж.

Начав свое исследование земной любви с обращения к любимой: «Обнять бы тебя, как икону окладом...», поэт заканчивает холодящей кровью констатацией: «Ты смотришь мне в сердце, как мертворожденный ребенок, который внезапно воскрес...». Этот вывод снимает все вопросы, как и иллюзорную надежду отыскать на Земле высшее проявление любви, свободной от эгоистических мотивов, закрепощающих дух в темнице самости, которая рассматривает все вокруг, и любовь в том числе, с точки зрения приобретения новой собственности, порабощения объекта любви путем превращения его в фантом своей души, неотъемлемый от нее.

Я хорошо помню слова Сергея, сказанные им незадолго до смерти: «Я вижу себя среди фантомов, которые играют по правилам, смысла в которых я не вижу».

Так любовь, как и многие другие темы жизни, стали рассматриваться потом в контексте тем вселенской игры и сиротства творца.

Богдан Ант:

ОФЕЛИЯ

Когда представляю, как ты, поглупев, постарев,
Придешь на порог мой рассеять тоску свою,
Мне хочется бросить пить и петь нараспев
Акафисты времени и своему чутью.
Я слишком много пойму по влажным глазам,
Теперь – помутневшим, а раньше – под стать хрустально.
Но ты опять позабудешь, что вместо «сезам»
Нужно сказать волшебное слово «люблю».





В те годы, когда я был молод, а ты хороша,
Словно Офелия, в акте и жесте любом,
Картой на стол игральный ложилась душа,
И не без азарта на кон выставлялась любовь.
За нас каждый шаг просчитывал бойко Шекспир,
И был он трехлик – актер, драматург и крупье.
На сцене же мы появлялись: я наг, как сатир,
А ты, как гетера, в одном нижнем белье.
Сколько тебя не фальшивить я заклинал,
Уличив в отсебятине – худшем из видов лжи,
Но ты, ожидая оваций, срывала финал,
Скрываясь не за кулисы – за миражи.
И каждый твой новый любовник, как херувим,
Казался тебе причастным к сферам иным,
Но, выйдя в открытое море твоей любви,
Он возвращался в надежную пристань жены.
Пожалуй, забудем обиды, ведь, как ни гори,
Скоро получим билеты в царство теней.
Вечность смывает с лица неудавшийся грим
И ворожит над посмертной маской твоей.

Алексей Воронько:

Песня на стихотворение ВЕЧНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ

Мне ясен мой жребий и я не вправе
Глядя в глаза где любовь – игра
Не слышать того как шепчут Ave
Magia твои паладины-ветра

Мне троеперстием лба коснуться
Святотатственно лишь оттого
Что образ твой из-под пера у д'Аннунцио
Вышел как гениальный подвох

Мне справиться с ним по силам ли нет ли
Но крылья в осаду берет простыня
Душа надевает лунные петли
На спицы полночные скуку гоня

Мне стало претить корифеев наследье
Как особняк из одних анфилад
Откуда сегодня ты выйдешь последней
В наш опустевший Эдемский сад

Богдан Ант:

ТЕОРЕМА

Если бы мне Господь подарил незрячесть,
Взгляд на тебя не грозил бы поэту плахой.
Теперь же, как в панцирь, все чаще в стихи я прячусь
Эдакой лингвистической черепахой.
Есть в красоте твоей скрытое вероломство,
Хотя бы в том, что, принадлежа другому,
Кажешься общедоступной – не дай бог потомству
Беспечно заглядывать в этот бездонный омут.
Уверен, не мир спасать ей от всякой блажи,
Скорее души губить нарочитым соблазном.
Мы говорим в унисон, но что ни скажешь –
Итог одинаков: мыслим всегда о разном.





Мне ли пытаться навесить ярлык «наваждение»,
Словно безвкусный кулон, тебе на шею,
Если я сам ото сна отличаю бденье
Лишь по тому, что к тебе прикоснуться смею.
Иногда бы, как мавр, задушил и тебя и музу,
Понимая что обе – фригидны, а значит, стервы.
Но скрипнешь зубами, карандаша огузок
Прикусишь, чувствуя, как расшалились нервы, –
И через час сигареты не сыщешь в пачке.
Сознание плывет, как бригантина от мыса,
Я мыслями о тебе изнутри перепачкан
Настолько, что, как Пилату, век не отмыться.
Вся ойкумена стала теснее хрущовки
Лишь оттого, что ты родилась в этом мире.
Стреноженным иноходцем, атлетом неловким
Передвигаю ноги – пудовые гири,
Пытаясь сбежать от тебя, но словесный панцирь
Прессует мне позвонки, не спасая вовсе
От глаз твоих, из которых протуберанцы
Рвутся вдогонку и жалят, как дикие осы.
«Изыди!» – хотел бы крикнуть, но губы немые,
Руки хватают лазурь, как бесперые крылья,
Бьюсь над тобой – смысловжизненной теоремой,
А в задачнике – вместо ответа тшета и бессилье.

Инна Олейник:

МИЗАНТРОП

Акациями исцарапан ветер
Не разделивший их любовный пыл
Давно не веря никому на свете
Он тем и плоть и душу оскотил

Он слишком много слышал суесловья
Но грёзами как все переболев
С тех пор уверен что зовут любовью
Какой-то дьяволоугодный блеф

Сиротство видится поэтом квинтэссенцией земных судорог в эпоху Армагеддона, кото-рую, как свидетельствуют эзотерические источники, как раз и переживает челове-ство. Поэтому сиротство – везде и во всем, оно разлито в пространстве, как некий эрзац жизненной энергии, превращая в бессмыслицу окружающую действительность.

Богдан Ант:

КУПЕЙНЫЙ БЛЮЗ

Весна, как курьерский поезд, как жажда опохмелиться,
Не по часам – по секундам набирает свои обороты.
Я вижу в окно вагона, как удлиняет лица
Провожаящим то ли скорость, то ли спазма зевоты,

Разглаживая морщины, делая частью пейзажа
Каждого, будь ты в пальто или в постельной пижаме.
Утро. И облака извлекают из недр корсажа
Солнце, словно записку амурного содержания.





Колеса считают шпалы, превосходя Евклида
В знании мелочей, постигаемых как пространство,
И пассажиров-сомнамбул толкая за грань суицида
Гимном здоровой телесности и одою постоянству.

.....

Давятся смехом грачи, лишь предвкушая действо,
Сопровождая поезд, словно ленивая свита.
Похожему на аскета пугалу, впадшему в детство,
Хочется ветер просеять через шляпное сито.

Я закрываю глаза, поскольку коньяк уже допит.
По коридору порхают нимфетки, как и намердны,
Между словами «весна» и «сексуальный опыт»
Поставить равенства знак желая здесь и не медля.

Макс Самокиш:

БИЛЕТ В ОДИН КОНЕЦ

Душу, даже погубленную, трудно считать пропажей
тем, кто, родившись в рубашке, жизнь променял на дрему.
Ангелы часто становятся членами экипажа,
зная, что лайнер вылетел к райскому аэродрому.
И как не забыть о крыльях, когда антропоид – предок,
в чём тебя уверяют и дилетанты, и профи,
между строк намекая, что нас Вседержитель предал,
лишь на иконах оставив размытый временем профиль.
И сны обретают упругость и странную грацию танца,
ведя тебя в сказочном вальсе всё выше по млечной извёстке.
У врат небесных колоний мы все, как один, иностранцы,
и визы наши фиктивны, и саквояжи громоздки.
У кассы, как водится, очередь, где Пётр с лицом билетёра
спускает часть контрамарок ради дежурной поллитры,
считая, что наши фальцеты – увы! – не для здешнего хора,
однако сутулые спины хоть как-то сойдут за пюпитры.
Забудь о библейской патетике ради добротного мата,
ты был на земле иждивенцем, а здесь ты – просто ублюдок,
в чьей родословной ни слова не подлинно и не свято,
тогда как ты грезишь о рае и тщётно требуешь чуда.

Богдан Ант:

МУЗА ОСТАННЬОГО ЗОЙКУ

Псалми запізні. Бач: німує Спас,
в очах скляніють відчай та осмута.
Гризе зятято осоружні пута
на звалищі стриножений Пегас.
Розбита ліра скімлить на юру,
змиває злива присок од мелодій,
оспала галич в тоскнім хороводі
благословля, немов безглузду гру,
той шал, з яким блюзніри набакир
схитнули небо, божого глаголу
зреклись. Дарма напружуєш ти голос –
не твій статут, не твій і монастир.
Вітри свавільні врожаєм облуд
зітерли жорна скам'янілих вилиць
тих фарисеїв, що переродились
нащадками пілатів та іуд.





Кому потрібен твій співочий дар?!
Рясніють плевели на ниві безнадії,
і смертний біль у грудях цебеніє,
а п'ятий янгол вирина з-за хмар.

Леся Кофанова: флейта

Богдан Ант:

ІНШИЙ БЕРЕГ

Моїх агоній вистачить на двох.
Мого життя і одному замало.
Я дочекався від Господа фіналу,
я дописав за долю епілог. (Флейта смолкаєт).

Чорнила висихають. От і все.
Вже ні нотаток, ні пера не зрушу.
Летейська бистрина заляклу душу
у предковичний спокій віднесе.

В этом судорожном мире чувствительное сердце поэта – на пересечении всех его неразрешимых ритмий–противоречий, в атмосфере таких взаимопроникающих категорий, как Творец и творение, Слово изначальное и поэтическое, творческое преобразование действительности, жизнь, игра. Где-то в исконных глубинах этих понятий зарождается тема поэта-творца-игрока – через дефис, квинтэссенция которой выражена в строках: «Источно кричит в колыбели рожденное слово, и мир просыпается с криком сиротским его...».

Виталий Ковальчук:

ЗРАЧОК НУЛЯ

В игре идей мы ставим на zero
Кто – ссылки на великих, кто – цитаты
Апостол Петр вечное перо
Расписывает на клочке заката

Мы словно в сон войдем в реестр
Отступит всех сует неразбериха
И нас встречая ангельский оркестр
Сыграет тушь задумчиво и тихо

Врата откроют лишь для той души
В ком есть огонь восторга и азарта
В игре идей все ставки хороши
Поскольку мир – сплошной тотализатор

Богдан Ант:

ПЕГАС

Скажи-ка мне дорогой Пегас что это ты дрожишь
Словно призраки всех мастей тебя обступили толпой
Заперт в конюшне оттого что мозговой разжиж
Сразил половину поэтов как тиф другую – извел запой





Тебе предстоит позабыть о том как грыз на лету удила
Метры спешат пришить бубенцы на свой шутовской колпак
А их подмастерья в святом пылу а внешне – в чем мать родила
Скопом отплясывают на столах канкан полонез иль гопак

Тебе Пегас уже и во сне не видать золотого зерна
В лучшем случае будешь репей выкусывать из хвоста
Полна как ископыт талой воды но не надежд страна
Где участь поэта – полный штоф и полная немота

Инна Олейник:

НА ПАПЕРТИ И СЦЕНЕ

Не верь ни слову моему ни вздоху
От сантиментов и от слез уволь -
Родившийся в подложную эпоху
Я навсегда свою усвоил роль

Меня сжигали неприязнь и зависть
Как искры чьих-то аутодафе
И каждый ангел – ряженный мерзавец
Искал крамолу в сердце и строфе

В меня цитат отточенные пики
Вонзали и в охотку и на спор
Те кто скрывали что давно безлики
Как обмельчавший человеческий сор

Над стоном губ всю кривлялась маска –
Лица дешевый площадной эрзац
И был по всем задворкам поистаскан
Души моей свихнувшийся паяц

Я заживо замуровал как мытарь
Божественную искру во плоти
И думаю что с дьяволом мы квиты
А с богом и с тобою – уж прости

Леся Кофанова: флейта

Макс Самокиш (вступает после того, как смолкает флейта):

ЭРАТО

Я стал своей стыдиться немоты,
бессилья перед девственной бумагой.
Всё так же сердце, как и раньше, наго,
всё так же муза лёгкие персты
вплетает в волосы мои и, как дитя,
в глаза заглядывает просто и лукаво.
И нет управы на неё, и права
такого нет, чтоб тридцать лет спустя,
прожив на этом свете, как изгой,
стремиться вспять, к предвечному молчанию
и забытию, и мира каждой гранью
пресытиться, как я. Никто другой,
рождённый после, на моей стезе
следов не сыщет, разве только ветошь
бесплодных грёз, с которыми не встретишь
во всеоружии двуличия друзей,





цикуту сочетавших с клеветой,
не ведая ни срама, ни пропорций,
ведь мой венок терновый стихотворца
для всех не более, чем звук пустой.
Ты, муза, видишь всё, идя за мной,
как Эвридика за Орфеем. Прежде,
чем оглянусь я, дай почить надежде,
что я звучал господнею струной.

Богдан Ант:

ТЕАТР

Театр – кладезь мертвых душ,
За чьею прытью не угнаться.
Мы – лицедеи и в ходу,
Как пачки тертых ассигнаций.

Живая жизнь нам не важна,
Событья шумны и громоздки.
Плывет фанерная луна
И дышит пылью на подмостки.

Похожа вечность на кошмар,
Когда один стоишь на сцене,
Не плотью – горем от ума,
Гордыней подлежа геенне

Библейской. Нужно доиграть,
Витийствовать в своем юродстве,
Но ангелы, как шулера,
Крапят тебя в твоём несходстве

С Творцом, Теургом – масть не та,
На стол ты брошен, бит – и баста!
Пророк! Скорей рядись в шута
И колпаком дурацким хвастай.

Мсти Мельпомене иль смирись,
Как те, кто подлинны и святы.
Для нас закрыта божья высь,
Но настезь – адские пенаты.

Алексей Воронько:

Песня на стихотворение ТЕУРГИЯ

ты знаешь мы с тобой – черновики
разбросанные на столе у Бога
как благодать касание руки
нас осеняет трепетно и строго

Он правит сам себя и мы молчим
скрипит перо по плоти с испуганием
и кажется есть тысяча причин
быть вечно незаконченным твореньем





Виталий Ковальчук:

ПУТЬ ЗЕРНА

Как переспелый колос
Мир наш ломок
Открыт и грозам
И ветрам страстей
Из наших душ –
Классических потемок
Не выберется к свету
Прометей

Нам бытия
Чужда первопричина
Попасть на жернова
Таков обет
И путь зерна
А Прометеева лучина
Пусть догорит –
Мы сами миру свет

Мы – дети влаги
У земли под спудом
Таимся искрами
Неведомой руды
И открываясь
Ливней пересудам
Как солнца солнц
Взойдем из борозды

Богдан Ант:

ЗАМКНЕНЕ КОЛО

Задумливий лицедій, я марно грим
змиваю, на пальцях – дивний кислотний осад.
Муза, знеможена від алегорій і рим,
ледве крекче в партері. Я бачу – досить:
бліде мерехтіння всіх софітів і рамп
засліплює більше, ніж небесні світила.
Мов гаспидський нурт, глядачів поглинає гра,
й гіпнозу цього Мельпомені здолати несила,
зрештою, як і Ерато. А бог далєбі
м'якшає в душах свічним безпорадним воском.
Сценічний костюм, мов кайдання, рву на собі
й зі сцени втікаю, щоправда, на інші підмости.

Мне оставались считанные дни полноценного общения с редким по силе таланта и развитию души поэтом, другом, ставшим для меня в последнее время еще и духовным учителем. Но о том, что шли последние дни, знал только он. Эксперимент, который он вел в глубинах своей души, эксперимент, целью которого было выяснить, есть ли жизнь на этой недоразвитой планете, чей символ – крест, в общем и целом был закончен. Сережа начал новый цикл стихотворений под рабочим названием «Речитатив», вскорости со своим стихотворным рапортом он отправится на доклад.





Макс Самокиш:

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ РОДА

Из золотого кубка Валтасара
Я пил безумья горькую тинктуру
И распинал монахинь на столе.
Постигнув грех как некий вид нектара,
Анналов перечтя макулатуру,
Я крест поставил на добре и зле.

Каков итог? Проклятия на стенах.
В душе – былых страстей каменоломня.
В паху, как взаперти, – немой щегол.
Я Смерти продал душу за бесценок, –
Утрата тем нелепей, чем огромней, –
А на ладони, как плевок, – обол.

В урочный день не деспотом – шутом
Пристало быть тому, кто слышит ветер
И знает, что секира – у корней.
Я истину ловил набитым ртом,
Все вина перепробовав на свете,
Но не приблизившись и на полшага к ней.

И в судный миг, устало обозрев
Чужие сердцу и уму пенаты
И позавидовав не Крезу, а скопцу,
Я погашу огонь на алтаре
И буду голосить, как бесноватый:
«Проклятье миру и его Творцу!»

Богдан Ант:

НЕБЕСНОЕ ЗЕРКАЛО

Когда наш огонь спеленала плоть
И ум помутился от грез
Мы предпочли это царство теней
Солнечным берегам
Великой и безымянной реки
Где сны виноградных лоз
Вливаясь в вены делают нас
Равными нашим богам

А здесь мы подобны стае бродят
Клянчащих медный грош
Который нам бросит луна отразясь
В бутылочном битом стекле
Удел наш плачевен как ни взгляни
Но может он тем и хорош
Что видно в нем лучше чем в сотне зеркал –
Счастливых нет на земле



Инна Олейник:

ПЕРЕПУТЬЯ

мне на душу легло неизглагольно
все что познал я в мире чрез Тебя
но помутился ум в дороге дольней
о таинствах небесных восскорбя

и в кровь разбитыми в пути к Тебе стопами
земной алтарь я опрокинул в прах
страстей и грешных помышлений пламя
душа развихрила на всех семи ветрах

и любомудрие мое как бич по ребрам
теперь охаживает немощную плоть
ни злым я не был среди людей ни добрым
не смог своей гордыни побороть

и вот я ласточкам завидую беспечным
и ветру и степному ковылю
и понапрасну днями в каждом встречном
Твою улыбку всепрощения ловлю

Леся Кофанова: флейта

Макс Самокиш (вступает после того, как смолкает флейта):

САГА

Заслышав, как Лазарь сказал Святополку,
что жизнь — это вечного пламени копоть,
я солнечный луч вдеваю в иглоку,
чтобы, как прорву, душу заштопать.
Сквозняк изнутри донимает ночами,
когда растрavляю я раны и бреши.
Сезам-камергер громыхает ключами,
словно фантом, на поминки забредший.
А сердце всё ищет тебя, точно полюс
стрелка магнитная, зная едва ли,
что тело твоё — безымянная полость,
рождённая в грёзах на сеновале.
Мы сходим с ума в придуманном мире
строго по графику лунных затмений,
не видя, что вечность, спешащая мимо,
и есть судия и неведомый гений,
скрытый у идолов в тусклых глазницах,
давший нам веру в себя и устои.
Все ангелы бодрствуют. Пусть им приснится
Эдем, не растерзанный пустотою.

Екатерина Погребная:

ЗЕЛЕНОЕ СОЛНЦЕ

Покуда дьявол смеётся
в орлянку играют дети
а я зелёное солнце
вижу на автопортрете
вчера еще мог быть узнан
в зеркале и на фото.





А ныне на радость музам
там солнце вполоборота
плоть моя стала словом.
Глаза – как помарок пятна
дух же как хворост сломан
и брошен в костёр закатный.
Но может быть смутной тенью
останусь на белом свете
если найдут ступени
за кромку заката дети.

Леся Кофанова: флейта

Богдан Ант (на фоне флейты):

все познано в живом единстве мной
и в сердце принято – надежней нет оплота
и даже если дрогнет шар земной
то это будет лишь предчувствие полета!

ЗАНАВЕС.



Литературно-художественное издание

ЛАВА

проект клуба поэзии АВАЛ

Концепция номера,
вёрстка, дизайн – Герман Титов

Сдано в набор 10.07.2012.
Подписано в печать 11.07.2012
Формат 170х297/16 Бумага офсетная
Печать офсет. Тираж 350экз.

Типография ЧИПП «Слово»
61024 г. Харьков ул. Лермонтовская, 27
тел./факс (057) 7192195
Свидетельство о внесении
в государственный реестр:
ХК № 214 от 21.11.2007г.